4
Д-72

Д. Н. Шмелев

ОЧЕРКИ ПО СЕМАСИОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

ПРОСВЕЩЕНИЕ
1964


ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова
www.ruslang.ru

Д. Н. Шмелев

ОЧЕРКИ ПО СЕМАСИОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Москва 1964

Настоящая работа принадлежит к числу публикуемых в библиотеке «Вопросы советского языкознания»

Ч
Ш-72

БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУС ..ОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР
75434

ОТ АВТОРА

Настоящие очерки не представляют собой сколько-нибудь полного или систематического освещения основных сторон русской семасиологии. Находящееся в заглавии этой работы слово «очерки» употреблено здесь в его собственном значении, то есть оно должно указать на то обстоятельство, что предлагаемая работа не ставит задачей последовательное и, так сказать, равномерное освещение подсказываемых второй частью заглавия вопросов.

В ряде случаев автор только вскользь касался некоторых очень существенных теоретических вопросов, что, конечно, можно поставить ему в вину, но не всегда следует объяснять его легкомыслием или небрежностью.

Еще одно обстоятельство требует разъяснения. В предлагаемых очерках речь идет о «лексической семасиологии». Такое ограничение диктовалось не только внешними причинами. Оно основано на том убеждении, что значения слов представляют собой качественно иную реальность, чем значения других элементов языка.

Самое понимание «лексического значения», которому следует автор, во многом традиционное, как можно предвидеть, удовлетворит далеко не всех. Согласно этому пониманию, лексическое значение слова выступает в двояком аспекте. Оно определяется местом слова в лексической системе языка (парадигматическими и синтагматическими связями слова), и оно определяется соотнесенностью слова с понятиями и его «предметной» прикрепленностью. В этом плане и говорится далее о «значении слова». Конечно, эти факторы лексического значения могут быть исследованы

отдельно, но, как кажется, нет никаких веских причин полагать, что их одновременный учет равнозначен «смешению» разных аспектов исследования.

Другое дело, что корректное совмещение этих аспектов — довольно сложная задача, на разрешение которой никак не претендует автор. Он решается выпустить настоящую работу в надежде, что собранный им материал (воспроизводимый непосредственно в самом тексте в качестве иллюстраций к некоторым высказанным положениям) может оказаться небесполезным при дальнейшем обсуждении проблемы. Автор предполагает, что и самый факт появления работы, хотя и краткой, из области описательной семасиологии русского языка, в которой давно не наблюдалось каких-либо творческих устремлений, может быть, в какой-то мере будет способствовать критической (а следовательно, в каком-то плане и созидательной) мысли.

ВВЕДЕНИЕ

Семасиология — наука о значениях слов — в настоящее время привлекает к себе все большее внимание исследователей различных направлений. Вместе с тем нужно отметить следующее. Хотя как самостоятельная лингвистическая дисциплина она оформилась в конце XIX века[1] и с тех пор был накоплен огромный материал, демонстрирующий различные пути и способы изменения значений слов, сделаны важные обобщения и намечены основные принципы семасиологического исследования, — до сих пор семасиология остается той областью языкознания, в которой больше всего неопределенного и даже в известном смысле «ненаучного».

Недоверчивое и скептическое отношение к семасиологическим проблемам со стороны значительной части лингвистов, наблюдавшееся в последние десятилетия, сменялось попытками подойти к семасиологии во всеоружии новых, более точных методов, выработанных в других разделах языкознания. При этом высказывались очень интересные соображения, касающиеся как природы самого «значения», так и возможных путей его изучения. Однако изучение конкретных фактов продолжалось главным образом в отрыве от этих общих соображений, так что и в настоящее время можно было бы с некоторыми оговорками повторить слова С. Ульмана, которыми он начал одну из своих статей, написанную десять лет тому назад: «Семасиология остается в стороне от общего направления современного языкознания»[2].

---

[1] Самый термин «семасиология» был впервые употреблен немецким лингвистом Э. Рейзигом в первой половине XIX века.

[2] St. Ullmann, Descriptive semantics and linguistic typology, Word, v. 9, № 3, 1953, стр. 225.

Такое положение семасиологии в кругу других лингвистических дисциплин объясняется не в последнюю очередь тем, что словарный состав языка не только практически безграничен, но, по существу, и не очерчен в каждый момент существования языка с достаточной определенностью. Действительно, тогда как в отношении тех или иных фонем и грамматических форм мы всегда с полной категоричностью можем сказать, существуют они в языке или нет, относительно слов и значений слов это иногда не так легко сделать. Например, можно вполне определенно утверждать, что аорист и имперфект не принадлежат системе глагольных форм современного русского языка (их реликтовое сохранение в отдельных фразеологических застывших формулах, конечно, не в счет), но входят ли в словарный состав современного русского языка такие слова, как *лаиты*, *втуне*, *вельми* и под.? Или такие, как *кейф*, *кейфовать* (ср. у Достоевского: «...бульдог расположился среди комнаты и лениво наслаждался своим послеобеденным *кейфом*»; у Лескова: «Правитель с полицмейстером вышли в кабинет, а мы опять начали прерванный *кейф*»; у Чехова: «После обеда, когда я *кейфую* на диване...»; «...а с обеда до вечера *кейфует* и наслаждается отдыхом»; у Куприна: «...и вообще предаются временному легкому *кейфу*»; у Горького: «И так он сидел, *кейфовал...*» и т. п.), *фрыштик* (ср. у Достоевского: «...петербургский русский никогда не употребляет слово «завтрак», а всегда говорит: «*фрыштик*», особенно напирая на звук *фры*»), *бомонд* (ср. у Чехова: «Поставив Оленьку на подобающее ее аристократическим поползновениям место, я стал позади *бомонда* и занялся наблюдениями»), *бонмо* и т. д. или *дансинг*, *сомбреро*, *вигвам* (ср. в переводе «Песни о Гайавате») и мн. др.?

Другой особенностью семасиологии, затрудняющей введение в нее методов, успешно применяемых в других областях языкознания, является то, что, будучи наукой о значениях слов, она тем самым неизбежно обращена к внеязыковой действительности, так как совершенно ясно, что значение слова не может быть определено безотносительно к тому предмету или явлению, для обозначения которого это слово используется. Конечно, возможно изучение значений слов на основе учета их лексической и синтаксической сочетаемости, то

есть рассмотрение лексических контекстов и синтаксических конструкций, в которых они выступают. Но такое изучение, очень важное для семасиологии, не является само по себе изучением значений слов. Оно дает возможность объективно охарактеризовать и в известной мере классифицировать эти значения, но оно не может раскрыть подлинной природы существующих между ними различий.

Нужно согласиться с О. С. Ахмановой, писавшей: «Если, например, слепой от рождения никогда не видал ни мела, ни молока, ни снега, ни вообще каких-либо белых предметов, значение слова «белый» никогда для него по-настоящему не раскроется»[1]. Прилагательные, обозначающие разные цвета, имеют, конечно, различную лексическую сочетаемость. Но конкретное значение их определяется не особенностями сочетаемости, а особенностями самих признаков реальных (или воображаемых) предметов, для обозначения которых они служат.

Сколь бы ни было важно для семасиологии разграничение «собственно семантических» связей между словами и таких связей, которые непосредственно отражают отношения, существующие между предметами и явлениями реальной действительности, — оно не должно приводить к тому, что эти «отраженные связи» исключались бы из исследования как не относящиеся к «науке о значениях слов». Это было бы неоправданно хотя бы по той причине, что, исследуя семантические отношения, объективно существующие в языке, мы, по сути дела, должны брать их во всей совокупности, чем бы они ни были обусловлены. Кроме того, и те отношения между значениями слов, которые могли бы быть признаны внутриязыковыми, в конечном счете, также под-

---

[1] О. С. Ахманова, Некоторые вопросы семантики в современном языкознании. В кн. О. С. Ахманова, И. А. Мельчук, Е. В. Падучева, Р. М. Фрумкина, О точных методах исследования языка, изд. МГУ, 1961, стр. 22.

Можно напомнить также старый анекдот, легший в основу иронического выражения *знает толк в молоке* (смысл его вполне согласуется с высказанным выше убеждением): Вожатый похвалился, что похлебал молока. «А какое оно?» — спросил слепой. — Сладкое да белое. — А что такое белое? — Как гусь. — А что такое гусь? — Вожатый согнул руку костылем: Вот такой. Слепой пощупал и понял, что такое молоко (В. И. Даль, Пословицы русского народа, Гослитиздат, М., 1957, стр. 456).

чинены внеязыковым отношениям. Так, иногда указывается, что объединение слов, обозначающих, например, «части тела» или «степени родства», основано на классификации не слов как единиц языка, а самих предметов, поэтому данные единицы не образуют лексико-семантических групп; собственно же языковыми можно считать лишь объединения слов, имеющих, например, синонимический характер и т. д. (в данном случае такие, скажем, как *глаза, очи, зенки*; *отец, батюшка, папаша* и т. п.). Но и синонимичность слов, будучи внутриязыковым явлением в том смысле, что она определяется закономерностями, существующими в языке, в то же время совершенно явно зависит от предметной отнесенности данных слов.

Основной задачей семасиологии является исследование именно того, к а к в единицах языка (словах) отображается внеязыковая действительность. Те связи и взаимоотношения между явлениями действительности, которые главным образом и обусловливают лексико-семантическую систему языка, являются, конечно, внешними по отношению к самому языку. Но всякая знаковая система служит для обозначения как раз того, ч т о́ находится за пределами самой данной системы [1], и з н а ч е н и е знака раскрывается только в н е данной системы (в противоположность з н а ч и м о с т и знака, которая определяется его положением внутри системы).

Сказанное никоим образом не следует понимать как какое-либо преуменьшение роли собственно языковых особенностей лексико-семантической системы языка.

О существовании в языке таких особенностей, которые должны быть признаны собственно языковыми, или внутриязыковыми, свидетельствует хотя бы тот хорошо известный факт, что значения слов в разных языках редко полностью совпадают, или тот факт, что те же отрезки действительности неодинаково членятся лексикой разных языков.

Точно так же сдвиги в значениях слов, развитие у слов новых значений, образование новых слов и т. д., будучи обусловлены изменениями в объективной дей-

---

[1] Понятно, что, когда сам язык описывается при помощи того же языка, он, как предмет исследования, совершенно так же находится вне данного конкретного сообщения о нем.

ствительности, вместе с тем не могут происходить в языке независимо от уже существующих в нем семантических отношений. Исследование внутриязыковых факторов семантических изменений, происходящих в языке, нельзя, однако, произвести, не установив того, чем вообще могут быть вызваны эти изменения, то есть без учета и внешних по отношению к системе языка факторов.

Нужно заметить, что лексико-семантические изменения в гораздо большей степени, чем какие-либо другие изменения в языке, демонстрируют связь языка с жизнью и деятельностью говорящего на данном языке коллектива. Семантическая история слов во многих случаях достаточно отчетливо отражает изменения в условиях жизни общества.

На первых этапах своего развития семасиология понималась именно как историческая наука, изучающая изменения значений слов. Только с распространением взглядов Ф. де-Соссюра, введшего в языковедение понятия синхронии и диахронии и требовавшего их строгого разграничения, среди подлежащих семасиологическому исследованию вопросов была выделена проблема изучения значений слов и отношений между ними в какой-то определенный момент существования языка, то есть как сосуществующих элементов сложной, но единой системы. Значения слов, так же как и соотношения между значениями одного и того же слова и между значениями различных слов, обусловлены, конечно, историей языка, связанной с историей народа. Однако самые эти значения и соотношения выступают в каждый отдельный момент развития языка независимо от их истории в том смысле, что для языкового общения важна не история тех или иных элементов языка, а результаты истории, то есть самые эти элементы в их отношении друг к другу.

Совершенно ясно, что ознакомление с историей слова часто помогает понять особенности его употребления в современном языке. Но не менее очевидно и то, что уже пройденный словом путь не может иметь значения для установления места и функций слова в современном языке, как, например, общность происхождения слов *начало* и *конец* никак не влияет на их противопоставленность в современном языке, а этимологическое «тождество»

русского *черствый* и чешского *čerstvý*, означающего «свежий», — на их противоположные значения (ср. сочетания *черствый хлеб* и *čerstbý chléb*).

Различие между синхроническим и диахроническим (историческим) подходом к семантическим явлениям легко увидеть хотя бы на таком примере. Хорошо известно, что в ряде случаев метафорическое употребление слова становится более или менее устойчивым и ведет к образованию особого переносного значения, проявляющегося свободно или в определенных фразеологических сочетаниях. Однако «переносное» с исторической точки зрения значение в тот или иной период развития языка может стать его основным значением; употребление же слова в исторически «основном» значении будет ощущаться говорящими как какая-то реализация его метафорических возможностей. Ср., например, распределение значений у слова *красный* в современном русском языке. Его «цветовое» значение воспринимается говорящими (и регистрируется словарями современного русского языка) как основное значение слова. Фразеологически (и стилистически) ограниченное употребление слова в значении «прекрасный», «красивый», «хороший» представляется своеобразной, несколько архаичной, языковой метафорой (*красная девица, красная изба, красное солнышко, красный денек;* ср. пословицы: *не красна изба углами, красна пирогами; долг платежом красен* и т. п.), в то время как именно это значение и было свойственно слову в древнерусском языке; употребление его в подобных сочетаниях является, таким образом, не метафорическим развитием слова, а отголоском его первоначального значения (ср. его отчетливое отражение в словах *краса, красота, красивый, прекрасный*; движение слова к его современному значению запечатлелось, в свою очередь, в таких словах, как *красить, краска*). Пример этот показывает, что оценка одного и того же явления различна при его изучении в синхроническом и историческом планах.

Таким образом, выделяются две различные, хотя и взаимосвязанные области семасиологического исследования: историческая семасиология и описательная семасиология.

Одним из центральных вопросов исторической семасиологии является вопрос о причинах семантических из-

менений. Понятно, что если в языке происходят сдвиги в значении тех или иных слов, то эти сдвиги чем-то вызваны, связаны с какими-то другими процессами в самом языке или во внеязыковой действительности. Проведенные многими исследователями наблюдения над развитием значений отдельных слов и групп слов показывают сложное взаимодействие самых разнообразных факторов, влияющих на семантические изменения. Вопрос заключается в том, можно ли достаточно последовательно разграничить эти факторы, установить их соотношение и «сферы действия».

С этим вопросом тесно связан вопрос о характере самих семантических изменений, о возможности их внутренне обоснованной классификации. Можно ли в самóм языковом материале найти критерии для выделения определенных типов семантических изменений? Соотносятся ли как-либо различные типы семантических изменений с вызвавшими их факторами?

Как для исторической, так и для описательной семасиологии чрезвычайно важным является определение характера тех отношений, которые существуют между значениями различных слов.

Признание системного характера всех сторон языка предполагает, что адекватное изучение тех соотношений и тех изменений, которые наблюдаются в значении и употреблении отдельных слов, возможно только при учете их места и значимости в составе определенного семантического целого. Однако определение последнего совсем не представляется очевидным. Именно при попытке его определения яснее всего обнаруживается, что каждое слово может объединяться со многими другими словами по совершенно различным признакам, то есть входить в разнообразные лексико-семантические ряды. Выдвинутые различными исследователями теории «поля», резко отличающиеся друг от друга и методологически, и принципами самой группировки слов, свидетельствуют не столько о субъективности выбора признаков, сколько об объективном их многообразии в языке.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМАСИОЛОГИИ И ИХ РАЗРАБОТКА

Исследователи, изучавшие семантические процессы в языке, естественно, столкнулись с необходимостью както классифицировать их, выделить определенные типы семантических изменений. Индивидуальное своеобразие судьбы каждого отдельного слова, многообразие влияющих на нее факторов как будто препятствуют установлению каких-либо однозначных и бесспорных критериев разграничения, но в то же время делают их поиски настоятельно необходимыми, так как без соответствующей классификации невозможно не только осмыслить, но и обозреть огромный, по существу безграничный материал, состоящий из наблюдений над смысловыми передвижениями отдельных слов.

В лингвистической литературе выдвигались различные приемы и принципы классификации семантических изменений.

Выдающийся представитель «младограмматического» направления в языкознании Г. Пауль в книге «Принципы истории языка»[1], рассматривая изменения значений слов, видит источник этих изменений в индивидуальных случаях «отклонения окказионального значения от узуального», в которых и «содержатся зародыши подлинного изменения значений»[2]. «Переход окказионального значения в узуальное начинается для индивида с момента, когда при употреблении и восприятии слова к его узуальному значению впервые присоединяется воспоминание о прежнем употреблении и воспри-

[1] Prinzipien der Sprachgeschichte. Первое издание появилось в 1880 году.

[2] Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 103.

ятии; переход завершается, когда это воспоминание достаточно упрочилось, когда употребление и восприятие протекают независимо от прежнего узуального значения данного слова»[1]. В этой характеристике Г. Пауль исходит из своей общей концепции, противопоставляющей речевую деятельность индивидов, в которой постоянно возникают индивидуальные отклонения, узуальному употреблению языка с его общими для коллектива нормами. Однако самый переход окказионального в узуальное рисуется Г. Паулю случайным явлением. Поэтому и изменения значений слов классифицируются им не в связи с теми языковыми и внеязыковыми (социальными, историческими, психологическими и т. д.) процессами, которыми они вызваны (и на которые во многих отдельных случаях обращает внимание сам исследователь), а в соответствии с условно принятой (и посторонней для общего стремления к психологическому истолкованию языковых фактов, которое характерно для Г. Пауля) логической схемой

Г. Пауль кладет в основу классификации изменения в объеме и содержании соотнесенных со словами представлений. В соответствии с этим им выделяются следующие «разновидности смысловых изменений»:

1. «сужение объема и обогащение содержания» (специализация значения);

2. «обеднение содержания, связанное с расширением содержания представления»;

3. «перенос названия на основании пространственных, временных или каузальных связей»;

4. «некоторые разновидности изменений значений, не поддающиеся простому подведению под один из трех основных классов»[2].

Логический принцип, как можно видеть из приведенной схемы, применен Г. Паулем непоследовательно; целый ряд изменений значений слов не может быть вообще соотнесен с изменениями в объеме и содержании соответствующих представлений. Легко заметить, что и самые факты «сужения» или «расширения» объема представлений (и соответственно «обогащения» или «обеднения» их содержания) далеко не всегда одно-

---

[1] Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 103.
[2] Там же, стр. 106 и сл.

значны, не говоря уже о том, что они никак не соотносятся ни с причинами, ни с собственно языковым проявлением тех или иных семантических процессов. Тем не менее логический принцип классификации, связанный с понятиями «сужения», «расширения» и «переноса» значений, получил широкое распространение. Аналогичную классификационную схему мы видим в семасиологических исследованиях А. Дармстетера, Р. Томаса, отчасти М. Бреаля[1] и др.; ей следуют некоторые лингвисты и в наше время[2].

Ряду исследователей логический принцип классификации не казался приемлемым. Например, М. М. Покровский, вспоминая о своих первых семасиологических работах (1894—1897 годов), писал позднее: «Вообще уже тогда я отказался от применения формальной логики (и риторики) к явлениям семасиологии, и я признал, что это явление порядка социального и психологического, что в это время начинали уже допускать отдельные ученые, в особенности г. Бреаль»[3]. Критикуя А. Доза́, М. М. Покровский замечает: «Как мы уже сказали, он допускает иногда, по примеру Дармстетера, логические классификации. Но вытекающая отсюда польза имеет очень мало значения, и, несмотря на все оговорки г. Доза, эти классификации часто отвлекают исследователя от существа дела»[4].

На необходимость психологической интерпретации семантических процессов в языке указывали и некоторые другие исследователи в конце XIX века. Подробно она была обоснована В. Вундтом[5]. В. Вундт указывает, что изменения значений слов рассматривались прежде со следующих точек зрения: 1) исторической, 2) логи-

[1] Ср. A. Darmsteter, La vie des mots, Paris, 1937 (19-е изд.); M. Bréal, Essai de sémantique, science des significations, Paris, 1921 (5-е изд.); R. Thomas, Über die Möglichkeiten des Bedeutungswandels, — «Bayer. Blätter fur die Gymnasialschulwesen», 1894, 30; 1896, 32.

[2] См., например, Р. А. Будагов, Введение в науку о языке, М., 1958, стр. 124 и сл., где изменения значений слов рассматриваются с точки зрения «расширения значения», «сужения значения» и «функциональных переходов».

[3] М. М. Покровский, Избранные работы по языкознанию, изд. АН СССР, М., 1959, стр. 36.

[4] Там же, стр. 40.

[5] Wundt, Völkerpsychologie, Bd. I, Die Sprache, II, Leipzig, 1911.

ческой, 3) этической, 4) телеологической. Сам В. Вундт считает единственно оправданным психологический подход к семантическим явлениям. Законами изменений значений, согласно В. Вундту, являются общие законы ассоциативных связей. Последние делятся на три вида. Это — связь по сходству, связь по смежности (пространственной или временной) и связь по противоположности. Все семантические изменения относятся В. Вундтом или к «регулярным», или к «сингулярным» (единичным). Первые обусловливаются общими психологическими мотивами. Сюда относятся ассимилятивные изменения (например, перенесение названий частей тела на неодушевленные предметы — *ножка стола, горлышко бутылки* и т. п.), компликативные (применение слов, связанных с каким-либо органом чувств, в области других чувственных восприятий — *светлые звуки, холодные краски* и т. п.), эмоциональные (слово переносится на предмет, вызывающий аналогичные эмоции), а также «ассоциативные сгущения значений» (например, когда определяемое как бы вбирает в себя значение определяющего, с которым оно часто употребляется). Второй тип изменений охватывает такие семантические процессы, которые вызваны какими-либо частными, индивидуальными причинами (например, перенесение названия какого-либо места на предметы, которые там производятся, и т. п.).

В лингвистической литературе (современной В. Вундту и позднейшей) отмечалась как ошибочность отдельных положений В. Вундта, так и неприемлемость его общей концепции. Так, например, В. А. Звегинцев следующим образом оценивает эту концепцию: «Вундт оторвал языковой знак от значения и предоставил каждому из них права независимого и автономного развития. Этот основной порок концепции Вундта логически приводит к другому. Наиболее тесно связанный с историей народа-носителя аспект языка — семантика трактуется у Вундта совершенно внеисторически, с полным игнорированием исторических условий функционирования слов. Если в его работах встречаются ссылки на некоторые исторические обстоятельства, то только с целью показать наличие психологических условий для создания соответствующей ассоциации»[1].

[1] В. А. Звегинцев, Семасиология, изд. МГУ, 1957, стр. 23.

Однако идеи В. Вундта оказали влияние на дальнейшие исследования. Психологический принцип классификации семантических изменений продолжает применяться в семасиологических работах, подвергаясь различным видоизменениям и уточнениям. Эти уточнения связаны, в частности, со стремлением разграничить языковые и внеязыковые причины изменений, происходящих в значениях слов.

В опубликованной в 1905—1906 гг. статье «Как слова изменяют смысл» А. Мейе [1] разделил причины семантических изменений на три основных типа. «Общие причины,— писал он,— которыми можно объяснить изменения смысла, как кажется, могут быть отнесены к трем основным, не сводимым друг к другу типам...» [2]; это — языковые, исторические и социальные причины. Примером изменений, связанных с языковыми причинами, могут служить такие слова во французском, как *pas, personne, point, rien,* которые приобрели значение отрицаний в результате употребления их в предложениях, содержащих отрицание. Исторические причины сказываются в тех случаях, когда изменяется предмет, а наименование остается прежним (например, *перо*). Социальные причины вызывают изменения значений слов при их переходе из одной социальной группы в другую (ср. различные значения слова *операция* у лиц разных профессий и т. п.).

По мнению С. Ульмана, следует прибавить сюда психологические причины (табу, эвфемизмы, синестезия и т. д.) [3]. К. Балдингер считает, что нужно выделить еще один тип — физиологические причины (синестезия) [4].

Э. Велландер [5], сосредоточивая свое внимание на выяснении самого процесса возникновения новых значений, требует различать «подлинные изменения значений» от всех других изменений, которые не обусловлены собственно языковыми причинами (изменения самих реалий, намеренный перенос названий и т. п.). Собствен-

[1] A. Meillet, Comment les mots changent de sens, «Linguistique historique et linguistique generale», I, стр. 230—271.

[2] Там же, стр. 238.

[3] S. Ullmann, The Principles of Semantics, Glasgow, 1957, стр. 193.

[4] K. Baldinger, Die Semasiologie, Berlin, 1957, стр. 27.

[5] E. Wellander, Studien zum Bedeutungswandel im Deutschen, I—III, Uppsala, 1917, 1923, 1928.

но языковые причины заключаются, по Э. Веллан-деру, в том, что в определенных ситуациях слово может быть опущено, причем другое слово берет на себя выполнение его функции. Во многих случаях передача функции происходит не непосредственно, а при помощи ряда промежуточных звеньев.

На роль контекста в широком понимании и специально-синтаксического контекста в изменении значений слов обращали внимание и другие исследователи (например, М. М. Покровский)[1]. Э. Велландер придал ему решающее значение как фактору «подлинных семантических изменений». Следует заметить, что и таким образом очерченное отграничение последних далеко не всегда представляется бесспорным. С. Эман, например, обращает внимание на то, что приводимый Э. Велландером как пример подлинного семантического изменения немецкий глагол *aufziehen*, имеющий значение «поднимать, подтягивать» и получивший также значение «заводить (часы, другие механизмы)» в результате замены объекта (в сочетании «подтягивать гирю» на первый план выступило значение действия «заведения часов»), сохранил бы побочный смысл «подтягивать гирю», если бы не изменилась самая конструкция часов[2]. И «собственно языковые» причины семантических изменений в большей части случаев сложно переплетаются с различного рода внеязыковыми факторами.

Попытки обнаружить основные движущие силы семантических процессов шли и в другом направлении. Значительное влияние на развитие зарубежной семасиологии оказали взгляды Г. Шпербера[3]. Г. Шпербер считает, что изменение значений происходит не в отдельных словах, а в результате употребления слов в составе

---

[1] Я. Розвадовский считает всякое изменение значения «сгущением», о котором он говорит вслед за В. Вундтом, но которому придает решающую роль во всех семантических процессах, видя ошибку В. Вундта в том, что последний не исходил из общего «закона двучленности», которому подчинено всякое новое обозначение (Jan v. Rozwadowski, Wortbildung und Wortbedeutung, Heidelberg, 1904.)

[2] S. Öhman, Wortinhalt und Weltbild. Vergleichende und methodologische Studien zu Bedeutungslehre und Wortfeldtheorie, Stockholm, 1951, стр. 23.

[3] H. Sperber, Einführung in die Bedeutungslehre, Bonn — Leipzig, 1923.

www.ruslang.ru

75434
БИБЛИОТЕКА ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

определенных словосочетаний, в определенных «стереотипных консоциациях», учет которых и помогает вскрыть сдвиги в значении слова. Всякое нововведение встречает сопротивление, так как жизнь языка характеризуется «консерватизмом». Для того чтобы окказиональное значение стало узуальным, вошло в язык, оно должно преодолеть это сопротивление, то есть обладать каким-то особым «источником энергии». Этот источник Г. Шпербер видит в эмоциональной окраске слов. Если нас что-то волнует, мы невольно стремимся как можно чаще говорить об этом. Поскольку это не всегда возможно, т. к. мы вынуждены говорить и на другие темы, мы и в этом случае употребляем слова, ассоциирующиеся с волнующим нас кругом представлений, как-то видоизменяя тем самым их смысл. Когда какие-то темы волнуют значительное число говорящих, такие видоизменения смысла эмоционально окрашенных слов идут в одинаковых направлениях. С другой стороны, поскольку невозможно повторять одно и то же слово бесчисленное количество раз, говорит Г. Шпербер, возникает необходимость как-то увеличить возможность обозначения того же явления; с этой целью используются слова с другими значениями, которые претерпевают при этом смещение. В соответствии с этим Г. Шпербер различает экспансию и аттракцию. Если эмоциональные силы сдвигают значение слова, то слова, относящиеся к тому же кругу представлений, подвергаются аналогичным сдвигам.

Понятно, что учет эмоциональных моментов в слове очень важен. Однако никак нельзя объяснить ими весь «механизм» семантических изменений в языке. Картина развития языка при таком подходе не только чрезвычайно упрощается, но и искажается.

Разграничивая внешние (внеязыковые) и языковые причины семантических изменений, ряд исследователей стремятся представить изменения, вызванные языковыми причинами, в виде схемы, опирающейся на выделение в слове его материальной (знаковой) и его смысловой стороны.

Так, согласно Г. Стерну[1], среди изменений, обусловленных языковыми факторами, следует различать три

[1] G. Stern, Meaning and Change of Meaning, Göteborg, 1931.

главных типа: изменение словесного отношения (аналогия, сокращение), изменение предметной отнесенности (номинация, ненамеренный перенос значения), изменение субъективного отношения говорящего к слову (замена, приравнивание).

Классификация Г. Стерна оказала влияние на С. Ульмана [1], который, видоизменив ее, в своей известной книге «Принципы семасиологии» устанавливает четырехчленную схему, основанную на том, что семантические изменения (зависящие от «языковых причин») могут быть обусловлены: 1) сходством между смыслом двух слов; 2) контактом между смыслом двух слов; 3) сходством между двумя именами; 4) контактом между двумя именами. Указанные типы изменений можно проиллюстрировать следующими примерами:

1. Разного рода «метафоры», например, перенесения названий частей тела на неодушевленные предметы, явления синестезии и т. п.; ср.: *ушко* (иголки), *ручка* (двери); *теплые краски, сладкие звуки* и т. д.

2. Различные «метонимии», например: *он выпил целый стакан; весь зал аплодировал* и т. п.

3. Сюда относятся, в частности, явления «народной этимологии», то есть случаи переосмысления слова на основе его внешней звуковой близости к другому слову; например, употребление глагола *довлеть* в современном русском языке в значении «тяготеть, господствовать» связано с его сближением со словами *давить, давление.*

4. Более или менее устойчивое соседство двух слов во фразе может привести к сокращению, то есть одно из слов опускается, а оставшееся передает смысл всего словосочетания; ср. различные случаи субстантивации прилагательных и т. п.

Вопрос о причинах и типах семантических изменений взаимосвязан с вопросом об их регулярности, о возможности или невозможности найти какие-либо закономерности в этих изменениях. В семасиологических работах высказывались на этот счет совершенно различные, иногда прямо противоположные мнения. Некоторым лингвистам, особенно на первых этапах развития семасиологии, существование «законов» семантических

[1] S. Ullmann, The Principles of Semantics, Glasgow, 1957; ср. также S. Ullmann, Words and their Use, N. Y., 1951.

изменений казалось бесспорным, хотя и понимались они по-разному. Так, например, М. Бреаль считал, что общие тенденции семантических изменений определяются «законом дифференциации синонимов». Г. Шпербер, как уже упоминалось, полагал, что все собственно семантические изменения определяются «экспансией» или «аттракцией». Г. Бонфанте видит основную тенденцию семантических изменений в том, что они подчинены следующей закономерности: метафорическое употребление слова передвигает его значение из сферы конкретного в сферу абстрактного и редко — наоборот. С. Ульман, относясь скептически к попыткам найти всеобъемлющий «закон», настаивает тем не менее на возможности установить некоторые общие («панхронические» — то есть свойственные всем языкам во все времена) тенденции семантического развития («антропоморфизм» и «зооморфизм»; синестезия и т. п.). По его словам, «становится все более ясно, что мир значений не более хаотичен, чем мир звуков, хотя он и подчинен другим законам» [1].

Совершенно иного мнения по этому вопросу придерживается К. Балдингер, вслед за А. Мейе и некоторыми другими исследователями отрицающий возможность установления семантических законов. Он пишет: «Мы решительно утверждаем: каждое лексико-семантическое новшество — это индивидуальный, по большей части анонимный творческий акт, который зависит от очень многих — психических, физиологических, грамматических, культурных и исторических факторов, не будучи закономерно (разрядка К. Балдингера) обусловлен ими. Подчинено же изменение значений только общим законам мышления...» [2]

В. А. Звегинцев считает, что «основной недостаток лингвистических работ, касающихся вопроса о «семантических законах», заключается в том, что они отрывают семантическое развитие слов от истории народа и стремятся отождествить закономерности семантических процессов с закономерностями внеязыковых явлений (логических или психологических чаще всего)» [3]. По мнению В. А. Звегинцева, «необходимо и в этом вопросе

---

[1] S. Ullmann, Words and their Use, стр. 82.
[2] K. Baldinger, Die Semasiologie, стр. 38.
[3] В. А. Звегинцев, Семасиология, стр. 255—256.

сосредоточить внимание на кардинальных для каждого лингвистического исследования моментах — во-первых, на взаимосвязи процессов развития языка с историей народа, и во-вторых, на особенностях семантического развития слов, обусловливаемых структурной спецификой конкретных языков»[1]. Соотношение между этими двумя величинами — связью развития языка с историей народа и структурными особенностями языка — определяется В. А. Звегинцевым следующим образом: «Общая мотивированность языковых процессов, несомненно, обусловливается известной тождественностью исторических условий существования народов, находящих свое выражение в общих формах общественного развития, духовной культуры, этических воззрений и пр., а также и в известной общности форм материальной культуры». «Однако, — продолжает автор, — было бы неправильным делать из приведенных фактов вывод, что история народа вторгается в деятельность законов развития языка. Направленность изменений в словарном составе языка может... определяться и историческими условиями, но осуществляется она на основе структурных особенностей языка, которые складываются исторически и которые устанавливают определенные правила его функционирования»[2].

При подобном понимании языкового развития причины языковых изменений должны быть обнаружены в самом языке, в особенностях его структуры; связь с историей народа проявляется лишь в том, что ею может определяться направление этих изменений. Все развитие языка, согласно В. А. Звегинцеву, основывается «на принципе мотивированности». «Под мотивированностью в данном случае следует понимать многообразные внутренние закономерные отношения, существующие между отдельными структурными элементами системы языка и определяющие его функционирование и развитие. Так, имя действующего лица *искатель* может быть понятно всякому, кто знает значения глагола *искать* и суффикса ***-тель***. Связь звукового комплекса со смысловым содержанием в каждом из двух компонентов слова *искатель* для современного языкового сознания абсолютно

---

[1] В. А. Звегинцев, Семасиология, стр. 256.
[2] Там же, стр. 261.

условна, но само словообразование мотивировано закономерными отношениями, которые существуют в русском языке между глаголами с основой на *-а*, *-е* или на *-и* и суффиксом *-тель* ...»[1]

Связь семантических процессов с словообразовательными — и вообще грамматическими — формами и отношениями, существующими в языке, несомненна. Однако объяснение лексико-семантических изменений только языковыми факторами оказывается явно недостаточным.

Рассматривая далее вопрос о системности лексики, В. А. Звегинцев замечает: «Наличие в разных языках семантически связанных лексических групп, в организации которых своеобразным образом отражаются материальные и общественные условия существования языков, качественные особенности языков и общечеловеческие формы логического мышления, не подлежит сомнению»[2]. Таким образом, В. А. Звегинцевым никак не отрицается роль внеязыковых (в том числе логических) факторов в организации семантической системы языка. Естественно в таком случае было бы считать, что эти факторы определяют также и ее развитие.

Положение о том, что история народа не вторгается «в деятельность законов развития языка», справедливое с известными оговорками[3] по отношению к грамматическому строю, требует некоторых уточнений в применении к лексико-семантическим явлениям. Дело в том, что лексические значения отличаются от грамматических не только степенью отвлеченности, но и своей прямой соотнесенностью с фактами действительности. Грамматические значения обусловлены в первую очередь внутриязыковыми противопоставлениями. Лексические значения слов связаны с представлениями об определенных предметах и явлениях; естественно поэтому, что изменение определенного круга самих предметов и явле-

---

[1] В. А. Звегинцев, Семасиология, стр. 263.

[2] Там же, стр. 268.

[3] Ср. формулировку в статье М. В. Панова «О развитии русского языка в советском обществе», «Вопросы языкознания», 1962, стр. 14: «Воздействие социальной действительности на язык не может быть деструктивным, не может разрушать языковую систему. Внешние факторы никогда не отменяют действия внутренних законов языка, они способны только ускорить или замедлить действие отдельных тенденций развития языковой системы или же предоставить новый материал, подлежащий воздействию этих законов».

ний (или представлений о них) сказывается на значениях соответствующего круга слов. Конечно, при изучении лексики необходимо различать те отношения между словами, которые обусловлены структурой языка, и те отношения, которые связаны с отражением внеязыковой действительности. Однако невозможно и нет смысла игнорировать при этом последние, так как лексико-семантическая система языка не может быть представлена как система «чистых» языковых отношений.

Этой особенностью лексики, то есть ее непосредственной зависимостью от внеязыковой действительности, обусловлены, в частности, и те значительные трудности, которые возникают при попытках обнаружения системных отношений в лексико-семантической сфере языка.

В противовес атомистическому изучению языковых фактов, характерному для младограмматиков, в языкознании XX века прочно укрепилось понимание языка как системы (или, точнее, «системы систем»), то есть такого сложного целого, отдельные части которого взаимосвязаны и взаимообусловлены. Такое понимание языка, давшее очень значительные результаты в грамматических и, особенно, фонологических исследованиях, выдвинуло перед языковедами задачу исследовать и лексико-семантические явления не изолированно друг от друга, а в их взаимообусловленности и взаимозависимости.

Следует отметить, что на необходимость изучения не отдельных изолированных слов, а групп слов, семантически связанных друг с другом, обращали внимание исследователи и раньше. Так, М. М. Покровский в своих работах по семасиологии («Семасиологические исследования в области древних языков», 1895 г., и другие) исходил из того, что «история значений известного слова будет для нас только тогда понятной, когда мы будем изучать это слово в связи с другими словами, синонимическими с ним и, главное, принадлежащими к одному и тому же кругу представлений», что «семасиологический процесс распространяется на целые категории слов»[1]. М. М. Покровский подчеркивал, что «слова и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью, но

[1] М. М. Покровский, Избранные работы по языкознанию, изд. АН СССР, 1959, стр. 75.

соединяются (в нашей душе), независимо от нашего сознания, в различные группы, причем основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность по основному значению»[1]. При этом исследователь стремился обнаружить не только интуитивно ощущаемую семантическую близость тех или иных слов, но и некоторые формальные показатели этой близости (именно как ее следствие). Он отмечал, в частности, что «слова, сходные или прямо противоположные по значению, могут иметь свои собственные формальные особенности; далее, одно из них может передать некоторые из своих звуков другому; наконец, если слово, принадлежавшее к известной семантической категории, почему-либо выходит из нее, то оно может вместе с тем утратить и формальные особенности этой категории»[2]. М. М. Покровский указывал и на роль тех обычных словесных окружений, тех контекстов, в которых чаще всего встречается данное слово.

Признание зависимости значения слова от его места в ряду других слов привело к попыткам определить характер этой зависимости и в то же время разработать соответствующую методику семантического исследования. Известным шагом вперед в этом направлении была статья Р. М. Мейера, опубликованная в 1910 году[3], в которой рассмотрена современная автору военная (прусская) терминология. Каждый соответствующий термин получает собственную значимость в зависимости от положения внутри общей номенклатуры: *майор* в связи с положением между *капитан* и *подполковник* и т. д. «Семантическая система» рассматривается Мейером как некоторая совокупность лексических единиц, упорядоченная с какой-либо определенной точки зрения. Поскольку для одного и того же слова могут быть действенны два и больше различительных семантических факторов (например, глаголы движения могут различаться по направлению и характеру движения, скорости и т. д.), слово

---

[1] М. М. Покровский, Избранные работы по языкознанию, изд. АН СССР, 1959, стр. 82.

[2] Там же, стр. 83.

[3] R. M. Meyer, Bedeutungssysteme, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der i.-g. Sprachen», 1910, Bd. 43, H. 4, стр. 352—368.

может одновременно входить во многие различные «семантические системы».

В 30-е годы были выдвинуты различные теории языкового «поля», целью которых было определение природы той «системности», которая существует в лексике. Наибольшую известность получила теория Й. Трира[1]; она вызвала много откликов, в значительной части критического характера.

В своей теории «понятийного поля» и «словесного поля» Й. Трир опирался на взгляды В. Гумбольдта, видевшего в языке не только отражение «национального духа» народа, но и ту силу, которая формирует его «мировоззрение». По мнению Й. Трира, каждый язык по-своему членит мир, и мы представляет себе мир таким, каким дает его нам язык.

Й. Трир исходит из «понятийных полей», соответствующих определенной сфере понятий. На каждое «понятийное поле» как бы накладываются слова, которые членят его без остатка. Эти слова и образуют особое «словесное поле». При членении «понятийного поля» словами не остается пробелов, и слова не перекрещиваются друг с другом, — они накладываются на «понятийное поле» подобно кусочкам мозаики, целиком заполняя его. Каждое слово самостоятельно ничего не значит, оно получает смысл только как часть соответствующего поля. Историческое развитие значений слов состоит, по Й. Триру, в новом членении того же неизменно очерченного поля, в перераспределении внутри него «кусочков мозаики», то есть слов.

Работы Й. Трира вызвали серьезную критику. Многие исследователи отмечали идеалистический характер теории Й. Трира, ее априорность, неоправданную прямолинейность в установлении соотношения между словом и понятием, субъективизм, неразличение в ряде случаев диахронических и синхронических связей слова. Вот как, например, оценивает эту теорию А. А. Уфимцева:

---

[1] J. Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, Heidelberg, 1931; Sprachliche Felder, «Zeitschrift für deutsche Bildung», 1932, Bd. 8, Hf. 9, стр. 417—425; Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung, «Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung», 1934, Bd. X. стр. 428—449; Deutsche Bedeutungsforschung, «Germanische Philologie: Ergebnisse und Aufgaben. Festschrift für O. Behaghel», Heidelberg, 1934, стр. 173—200 и др.

«Й. Трир преднамеренно исключил из научного анализа по методике «поля» основные семасиологические понятия и категории, как-то: слово как самостоятельную и основную единицу языка, лексическое значение слова, смысловую структуру слов, выявляющуюся в характере их полисемии и омонимии, в своеобразии внутрисловных смысловых связей, основные определяющие типы чисто семантических и лексико-грамматических связей слов, составляющих специфику смысловой структуры языка в целом. Таким образом, первая в истории семасиологии попытка системного изучения лексики, определения характера смысловой структуры языка свелась к полному их отрицанию»[1].

Нет оснований предполагать, будто словесные единицы четко и последовательно заполняют некую двухмерную плоскость понятийного поля, не допуская ни пробелов, ни перекрещиваний[2]. Слабым местом исследований Й. Трира является и то, что он игнорирует функции слова в различных контекстах.

Теория семантического поля Й. Трира была принята и развита Л. Вейсгербером[3], одним из главных представителей современного неогумбольдтианства. По мнению Л. Вейсгербера, язык является тем «промежуточным миром» (Zwischenwelt), который стоит между действительностью и нашим сознанием. Картина внешнего мира создается языком, поэтому людям, говорящим на разных языках, она представляется по-разному. Собственное значение каждого слова, согласно Л. Вейсгерберу, определяется местом этого слова среди других соотнесенных с ним слов, его расположением в поле, представляющем собой сектор языкового «промежуточного мира». Языковые поля не составляются из отдельных семантически самостоятельных слов, а, наоборот, определяют значения самих отдельных слов как членов

---

[1] А. А. Уфимцева, Опыт изучения лексики как системы, М., 1962, изд. АН СССР, стр. 44.

[2] W. Betz, Zur Überprüfung des Feldbegriffes, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet der i.-g. Sprachen», 1954, Bd. 71, Hf. 3—4, стр. 189—198.

[3] L. Weisgerber, Vom Weltbilder der deutschen Sprache, Düsseldorf, 1950. Более ранние работы Л. Вейсгербера, считавшего неоправданным вообще изучение значений слов и предлагавшего заменить семасиологию «наукой о понятиях», оказали влияние на становление самой теории Й. Трира.

некоторого единства. Л. Вейсгербер различает «однослойные» и «многослойные» поля (ein- und mehrschichtige Felder); это различие обусловлено тем, что формирование поля может определяться как одной, так и несколькими точками зрения, когда поле членится в соответствии с несколькими основными признаками. Так, например, при анализе слов, относящихся к полю «проступок», Л. Вейсгербер считает нужным учитывать две следующие точки зрения: 1) степень ответственности (без ведома, возможная осведомленность, преднамеренно и т. п.) и 2) что́ именно (какая норма) нарушается (надлежащее, разумное, законное, моральное и т. п.). При пересечении этих точек зрения и выделяются значения отдельных слов, входящих в соответствующие ряды (таких, как *ошибка, проступок, преступление, грех* и т. п.). Л. Вейсгербер сам замечает, что помещение того или иного слова в определенном месте полученной им системы оказывается субъективным и спорным. Совершенно ясно, что невозможно представить себе, чтобы слова с их реальными значениями полностью укладывались в «клеточки» конструируемых таким образом отвлеченных схем.

Как и Й. Трир, Л. Вейсгербер исходит не из значений самих слов, а из понятий, которым соответствуют те или иные слова. Неправильным пониманием связи языка с действительностью, так же как игнорированием многих собственно языковых моментов, предопределена слабость и неполнота их концепций.

Критика теории Й. Трира сопровождалась в ряде исследований изложением собственных взглядов выступавших с этой критикой исследователей на системные отношения в лексике. Так, М. Конрадт-Хикинг[1] считает теорию Й. Трира неприемлемой потому, что Й. Трир изучает понятийные, а не языковые поля. По ее мнению, лингвистика должна исследовать слово только как неразрывное единство звучания и значения, поскольку они «взаимообусловливают друг друга и взаимно друг на друга влияют». К этой (в сущности, довольно простой) мысли М. Конрадт-Хикинг пришла, обнаружив, что омонимы различаются не только значением, но, как

[1] M. Konradt-Hicking, Wortfeld oder Bedeutungsfeld (Sinnfeld)? «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», Bd. 73, Hf. 3—4, стр. 222—234.

утверждает автор, и звучанием, так как они выступают компонентами разных сложных слов, то есть имеют «иные звуковые и семантические изменения». Слова, объединяющиеся в том или ином сложном слове, и составляют «словесное поле» (которое противопоставляется автором понятийному, или смысловому полю). Г. Мюллер[1] критикует Й. Трира за то, что он не обращает внимание на контекст, в котором выступает слово. По мнению Г. Мюллера, при изучении значений слов необходимо учитывать их синтаксические связи.

Вскоре после опубликования работ Трира возникли и другие теории поля, не имеющие с его теорией почти ничего общего (кроме общего для них стремления вскрыть системные отношения в семантике, анализировать значения одних слов в связи со значениями других). Большинство лингвистов стремится найти собственно языковые (а не понятийные, как у Трира) основания для выделения и разграничения лексико-семантических групп.

Так, Г. Ипсен[2], отвергая схемы Трира как не опирающиеся на связи, существующие в самом языке, выдвигает формальный морфологический признак, считая, что одну семантическую группу образуют только те родственные по смыслу слова, которые одинаково оформлены, то есть именно вследствие смысловой близости получили и одинаковое морфологическое оформление. А. Йоллес[3] рассматривает коррелятивные пары слов, вроде *правый — левый, отец — сын*, которые, по мнению автора, показывают, что «семантический каркас» остается неизменным, в то время как его составляющие могут меняться, то есть сохраняется данное семантическое отношение, хотя для его выражения могут использоваться в различные эпохи разные слова. С иной трактовкой семантического поля выступил В. Порциг[4], который стре-

---

[1] G. Müller, Wortfeld und Sprachfeld, «Beitrage zur Einheit von Bildung und Sprache im Geistigen Sein», Berlin, 1957, стр. 155—163.

[2] G. Ipsen, Der neue Sprachbegriff, «Zeitschrift für Deutschkunde», 1932, Bd. 46, Hf. I.

[3] A. Jolles, Antike Bedeutungsfelder, «Beitrage zur Geschichte der deutsche Sprache und Literatur», 1934, 58, стр. 97—109.

[4] W. Porzig, Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, «Beitrage zur Geschichte der deutsche Sprache und Literatur», 1934, 58, стр. 70—97.

мится обнаружить связи, которые заложены в самих словах. Например, слово *хватать* по самому своему значению связано со словом *рука*, *идти* с *нога*, *лаять* с *собака*, *видеть* с *глаз*, *есть* с *еда* и т. д. Эти отношения В. Порциг называет «сущностными отношениями» (wesenhafte Beziehungen). Они и составляют «элементарные поля значений», будучи простейшими членами семантической системы. «Ядром» элементарного поля является чаще всего глагол: с глаголом *хватать* соотнесено существительное *рука*, в то время как с последним могут связываться многие другие глаголы.

Таким образом, понятие «поля» используется в семасиологической литературе для обозначения совершенно различных явлений. Й. Трир и Л. Вейсгербер исходят не из языкового материала, а из абстрактного членения языка на понятийные сферы, на которые, по их мнению, накладывается вся лексика. При этом противоречивым во многих случаях оказывается самое соотношение между утверждениями о роли языка в формировании наших представлений о реальной действительности и признанием существования независимых от конкретной лексики понятийных сфер, которые только «заполняются» определенными словами. Г. Ипсен, А. Йоллес, В. Порциг и другие исследователи, напротив, основывает понятие «поля» на собственно языковых связях, хотя и выдвигают на первый план различные критерии его выделения [1].

Собственно языковые связи, существующие между словами, отмечаются швейцарским лингвистом Ш. Балли. Эти связи расцениваются им как ассоциативные, и он говорит об «ассоциативных полях», объединяющих отдельные слова. Нужно заметить, что системность языка, согласно взглядам Ш. Балли, вообще проявляется в форме определенных устойчивых ассоциаций: «Языковая система, — пишет он, — представляется нам в виде обширной сети постоянных мнемонических ассоциаций,

---

[1] См. также F. Scheidweiler, Die Wortfeldtheorie, «Zeitschrift fur deutsches Altertum und deutsche Literatur», 1942, Bd. 79, Hf. 3—4, стр. 249—272; S. Öhman, Theories of the 'Linguistic Field' «Word», 1953, v. 9, пг. 2; А. А. Уфимцева, Теории «семантического поля» и возможности их применения при изучении словарного состава языка, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», изд. АН СССР, 1961, стр. 30—63.

весьма сходных между собой у всех говорящих субъектов, — ассоциаций, которые распространяются на все части языка...»[1], в том числе и на лексику. Например, слово *вол* вызывает в нашем сознании такие ряды слов, как *корова, бык, теленок, рога, жвачка* и т. д.; *пахота, плуг, ярмо, мясо* и т. д.; наконец, с ним связываются для говорящих на французском языке представления о силе, выносливости, но также медлительности, неповоротливости и т. д., — метафорические выражения указывают на это (ср. в русском *силен как бык; взять быка за рога; жевать жвачку* и т. п.).

Интересны соображения П. Гиро, обосновывающего идею о «морфо-семантических полях»[2]. Приводя примеры смыслового «притяжения паронимов», взаимодействия синонимов и т. п., П. Гиро приходит к тому выводу, что в языке существуют определенные лексические поля, названные им «морфо-семантическими», представляющие комплекс отношений между формами и значениями, из которого каждое слово получает свою «мотивировку», однако эти отношения не складываются в систему, в том понимании, в котором этот термин применяется в фонологии, где каждый член системы выполняет функцию, необходимую для целого.

Изучение взаимоотношений, существующих между значениями слов, шло, таким образом, в разных направлениях. Обнаруженные типы таких взаимоотношений во многом неравноценны и даже несопоставимы друг с другом. Понятия «семантической системы», «семантических групп слов», «семантических полей» и т. д. не приобрели не только однозначного, но и сколько-нибудь близкого истолкования, хотя посвященные этим вопросам исследования и открыли много нового и поучительного в семантических взаимоотношениях и смысловом развитии слов[3].

---

[1] Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 30.

[2] P. Guiraud, Les champs morpho-semantiques, «Bulletin de la Société de Linguistique de Paris», t. 52, fasc. I, стр. 265—288.

[3] См. также ценные исследования отдельных групп слов, такие, как: E. Oksaar, Semantische Studien in Sinnbereich der Schnelligkeit, Uppsala, 1958; O. Duchaček, Le champ conceptuel de la beauté en français moderne, Praha, 1960; А. И. Кузнецова, О типах смысловых отношений в группе глаголов движения в древнерусском языке, «Вестник Московского государственного универси-

Многообразие смысловых и ассоциативных связей между словами, сближаемыми в условиях реального речевого общения на основе самых различных признаков, выдвигает задачу последовательного анализа этих связей, их разграничения и выделения тех из них, которые подлежат семантическому исследованию.

Некоторые из типов лексико-семантических групп слов («лексико-семантических систем», по терминологии автора) отмечаются в упоминавшейся книге В. А. Звегинцева. Автор указывает на такие различные виды объединений слов, как группы слов, представляющих «как бы частные подразделения» более общих понятий, выраженных словами с «обобщающими значениями» (например, *синий, зеленый, красный, черный* и т. д. — *цвет*; *дуб, сосна, береза, клен* и т. д. — *дерево*); группы слов синонимического характера, в одних из которых объединяются слова с «такой добавочной смысловой нагрузкой стилистического или идеографического порядка, которая тянет их в разные стороны и препятствует выделению обобщающего слова» (*спешить, торопиться, нестись, лететь*), в других — слова «располагаются вокруг слова-доминанты, варьируя его основное значение внесением «идеографических или стилистических оттенков» (*большой — громадный, великий, колоссальный, гигантский, исполинский*); наконец, группы слов, обозначающих, например, родственные отношения, названия частей тела и т. д., в основе которых лежат «иные принципы определения общего значения»[1].

Нетрудно заметить, что отличия перечисленных групп обусловлены не только разными «принципами определения общего значения», но и разной степенью их собственно семантической общности. В таких объединениях слов, которые основаны на группировке самих предметов и явлений действительности (например, названия частей тела и т. п.), некоторыми исследователями вообще отрицается наличие сколько-нибудь существенных семантических связей.

тета», 1961, № 1, стр. 34—48; А. А. Уфимцева, Теории «семантического поля» и возможности их применения при изучении словарного состава языка, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», изд. АН СССР, 1961, стр. 30—63.

[1] В. А. Звегинцев, Семасиология, стр. 269.

Так, Ф. П. Филин, отметив, что «положение о словарном составе языка как о системе разных лексико-семантических групп (или рядов, разрядов) слов в настоящее время является широко распространенным, если не общепризнанным», продолжает: «Однако, под этими группами понимаются совершенно различные явления: объединения слов на основе общности грамматико-семантических значений, общности значений словообразовательных средств и т. д., не являющихся прямым объектом собственно лексикологии, хотя и играющих важную роль в лексикологических исследованиях» [1]. Сам Ф. П. Филин считает необходимым отличать от лексико-семантических групп объединения слов, обозначающих определенные группы самих реалий, например названия частей тела и т. п. «Такого рода объединения слов, основывающиеся не на лексико-семантических связях, а на классификации самих предметов и явлений, можно назвать тематическими словарными группами» [2]. Если одно из слов тематической группы заменяется с течением времени другим, такая замена не приводит к изменениям в значениях, стилистической окраске слов той же группы, что, по мнению Ф. П. Филина, свидетельствует о почти полном отсутствии семантических связей между словами группы в языке на данной ступени его развития. Например, если *хребет* постепенно вытесняется словом *спина*, это никак не отражается на словах *голова*, *колено, рот* и т. д. Между тем очевидна связь между словами *спина* и *хребет*, *руки* и *ноги* и т. п. Следовательно, в рамках одной тематической группы существуют более мелкие, но тесно спаянные между собой лексико-семантические группы слов. «Лексико-семантические группы слов, — отмечает Ф. П. Филин, — представляют собою собственно языковые единицы, продукт исторического развития того или иного языка. Слова, выражая свои собственные значения, в рамках одной лексико-семантической группы в то же время оказываются связанными между собою соотношениями, не безразличными для их собственных значений. Это отношения синонимии, антонимии, всякого рода уточнения,

[1] Ф. П. Филин, О лексико-семантических группах слов, сб. «Езиковедски исследования в чест на акад. Стефан Младенов», София, 1957, стр. 525.

[2] Там же, стр. 526.

дифференциации и обобщения близких или сопредельных значений»[1].

В последнее время предпринимались также попытки применения в семасиологическом исследовании новых методов анализа, имеющих целью получение более точных и объективных данных. О некоторых из этих работ, демонстрирующих различные направления, в которых развивается современная наука о значениях слов, следует упомянуть здесь.

Идея разложения значения на ряд компонентов, которые показали бы и объективное соотношение между значениями разных слов, получила своеобразное преломление в книге, написанной американским ученым Ч. Осгудом и его сотрудниками и названной ими «Измерение значения»[2]. Значение трактуется авторами в психологически-бихейвиористском плане. Оно понимается как реакция индивидуума (проявляющаяся, например, в выражении лица, жестах, движениях тела и т. д.) на тот или иной языковой знак. Такие реакции не только индивидуальны, — они могут быть различны не только у разных лиц, но и у одного и того же лица в разное время. Для «измерения значений» используется метод «семантического дифференциала». Сущность его вкратце заключается в следующем. Отвечающему предлагается «понятие» и серии измерений, каждое из которых представляет собой «шкалу» с противоположными по смыслу словами (например, *медленный — быстрый*; *счастливый — несчастный, суровый — мягкий, хороший — плохой, красивый — некрасивый* и т. п.). Отвечающий должен оценивать «понятия» (например, *отец, леди, озеро* и т. п.) в соответствии с тем, с какими из этих слов больше ассоциируются для него данные «понятия». Авторами разработаны и другие аналогичные схемы «измерений», а также подробно изложена техника проведения самих «тестов».

Эти тесты, возможно, ценны для психологов, но к лингвистике они имеют только косвенное отношение[3].

[1] Ф. П. Филин, О лексико-семантических группах слов, сб. «Езиковедски исследования в чест на акад. Стефан Младенов», София, 1957, стр. 535—536.

[2] Ch. E. Osgood, G. J. Suci and P. H. Tannenbaum, The measurement of meaning, Urbana, 1957.

[3] См. рецензию на эту книгу в журнале «Language» (35, № 1, 1959, стр. 58—77; автор рецензии — J. B. Carroll).

Индивидуальные реакции на языковые знаки, вызванные теми или иными ассоциациями, не характеризуют значений как таковых, хотя иногда и очень важны для понимания экспрессивных возможностей слова. Результаты исследований, проведенных по предложенной Осгудом методике, могут оказаться интересными для лингвистов, но воспользоваться ею при лингвистическом изучении значений слов нельзя.

Заслуживают внимания соображения, касающиеся изучения значений слов в связи с проблемой семантического поля, высказанные Е. Найда в статье «Анализ значения и составление словарей»[1]. Автор подчеркивает тесную связь языка с культурой народа. Он отмечает, что выделение семантических полей и их составных частей представляет неодинаковые трудности для различных групп лексики, — оно сравнительно несложно лишь в тех случаях, когда «речь идет о более или менее ясно очерченной группе слов», например о так называемых терминах родства или об обозначениях цветового спектра (можно заметить, кстати, что именно эти группы слов привлекаются обычно как иллюстрации при общих рассуждениях о системности лексики и необходимости ее структурного изучения). Однако, считает Е. Найда, «и разрешив проблему исследования семантического поля, мы все еще будем стоять перед трудностями при попытках соотнести различные значения отдельных терминов так, чтобы сфера значения, покрываемая словом или семантически эндоцентрическим словосочетанием, могла быть соотнесена с соответствующей культурой».

Как пример разработки семантического поля Е. Найда приводит исследование терминов шаманов в языках майя (в Гватемале и в южной Мексике). Исследование проводилось следующим образом. Названия, относящиеся к шаманству, были расположены по вертикали. По горизонтали были обозначены все функции, приписываемые шаманам, как-то: исцеление больных, произнесение заклинаний, предсказание будущего и т. д. Затем у информантов (носителей исследуемых языков)

[1] E. A. Nida, Analysis of meaning and dictionary meaning, «International Journal of American Linguistics», v. 24, № 4, 1958, стр. 279—292.

выяснялось, кто именно из лиц, перечисленных по вертикали, выполнял каждую из функций. Этот компонентный анализ позволил уточнить ряд функций, вместе с тем «обнаружилось совершенно неподозреваемое перехлестывание определенных функций». Данное исследование имело практические цели — исследование лексики бесписьменных языков. Однако самая методика интересна и в теоретическом плане. Заслуживает внимания анализ по семантическим различиям и «компонентам значения» слов, отнесенных к одному семантическому полю.

Очень интересными по своему направлению представляются исследования семантических полей, проведенные Ю. Д. Апресяном[1]. Стремясь найти объективные критерии для выделения семантических полей, Ю. Д. Апресян исходит из дистрибуции слов в определенных значениях. Под дистрибуцией в этом случае понимается структурная модель, в которой слово в данном значении употребляется, и формула сочетаемости слова в данном значении. Результаты исследования показывают, что структурные модели и формулы сочетаемости «имеют определенное типовое значение», то есть дают возможность произвести объективное расчленение лексики языка на определенные семантически однородные группы (семантические поля).

При всем различии подходов к изучению системных отношений в лексике и семантике, при всем несходстве методологических принципов и исследовательских приемов в лингвистических работах последних десятилетий совершенно очевидно стремление к раскрытию взаимосвязанности и взаимообусловленности лексико-семантических явлений. Вместе с тем разительные расхождения в понимании природы лексической «системы» заставляют некоторых исследователей сомневаться в реальности самого понятия «лексико-семантической системы».

Эти сомнения обусловлены среди прочих причин и двумя следующими. Одна из них заключается в довольно

---

[1] Ю. Д. Апресян, Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля, «Лексикографический сборник», вып. V, М., 1962, стр. 52—72; он же: О понятиях и методах структурной лексикологии, сб. «Проблемы структурной лингвистики», изд. АН СССР, М., 1962, стр. 141—162; он же: К вопросу о структурной лексикологии, «Вопросы языкознания», 1962, № 3, стр. 38—46.

распространенном декларативном употреблении термина «лексическая система», звучащего лишь как некий более внушительный синоним слова «лексика». Обоснования системности лексики в таком случае сводятся либо к ссылкам на системный характер языка в целом, либо к демонстрации системного характера отдельных рядов слов, причем главным образом именно таких, самые значения которых обусловлены их иерархическим соотношением с другими словами того же ряда (например, терминов родства, обозначений цветов). Другой причиной является, как кажется, некоторая неопределенность требований, которые иногда предъявляются к самому понятию «системности» лексики. Например, В. М. Жирмунский, указывая на отсутствие связи между группой слов, обозначающих понятие «мысль», и словами, служащими для обозначения одежды или обуви, приходит к выводу, что в лексике «нет никакой системности», кроме той, которая обусловлена отношениями между явлениями самой действительности[1]. Во-первых, не совсем ясно, почему признание системности лексики должно было бы предполагать наличие какой-либо связи непосредственно между указанными лексическими группами, а не между теми гораздо более крупными тематическими объединениями слов, в которые они входят. Ведь и грамматические связи между словами устанавливаются в языке не на основе их изолированного лексико-грамматического содержания, а на основе отнесенности этих слов к определенным классам с обобщенными значениями. Во-вторых, вызывает возражение признание не существенными для языка тех связей, которые обусловлены в нем реальными связями, существующими в самой действительности. Как отмечает С. И. Ожегов: «Жизнь лексики сложна и многообразна и по сравнению с другими ярусами языка ярко двупланова. С одной стороны, ее основное назначение как первоэлемента общения — отражение действительности, т. е. всего многообразия мира и отношений, в которых живет общество. С другой стороны, в достаточно развитом

[1] См. материалы дискуссии «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», изд. АН СССР, М., 1960, стр. 70. В. М. Жирмунский отмечает: «Мы злоупотребляем словом «система». Слово это произносится со священным трепетом, но при этом часто является пустой фразой» (стр. 69).

языке способы отражения действительности предрешены наличием и возможностями средств — лексико-семантических, стилистических, синонимических, словообразовательных и т. д. — и их внутренними отношениями»[1]. Можно, кстати, заметить, что в ряде случаев и далекие по предметно-смысловой отнесенности сферы лексики обнаруживают точки соприкосновения благодаря вторичным значениям отдельных слов; ср.: *синий чулок, сапог, шляпа* (о людях), *кокетка* (в платье) и т. п. Для лингвиста небезразлично то, чем вызваны те или иные соотношения между словами или группами слов — взаимосвязью явлений окружающей действительности, психологическими ассоциациями и т. д. или же принадлежностью слов к одному и тому же морфологическому классу, способностью слов выступать в тех же синтаксических конструкциях, их соотнесенностью с определенными словообразовательными моделями, синонимическими отношениями и т. п. Все эти факторы могут сложно переплетаться в судьбе слова. Как нет смысла смешивать их, так нет смысла и игнорировать какие-то из этих факторов при изучении семантических соотношений и изменений, наблюдаемых в языке в определенный период, если именно ими обусловлены те или иные языковые явления.

---

[1] Русский язык и советское общество. Проспект, Алма-Ата, 1962, стр. 6.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО СЛОВА И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Говоря, что такое-то слово может употребляться в разных значениях, выступать в разных формах, мы, естественно, должны быть уверены в том, что перед нами во всех этих случаях действительно одно и то же слово. Таким образом, возникает вопрос: какие единицы языка являются отдельными самостоятельными словами, а какие могут рассматриваться как видоизменения одного и того же слова. В связи с этим вопросом высказывались различные мнения.

Так, например, указав на ряд значений, свойственных слову *верста* в древнерусском языке, А. А. Потебня писал: «В действительности не только верста = = 500 саженей есть слово отдельное и отличное от верста = возраст, верста = пара, но и верста в одном из этих значений есть иное слово, чем версты, версте и т. д. в том же лексическом значении, т. е. малейшее изменение в значении слова делает его другим словом»[1]. Поэтому и самый термин «многозначность слова» представляется А. А. Потебне неточным, так как «на деле есть только однозвучность различных слов, то есть то свойство, что различные слова могут иметь одни и те же звуки»[2]. Идя по этому пути, можно признать, что и при каждом новом употреблении слова мы, по существу, имеем дело с новым словом. Ведь если «малейшее изменение в значении слова делает его другим словом», причем имеются в виду «ма-

[1] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. I—II, Учпедгиз, М., 1958, стр. 15.

[2] Там же, стр. 15—16.

лейшие изменения» не только в лексическом, но и в собственно грамматическом значении, то и простое повторение слова, несомненно, связанное с раскрытием в нем каких-то новых семантических и грамматических оттенков, должно рассматриваться не как повторение того же слова, а как последовательное употребление двух однозвучных слов. Ср. хотя бы такие типы конструкций, в которых лексическое повторение становится синтаксически организующим моментом, например: «Михасю абсолютно все равно, где убили этого Эриха. *Убили и убили*» (Нилин, Через кладбище) или «*Дурак-дурак*, а поди какие фокусы выкидывает!» (Л. Андреев, Первый гонорар) и мн. под.

Вряд ли, однако, кто-либо из непосредственных носителей языка согласится с подобным утверждением, противоречащим самой природе языка. Ведь только потому, что все, что́ встречается в речи, отождествляется нами с определенными элементами известного нам языка, и возможно речевое общение и взаимное понимание. Поэтому, сколько бы раз мы ни встретили, например, форму существительного *верста*, мы считаем ее одной и той же формой того же самого существительного *верста*.

Однако вопрос о единстве и тождестве слова не может быть решен ссылкой на «языковую интуицию». По существу в ряде случаев он допускает различное решение, в зависимости от исходных определений. Вопрос этот должен рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, он касается слова как семантического целого, во-вторых, — слова как грамматического целого, способного видоизменяться и выступать в различных грамматических формах.

Так, нам предстоит решить, будем ли мы считать *вёрсты* в пушкинском стихе «Только *вёрсты* полосаты попадаются одне...» и в цветаевском «Целу́ю вас через сотни разъединяющих *верст*...» — формами одного и того же слова в разных значениях или же разными самостоятельными словами? Является ли слово *труд* в монологе Пимена из «Бориса Годунова» «Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой *труд* усердный...» тем же словом, что и в строчке Маяковского «*Труд* мой любому труду родствен»? Здесь вопрос о тождестве слова переходит, как легко заметить, в вопрос о многозначности слова. Далее, мы должны решить, что́ мы

можем считать грамматическими видоизменениями одного и того же слова, а что́ разными словами. Если в ряде случаев непосредственное языковое чутье, вопреки мнению А. А. Потебни и ряда других исследователей, подсказывает нам, что мы имеем дело с видоизменениями того же слова, то в других случаях это представляется уже не столь очевидным. Например, мы интуитивно чувствуем, что *верста, версты, версте..., труд, труда, труду..., иду, идешь, идет...* и т. п. — это ряды видоизменений слов *верста, труд, идти,* причем видоизменений, обусловленных грамматически и никак не связанных с каким-либо различием в лексических значениях этих форм. Лексическое значение всех этих форм слов остается неизменным. А. И. Смирницкий в специальной работе, посвященной проблеме тождества слова[1], отмечает, что «глоссы» (под «глоссой» автор понимает «любую языковую единицу, представляющую собой одно определенное слово в том или другом его варианте... и в одной определенной грамматической форме»), «различающиеся только грамматически, являются глоссами, представляющими собой одно и то же слово». В соответствии с этим А. И. Смирницкий считает, например, формы множественного числа существительных такие, как *лампы, столы,* формами слов *лампа, стол.* Однако «в определенных случаях может оказаться, что известное число или, вернее, комплект предметов в силу тех или других объективных причин осмысляется как некоторый особый предмет, — и в таких случаях отношение к определенному числу превращается уже в признак данного комплексного предмета», тогда «грамматическая множественность в соответствующем слове выступает уже и как выразитель лексического момента»[2]. Так, *ус,* с одной стороны, и *усы* в значении «растительность над верхней губой», с другой, — по мнению А. И. Смирницкого, разные слова, так же как, например, *волос* и *волосы* («шевелюра»), *войска* и *войско* и т. п. Если вспомнить, что определенные различия в лексических значениях связаны

[1] А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (Проблема «тождества слова»), «Труды Института языкознания», т. IV, изд. АН СССР, 1954, стр. 3—49.

[2] Там же, стр. 16. Здесь, как и в последующих цитатах из этой работы, разрядка А. И. Смирницкого.

не только с формами множественного числа существительных, а и с целым рядом других грамматических форм, то единство, или тождество, слова в ряде случаев оказывается довольно проблематичным. Упомянутая работа А. И. Смирницкого интересна тем, что в ней всесторонне рассматриваются критерии отграничения разных слов от вариантов одного и того же слова. Однако самые эти критерии не всегда кажутся бесспорными. Согласно точке зрения исследователя, «грамматические моменты качественно отличны от лексических и сами по себе никак не меняют лексического содержания слова», когда же грамматические различия переходят в лексические — перед нами уже не варианты слова, а разные слова. В то же время «различие между вариантами, не являющееся различием грамматических форм, может быть либо лексико-семантическим, не выраженным во внешней стороне слова, либо, напротив, внешним, но тогда не выражающим никакого лексико-семантического различия»[1]. К вариантам слова (а не отдельным словам) А. И. Смирницким относятся в соответствии с этим фоно-морфологические варианты, подразделяющиеся на фонетические (ср. *кентавр — центавр*), и морфологические (*рельса—рельс; лиса—лисица),* и лексико-семантические варианты (*современный*— 1) «нынешний, теперешний», 2) «одновременный с кем-либо, с чем-либо»; *смеяться* — 1) «быть смеющимся», 2) «насмехаться над кем-либо, чем-либо»). Признание существования в языке лексико-семантических вариантов предполагает разграничение явлений омонимии и многозначности. А. И. Смирницкий справедливо замечает, что, «если отрицать явление многозначности слова и всякую лексическую неоднозначность считать омонимией, необходимо будет различать два рода омонимов: 1) омонимы, тесно связанные между собой по значению...; 2) омонимы, между которыми нет никакой конкретной лексико-семантической связи... Следовательно, устраняя понятие полисемии, мы достигаем лишь того, что вместо противоположения полисемии и омонимии получим противоположение двух родов омонимии: 1) типа *дом I — дом II* и

[1] А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (Проблема «тождества слова»), стр. 25.

2) типа *ключ I — ключ II*»[1] (*дом* — «строение» и *дом* — «жилье, место обитания»; *ключ* — «приспособление для приведения в действие замка и пр.» и *ключ* — «родник, источник»). А. И. Смирницкий указывает, что такая, по существу, всего лишь терминологическая замена не является оправданной, так как между омонимией и многозначностью слова наблюдается не только сходство (в обоих случаях имеется некое различие в значении при одинаковости звуковой оболочки), но и существенное различие: в то время как многозначность — явление типичное и нормальное для всякого языка, омонимия — результат особого стечения обстоятельств, никак внутренне не связанный с общими закономерностями существования и развития языка. Говоря о лексико-семантических вариантах слова, А. И. Смирницкий отмечает, что различия между ними «в очень большом числе случаев находят свое выражение либо в различии синтаксического построения, либо в разной сочетаемости с другими словами». Кроме того, отдельным лексико-семантическим вариантам могут быть свойственны некоторые грамматические особенности, которые все же «не уничтожают тождества слова, так как они выступают в качестве обусловленных лексической семантикой». Например, если слово *стол* выступает в значении «питание», «то естественным представляется, что в таком значении это слово не употребляется во множественном числе».

Таким образом, перед нами следующая картина. «Единица *усы*» в значении «растительность над верхней губой» признается другим словом по отношению к слову *ус*, «а следовательно, своего рода омонимом» по отношению к *усы* в значении «более чем один ус», на том основании, что здесь «грамматическая множественность.... выступает уже и как выразитель лексического момента».

В то же время, так сказать, грамматическая «единственность» слова *стол* в значении «питание», обусловленная лексической семантикой, не делает его самостоятельным словом и «своего рода омонимом» по отношению к *стол* как обозначению «предмета мебели».

---

[1] А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (Проблема «тождества слова»), стр. 39.

В подобной трактовке вопроса, как бы ни обосновывать данное конкретное различие, заключена опасность целого ряда недоразумений, так как несомненно, что если в случае *усы* «более чем один ус» — *усы* «растительность над верхней губой»— мы имеем «омонимы», то именно, по определению А. И. Смирницкого, — «тесно связанные между собой по значению», то есть такие, которые он считает неоправданным называть «омонимами». Кроме того, проявление каких-то особых лексических значений слова часто связано с определенными грамматическими формами и ограничено только ими.

Например, так называемые полные и краткие формы прилагательных, которые рассматриваются именно как формы слов, а не отдельные слова, во многих случаях не совпадают в своих лексических значениях. «Процесс лексического расхождения двух форм прилагательных, — замечает Н. Ю. Шведова, специально исследовавшая соотношение между этими формами, — идет, несомненно, по пути обогащения значений полных форм и сужения, ограничения значений форм кратких... Характерно, что при нескольких значениях полной формы прилагательного краткая его форма, как правило, имеет одно-два значения, которые к тому же часто являются фразеологически связанными». Далеко не все случаи такого расхождения Н. Ю. Шведова связывает с появлением омонимов, считая, что «расхождение это может только намечаться, создавая различные оттенки значений внутри одного слова» [1]. Однако и те прилагательные, которые, по мнению Н. Ю. Шведовой, «имеют два совершенно разных значения и фактически образуют омонимы, из которых один имеет как краткую, так и полную форму, другой — только полную форму» [2], следуя характеристике А. И. Смирницкого, никак нельзя расценить как такие, «между которыми нет никакой конкретной лексико-семантической связи». Ср. *бедный* в значениях «обладающий скудным достатком, неимущий» (*бедный человек*), «скудный, однообразный, простой» (*бедная природа, бедная обстановка*), при кото-

---

[1] Н. Ю. Шведова, Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке, «Ученые записки МГУ», вып. 150, изд. МГУ, 1952, стр. 74.

[2] Там же, стр. 79.

рых полная форма соотносительна с краткой, и *бедный* в значении «несчастный, возбуждающий жалость, сострадание» без краткой формы. То же: *славный*—«пользующийся славой, достойный славы» с возможностью краткой формы и *славный* — «хороший, приятный, милый» без краткой формы и т. п.[1].

Другой пример. Хорошо известно, что в языке постоянно происходит смещение значения определенных слов или отдельных грамматических форм, например, своеобразный отрыв и семантико-синтаксическое обособление некоторых падежных форм имени или некоторых форм глагола, перестающих быть соотносительными по своему значению и употреблению с другими формами данного имени или глагола. Обособленное употребление отдельной формы естественно смещает ее значение и нередко передвигает его за рамки общих значений данной части речи. Подобное движение может происходить в направлении к различным служебным словам; конкретный характер этого направления обусловлен различными семантико-грамматическими причинами. То, например, почему отдельные глагольные формы приближаются к частицам, а другие — к междометиям, зависит от природы самих этих форм, — причем именно как вполне определенных глагольных форм, то есть от их лексической и грамматической характеристики. Решительное причисление этих обособленных форм к частицам и междометиям (и тем самым признание за ними лексической отдельности), хотя и проводится во многих наших лингвистических работах, вряд ли можно признать оправданным.

Собственно, такое причисление даже не может быть названо преждевременным, так как в ряде случаев совсем нельзя быть уверенным в том, что окончательный «отрыв» вообще когда-либо состоится и рассматриваемая форма в данном употреблении полностью отделится от системы соотносительных форм. Например, если, относя к междометиям или частицам, рассматривать как отдельные самостоятельные слова некоторые обособившиеся по значению формы глаголов, такие, как *валяй*,

---

[1] Н. Ю. Шведова, Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке, «Ученые записки МГУ», вып. 150, изд МГУ, 1952, стр. 79—80.

брось, смотри, подумаешь, посмотри и т. п., то придется признать, что при соответствующих условиях эти «междометия», однако, изменяются так же, как («омонимичные» в таком случае) глагольные формы, ср., например: «*Валяйте* сюда! Сюда, ребята!» (Чехов, Москва); «Виктор поощрял ее: — *Валяйте,* мамаша, чего стесняться! Все свои ведь...» (Горький, В людях); «Скажи своим городским, которые для вас пишут, — для деревни тоже писали бы! *Пусть валяют* так, чтобы деревню варом обдало, — чтобы народ на смерть полез!» (Горький, Мать) и т. п., — т. е. придется признать, что это — такие «междометия», которые «спрягаются», причем совершенно аналогично соотносительным глагольным формам.

В то же время можно заметить, что отдельные формы некоторых глаголов, утрачивая отчетливые очертания своего лексического и грамматического значения, могут в разных контекстах выступать в функции и частиц, и междометий, и такой, которая не может быть подведена ни под какую рубрику классификации по частям речи: ср. употребление форм *смотри—смотрите, гляди — глядите, брось — бросьте.* «Отрыв» здесь идет одновременно по нескольким линиям. Лексическое и грамматическое значение формы сдвигается в различных направлениях, но оно продолжает оставаться тем внутренним стержнем, который ощущается при самом разнообразном употреблении этих форм и который не дает им распасться на ряд самостоятельных омонимов. Ср. также неустраненную «потенциальную» соотнесенность этих «оторвавшихся» форм с другими формами соответствующих глаголов; например: «...Живи, заинька, как тебе подсказывает молодое сердце. *Валяй* вовсю, покуда *валяется.* — Она засмеялась и куснула Надю за шею. — Старая будешь — так не *завалялется,* кукушечка» (А. Толстой, Голубые города); «...так что *валяйте,* высказывайтесь! — махнул он рукой...— *Валять* можно только дурака, а мне, уважаемый, *валять* нечего-с!— оскорбленно возразил Петр Горбидоныч» (Леонов, Вор); ср.: «Настя... Так *смотрите* же! Баклушин. Что *смотреть*-то? Настя. Не обманите меня» (Островский, Не было ни гроша...); «— Иди спи, Петр Федотович, а то в окно выброшу! — Ну это, говорю ей, мы еще *посмотрим.* — Ну, и *посмотрел*... Проявил излишнюю активность, и вот вам, пожалуйста,..» (Шолохов, Они

сражались за Родину); «—Может быть, вернемся, Колька? Ты *смотри!* — Чего, — говорю, — там *смотреть,* пять верст всего» (Житков, Метель); «— *Подумаешь*! — возмутилась Катя Смолева. — *Подумаешь*... — но, сколько ни *думала*, подходящих слов не нашла: до того возмутилась» (Рекемчук, Века, века...) и мн. под.

Следует заметить, что процесс лексикализации отдельных форм слов вообще сравнительно слабо проявляется в области глагола (сюда относятся *почти, пусть, шшь*). По-видимому, значение «признака, проявляющегося во времени», достаточно определенное, является тем прочным фундаментом, который не дает некоторым формам отдельных глаголов при всей их экспрессивной насыщенности вполне обособиться в качестве самостоятельных (лексически и грамматически) слов. Показательно в этом отношении и то, что «отрывающиеся» формы глаголов, подобные приведенным выше, никогда не становятся образцом для самостоятельных образований по аналогии, как это происходит с обособившимися формами имен существительных и прилагательных.

Ввиду всего сказанного представляется возможным считать, что семантическое обособление какой-либо из грамматических форм слова не свидетельствует само по себе об образовании самостоятельной лексической единицы. Семантическое единство слова наиболее вероятно как раз в тех случаях, когда обособлению одной из его форм способствует собственно грамматическая характеристика данной формы, как, например, в приводившихся выше формах повелительного наклонения, вроде *смотри, валяй*, употребляемых в междометно-императивной функции или в формах множественного числа существительных, таких, как *усы, волосы* и т. п.

Иная ситуация возникает тогда, когда семантический отрыв какой-либо формы слова не поддерживается ее грамматическим значением.

Такого рода соотношения наблюдаются, например, между многими наречиями и соотносительными с ними падежными формами имен существительных и прилагательных. Независимо от того, каковы реальные исторические пути возникновения этих наречий (по большей части они действительно генетически связаны с соответствующими падежными формами имен), значение па-

дежа в них смещается таким образом, что не определяет их собственные семантико-синтаксические функции. В таких случаях целесообразно видеть образование нового слова, которое становится омонимичным форме склоняемого слова в ее регулярном употреблении.

Вопрос о тождестве слова предстает здесь уже в его не синхроническом, а историческом (диахроническом) аспекте. Он заключается теперь не в том, что́ можно рассматривать как употребление слова (именно одного и того же слова) в разных его формах, то есть в разных видоизменениях, в разных значениях, а что должно быть истолковано как употребление сходных по внешней форме, но отдельных самостоятельных слов — слов, совпадающих по звучанию, но не объединенных благодаря этому сходству звучания в семантическое единство; иными словами — что́ из изменений формы и звучания слова приводит (в соответствии с теми или иными критериями) к образованию нового слова, а что́ (в соответствии с теми же принимаемыми критериями) должно укладываться в рамки принятых нами обоснований характеристики семантического единства и тождества слова.

С течением времени многие слова претерпевают самые различные, в ряде случаев очень существенные, семантические преобразования. Иногда их значение настолько смещается, что при отсутствии зафиксированных «промежуточных звеньев» семантическая история слова вообще не поддается вполне надежному объяснению. Однако изменение семантики слова, даже резкое, обычно не становится свидетельством исчезновения этого слова и рождения нового, созвучного прежнему.

Ничто вокруг нас не находится вне времени, а поэтому все в той или иной степени меняется. Но мы не сомневаемся в том, что предметы, которые окружают нас, остаются теми же предметами, несмотря на претерпеваемые ими изменения. Мы говорим: «Как выросло это дерево» или «Он стал неузнаваем», однако в практической жизни у нас не возникает мысли, что, следовательно, это уже «не то дерево» и «не тот человек». Современный писатель, вспоминая о своих детских переживаниях, написал: «Сколько я ни ездил потом рыбачить из Москвы на Колокшу, не мог я попасть в ту страну и понял, что каждое утро, каждая весна, каждая любовь, каждая радость неповторимы в жизни че-

ловека... А сам я, играющий на бильярде и в шахматы, сочиняющий стихи и покупающий игрушки детишкам, сотрудничающий в газете и пишущий статьи в журналы, — разве я и есть главный житель той страны, герой морских сражений и набегов на чужие огороды, спасающий разных там царевен и девочку Надю из пятого класса «А», самый смелый, самый гордый, самый сильный человек на земле? Что вы?! Я обыкновенный, средний, со множеством отрицательных черт и слабостей человек. А тот другой? Его нет, он остался там, в золотистой теплой мальчишечьей стране, которой тоже больше нет ни на земле, ни на карте. Почему-то сохранились от нее названия: Самойловский лес, река Ворша, Журавлиха, село Олепино, Кормилковский овраг... И по совсем уже странной случайности до сих пор я ношу имя того мальчишки, который жил в заповедной стране» (Солоухин, Капля росы).

Эта «странная случайность» является в то же время закономерностью нашего существования, так же как и существования того, что нас окружает. Это закономерность и функционирования языка в человеческом обществе, постоянно изменяющегося и в то же время остающегося тождественным самому себе.

Слова *город, улица, корабль, ехать, лететь* и многие другие, естественно, с течением времени изменили свое содержание настолько же, насколько изменились и сами обозначаемые ими предметы или явления. Однако это не значит, что соответственно изменилось их лексическое значение как таковое, точно так же как резкие сдвиги в семантике слов не означают замены этих слов другими, тождественными по звучанию, словами.

По существу, нет необходимости обосновывать это положение, так как оно может рассматриваться как исходное.

Вместе с тем нужно заметить, что наличие единого семантического «стержня» у некоторых сходных образований от того же самого корня или тех же самых корней не всегда свидетельствует об их семантическом единстве. От того же корня могут параллельно возникать одинаково оформленные производные, не связанные, однако, непосредственно друг с другом; в этом нет ничего удивительного, так как большая часть производных смещает значение производящей основы или основ

в каком-то определенном направлении, так или иначе «специализирует» его. Например, *взять руками* можно очень многие предметы, но *рукоять* в древнерусском языке обозначало: 1) «рукоять», 2) «охапку». Естественно предположить, что оба эти слова возникли независимо друг от друга, а не в результате какого-либо семантического развития одного из них. Ср. также *выражение* «оборот речи» и *выражение* (лица) и мн. др.

Одним из условий существования языка является его определенная устойчивость. Для того чтобы язык выполнял свою основную функцию, то есть служил средством общения, он должен быть одинаково понятен людям разных поколений. При непрерывных изменениях, происходящих в общественной жизни, он вместе с тем не может, конечно, оставаться неизменным.

Значения слов существуют лишь постольку, поскольку они непосредственно обращены к окружающей действительности, которая в них отображается. Однако семантические (как и другие) изменения, происходящие в языке, далеко не всегда представляют собой непосредственное отражение изменений, происходящих в окружающей действительности.

Во-первых, многие слова с течением времени изменяют свое значение, между тем как эти изменения трудно связать с какими-либо изменениями во внеязыковой действительности.

Во-вторых, для обозначения ряда явлений и предметов нередко вместо одних слов начинают употребляться другие, хотя в самих этих явлениях и предметах (или в их понимании) не происходит существенных изменений.

Мы легко можем представить себе, что в языке должны происходить какие-то изменения, обусловленные внешними причинами. Например, вполне естественно, что когда в окружающей действительности появляются новые предметы и явления, то для их обозначения образуются новые слова или используются старые, приобретающие в таком случае новое значение. Однако почему для обозначения тех же самых предметов иногда начинают использоваться новые слова? Почему значения слов могут изменяться с течением времени, хотя в самих обозначаемых ими предметах не происходит никаких изменений? Вопрос этот входит в общий вопрос об условиях функционирования языка в обществе.

Однако, что такое «язык»? Не является ли это привычное понятие само по себе условным? Говорящим приходится иметь дело с отдельными текстами, то есть с данными речи. Может быть, вся совокупность реальных текстов и составляет то, что мы называем языком? Такое предположение правильно освещало бы одну важную сторону языка, а именно то, что реальное бытие языка обусловлено его применением как средства общения в практической жизни коллектива. Однако оно все-таки никак не отвечало бы на вопрос о природе языка, о его объективной сущности, так как говоря, что язык складывается из различных его проявлений в общении людей, в их речи, мы уже тем самым предполагаем и некое независимое от конкретных проявлений существование языка. Ведь для того чтобы он мог проявиться, он должен уже где-то существовать. Ясно, что, когда мы пользуемся языком при общении, мы пользуемся им как чем-то уже *данным* нам, как уже существующей системой условных знаков. Однако где же именно существует эта система? Неизбежным ответом на этот вопрос является тот, что она существует в сознании говорящих. Слова, как и правила их сочетаний, существуют «в языке» постольку, поскольку они существуют в сознании пользующихся данным языком людей. Это представляется с первого взгляда простой и вполне очевидной истиной. Однако, если задуматься над этим, дело начинает казаться несколько сложнее.

Во-первых, язык никем из говорящих не ощущается как нечто принадлежащее только ему. Когда некоторые исследователи приходят к выводу, как, например, А. А. Шахматов, что «реальное бытие имеет язык каждого индивидуума; язык села, города, области, народа оказывается известной научной фикцией, ибо он слагается из фактов языка, входящих в состав тех или иных территориальных или племенных единиц индивидуумов» [1], то такое понимание является не в меньшей мере «научной фикцией», так как каждый индивидуум только потому и может пользоваться языком, что полагает, что он будет понят другими индивидуумами села, города и т. д., то есть, что он пользуется общим языком.

[1] А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, Учпедгиз, М., 1941, стр. 59.

Во-вторых, язык никем из говорящих не ощущается как нечто принадлежащее ему целиком. «Есть ли у слова такое-то значение?», «Можно ли так сказать?» — такие вопросы, с которыми в той или иной форме приходилось сталкиваться почти каждому, показывают, что язык не мыслится нами как что-то внутри нас, как инструмент, полностью принадлежащий нашему индивидуальному сознанию.

Язык, как определенная система условных знаков, конечно, может быть инструментом коллективного общения только потому, что он присутствует в сознании отдельных индивидуумов, входящих в тот или иной языковый коллектив. Он входит в сознание каждого индивидуума в процессе практического познания действительности, в результате соприкосновения с другими носителями языка. Поэтому язык воспринимается каждым из его носителей как некая данность: как бы лежащая за пределами его собственной деятельности и не зависящая от него. Реальное ощущение языковой нормы, меняющееся, естественно, в разных условиях существования языка, определяется именно нашим, чаще всего неосознанным, признанием коллективного характера языка. В то же время самая направленность таких вопросов, как «Можно ли так сказать?», отчасти указывает и на характер, так же как и на пути формирования языковой нормы. Конечно, на такого рода вопросы можно ответить ссылкой на «языковые традиции» и отражающие их академический словарь и академическую грамматику. Но, если даже не исходить из наивного, хотя и довольно распространенного убеждения, что нормативные словари и грамматики «придумывают лингвисты», решая, дескать, что́ можно «допустить в языке», а что́ нельзя, — то все же перед нами должен возникнуть еще один вопрос: если мы не знаем, «можно ли так сказать», и нам приходится заглядывать в нормативные словари и грамматики, основанные, очевидно, на чьем-то постороннем для нас речевом опыте, то что же представляет собой «язык», которым мы якобы «владеем»?

Каждый из нас охотно смиряется с тем, что сам он не знает в каких-то случаях, «что это значит» и «можно ли так сказать». Но когда выясняется, что этого не знает и еще целый ряд людей, «владеющих родным

языком», то язык с его нормами легко может показаться чем-то самодовлеющим и даже загадочным. Откуда же берутся и где существуют «нормы языка», почему, если, допустим, из двадцати опрошенных мной «носителей языка» девятнадцать дают ответ, не совпадающий с определением словаря, и только один — совпадающий, то этот ответ должен быть признан соответствующим языковой норме? Что же в таком случае норма, если не просто правило, записанное в лингвистическом справочнике?

Ответ на эти вопросы не так уж труден. Дело в том, что подобный ход рассуждений может возникнуть только тогда, когда мы начинаем задумываться над какими-то чуждыми, непривычными для нас языковыми нормами. Обычно же нас вполне удовлетворяет ответ, что так сказать можно или так сказать нельзя, если этот ответ исходит от того, чью речь мы считаем именно образцовой. Ведь владение языком — это, по существу, овладение им. Ребенок начинает усваивать язык, подражая речи взрослых, но этот процесс усвоения родного языка уже в более скрытой форме продолжается и в дальнейшем. На место старших по возрасту могут встать другие «языковые авторитеты», в соответствии с которыми мы и оцениваем речь окружающих. В самом языке как системе нет ничего, что противоречило бы «литературности» определенных форм слова или слов или правил словосочетания. Однако если эти формы и слова кажутся нам неприемлемыми, то потому, что источник их распространения «не авторитетен» для нас в языковом отношении.

Ореол языкового авторитета — вне школы и других форм лингвистического воспитания (а нередко и вопреки им) — для большинства говорящих окружает тех, кому они вообще стремятся подражать в чем-то. Он может принадлежать какой-то профессиональной среде с ее особыми традициями, сопутствовать моде и т. д. Ср. в рассказе А. Толстого «Как ни в чем не бывало»:

«Помните раз и навсегда — в морском деле не было и не существует слово «веревка». На корабле есть ванты, есть фалы, есть шкоты, есть канаты якорные и причальные. Самая обыкновенная веревочка на корабле называется конец.

Но если вы в открытом море скажете «веревка» — вас молча выбросят за борт, как безнадежно сухопутного человека».

Можно вспомнить в этой связи и сцену посещения Элизой Дулиттл светской гостиной миссис Хиггинс в «Пигмалионе» Б. Шоу. Гости, пораженные красотой и элегантностью Элизы, принимают вульгарные выражения за «новый стиль светского разговора». Любопытна реакция на этот «новый стиль» у представителей разных поколений: «Миссис Эйнсфорд Хилл (*пытаясь оправиться от потрясения*): Нет, я положительно не могу привыкнуть к этому новому стилю. Клара (*с недовольной гримасой бросаясь в елизаветинское кресло*): Ну, хорошо, мама, хорошо. Нельзя быть такой старомодной; люди подумают, что мы нигде не бываем и никого не видим». И дальше: «Клара: Это все дело привычки. Ничего тут нет ни хорошего, ни плохого. И ничего особенного это не значит. Просто это так необычно, что придает пикантность вещам, которые сами по себе ничуть не остроумны. Мне этот новый стиль очень нравится, и я в нем ничего такого не вижу» (Перевод Е. Д. Калашниковой, Б. Шоу, Избранное, М., 1953).

Понятно, что от непрерывности традиций часто зависит и устойчивость профессионального словаря, так же как капризами моды обусловливается непрестанная обновляемость соответствующего жаргона «модных молодых людей».

Перемещения в составе носителей литературного языка, отражающих речевые навыки и «языковые вкусы» различных социальных групп, обычно влекут за собой такие, часто мало заметные с первого взгляда, изменения в языке, которые могут привести в дальнейшем к значительному преобразованию различных его сторон. Яркий пример — Петровская эпоха. Общественные сдвиги, произошедшие в России в начале XVIII века, вызвали значительные изменения в средствах литературного языка, ориентирующегося в это время на те формы речи, которые вырабатывались с XVII века в деловой письменности и повествовательных жанрах, создаваемых средними слоями общества.

Наряду с семантическими сдвигами, вызванными изменениями в самих обозначаемых явлениях действитель-

ности, а также изменениями в составе носителей языка, можно обнаружить такие семантические сдвиги, которые с наибольшим основанием могут быть истолкованы как обусловленные собственно языковыми причинами. Понятно, что обозначение «собственно языковые причины» является в известной мере условным. Оно не предполагает каких-то процессов, которые происходили бы в языке как-то «сами по себе», — в нем следует видеть только признание того факта, что ряд явлений, наблюдаемых в языке, имеет своим источником условия функционирования определенных элементов самого языка с учетом его специфики как средства общения.

Отметив, что в определенные моменты новшества проникают в язык быстро, тогда как в других случаях язык может длительное время сохраняться в почти неизменном виде, А. Мейе писал: «Но во всех случаях налицо непрерывность: изменения, совершающиеся сами собою и не являющиеся результатом подражания чужеземному говору, происходят не от желания новизны; наоборот, они происходят, несмотря на усилия ребенка точно воспроизводить язык взрослых, и притом никогда не бывают ни настолько велики, ни настолько многочисленны, чтобы поколения, живущие одновременно, теряли ощущение того, что они говорят на одном языке.

С другой стороны, употребление языка необходимо приводит к его изменению. С каждым разом как употребляется какое-либо выражение, оно становится менее странным для слушателя, а для произносящего еще более легким для нового воспроизведения. Таков нормальный результат привычки. Выразительное значение слов вследствие употребления ослабляется, их сила уменьшается, и они стремятся образовывать группы. Чтобы поддержать выразительную силу, в которой чувствуется надобность, приходится подновлять выражения; именно поэтому имеют тенденцию выходить из употребления слова, выражающие превосходную степень, как *очень, весьма, чрезвычайно* и т. п., по мере того как их первоначальная сила уменьшается» [1].

---

[1] А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М. — Л., 1938, стр. 54.

Преимущественное употребление слова в каких-то устойчивых контекстах также может вести к постепенному смещению его первоначального значения. Например, слово *нюни* («губы; обвислые, слюнявые губы»[1]) (см. Даль, II, стр. 580), закрепившись в сочетании *распустить нюни* — «плакать, реветь» (ср.: «К а б а н о в а: Что ты сиротой-то прикидываешься! Что ты *нюни-то распустил*?» — А. О с т р о в с к и й, Гроза), приобрело в современном языке и само по себе значение «плакса» (см., например, «Словарь...» С. И. Ожегова). Аналогичными причинами вызвано изменение семантики и ряда других слов.

Наличие в языке слов, случайно совпавших или сближающихся по звучанию, иногда приводит к сдвигам в их значении, которые, таким образом, опять-таки должны быть отнесены за счет внутриязыковых причин. Действие последних следует усматривать и в ряде случаев синонимического притяжения, с одной стороны, и отталкивания, с другой.

Таким образом, в самом общем виде причины лексико-семантических изменений, происходящих в языке, могут быть определены следующим образом. Во-первых, изменения в словарном составе вызываются изменениями в реальной действительности, то есть изменениями предметов и явлений (также появлением или исчезновением их), для обозначения которых служат те или иные слова. Во-вторых, эти изменения обусловливаются изменениями, происходящими в составе носителей языка. В-третьих, источником лексико-семантических изменений могут явиться какие-то условия употребления самого языка, какие-то внутренние языковые причины. В отличие от лексико-семантических сдвигов третьего рода, то есть обусловленных собственно языковыми факторами, изменения двух первых типов могут быть охарактеризованы как такие, которые вызваны внеязыковыми факторами.

---

[1] Ср. в стихотворении Державина «Желание зимы»

На кабаке Борея
Эол ударил в *нюни*,
От вяхи той бледнея,
Бог хлада слякоть, слюни
Из глотки источил,
Всю землю замочил.

Конечно, и такое самое общее деление требует целого ряда оговорок. По существу, и «языковые» и «внеязыковые» факторы семантических сдвигов трудно представить себе в «чистом» виде. Действительно, те изменения значений слов, которые могут рассматриваться как результат развития самого языка (например, когда семантические изменения регулярны в языке или когда они явно зависят от устойчивого и преобладающего применения слова в определенных речевых контекстах и и т. д.), всегда связаны, естественно, с общественной потребностью, с речевыми вкусами носителей языка и т. д. Стилистическая окраска слова при его употреблении в новом значении, его стилистические возможности, его жизненность зависят от общественной значимости того явления, которое обозначается словом в его новом значении, от социальной среды, в которой возникло данное словоупотребление. В то же время и появление новых слов (в том числе и в результате так называемой семантической деривации, заимствования, калькирования и т. д.) для обозначения новых реалий, новых предметов и явлений действительности определяется, в конечном счете, словообразовательными и семантическими особенностями языка.

Из более частных причин, обусловливающих изменения значений слов, следует отметить явления так называемого табу, то есть запрета, налагаемого на определенные слова. Табу очень характерно для примитивного мышления. Некоторые названия животных, имена тех или иных лиц и т. д. не должны были произноситься (вообще или в каких-то ситуациях), так как слову придавалось магическое значение, слово сливалось в представлении первобытных людей с обозначаемым им предметом: знание имени человека дает власть над ним, произнесение названия животного способно вызвать его присутствие или гнев и т. д.[1]. Ср. табуирование на-

[1] Из многочисленных примеров табу можно отметить также хотя бы следующие, приводимые Р. А. Будаговым: «Согласно очень древним представлениям, человек, произнося свое имя, отделяет от себя частицу самого себя, поэтому, если он много раз повторит свое имя, он худеет... У самых разнообразных племен существует табу на имена умерших. У многих туземных народов людей называют такими конкретными именами, как *ягуар, петух, дорога, курица, огонь* и др. После смерти человека, которого звали, например,

именований нечистой силы, например слов *черт, леший* в крестьянском быту прошлого.

Однако табу отмечается не только у первобытных народов или как некоторый пережиток. С развитием цивилизации меняется его характер, но запрет на отдельные слова или группы слов существует и в современном цивилизованном обществе. Примеры такого запрета хорошо известны, и на них нет необходимости останавливаться. Нужно заметить только, что эвфимистические замены ряда нежелательных наименований в свою очередь обычно быстро становятся окрашенными теми же оттенками, которые заставляли избегать прежних названий данных предметов и явлений, а следовательно, и сами требуют новых замен. Таким образом, некоторые группы слов, независимо от их собственных первоначальных значений, постепенно передвигаются за пределы «литературного» употребления.

Иного рода табу связано с рядом слов, обозначающих общественно-политические явления. Примером наложения табу, декретированного «сверху», является указ Павла, изданный в 1797 году, согласно которому предписывалось изъять из употребления слово *общество;* вместо слова *граждане* употреблять слова *жители* или *обыватели,* вместо *отечество — государство* и т. п.[1].

Изменения значений слов, связанные с переносом наименования с одного явления на другое, должны быть охарактеризованы также и с точки зрения их предметно-семантической направленности. Здесь традиционно выделяются следующие типы изменений значений: 1) метафорические переносы наименований, 2) метонимические переносы наименований, 3) функциональные переносы наименований.

1. Метафорические переносы наименований. Наименование того или иного предмета или явления переносится на другой предмет или явление в силу их сходства, совпадения тех или иных признаков,

---

огонь или *петух*, слова эти делались запретными, а для огня и петуха подыскивались новые наименования» (Р. А. Будагов, Введение в науку о языке, Учпедгиз, 1958, стр. 93). Из специальных исследований о табу можно указать работу R. F. Mansur Guérios, Tabus Lingüísticos, Rio de Janeiro, 1956.

[1] См. В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., Учпедгиз, М., 1938, стр. 193.

которые в данный момент расцениваются как существенные.

При метафоре один предмет (явление) уподобляется другому, причем «образность» такого метафорического наименования в разных случаях оказывается различной. Не говоря уже о том, что в речи постоянно возникают индивидуальные метафоры (ср. их роль в художественной литературе), и собственно «языковые метафоры» разнятся по степени закрепленности за ними соответствующих переносных значений. Ср., например, *подкапываться* (под кого-нибудь), *копаться* (в чем-нибудь) и *окопаться* (где-нибудь, в значении «найти пристанище»; например: «Тут работы — мама ро́дная! — громко сказал парень... Не может быть, чтобы я здесь не *окопался*» — В л а д и м о в, Большая руда) с гораздо более заметной «образностью».

Ощутимость последней зависит и от устойчивости (и частотности) данного метафорического словоупотребления, и от того, насколько употребительно слово в своем «первичном» значении. Ср. развитие переносных (основанных на метафоре) значений у таких слов, как *волынка* («Она быстро пошла по коридору, собираясь сейчас же рассказать и о Мите, и о его матери, и о *волынке* отдела снабжения с изготовлением плакатов, и о своем тяжелом положении на строительстве» — С. А н т о н о в, Первая должность), *очаг, трущоба, распоясаться, состряпать* и др. под., малоупотребительных в настоящее время в их «первичных» значениях, — и у таких, как *молния* («На нем была рыжая вельветовая куртка на *«молниях»...»* — В л а д и м о в, Большая руда; ср.: *телеграмма-молния, стенгазета-молния), баня* («Ну, быть *бане!»* — подумал я. По всем признакам, прокурор решил упечь меня» — Ч е х о в, Ночь перед судом), *улетучиться* («Мрачнее ночи она посмотрела на мужчин, и Петр Горбидоныч незамедлительно *улетучился* восвояси...» — Л. Л е о н о в, Вор), *хвост* («Кроме того, у меня были *хвосты* по географии и по математике» — Г а й д а р, Судьба барабанщика), *зеленый* («Уже много лет в бригаду Федора Федоровича начальство посылало *зеленых* ребят и девчат — бывших разнорабочих...» — С. А н т о н о в, Беккеровский рояль), *гнездо* («пулеметное *гнездо»*), *сливки* («*сливки* общества»), *окно* (в болоте; в расписании), *ширма, котел, платформа, водо-*

раздел (ср. «провести *водораздел*»,) *отгородиться*, жаргонное *вкалывать* («— Ну, ты там *вкалываешь*, в вечернюю школу ходишь... На черта тебе это надо?» — Дубов, Жесткая проба), *туман, вода, докатиться* и мн. под., у которых переносные значения явно не приобрели главенствующего положения в их семантической структуре.

Как показывают наблюдения ряда исследователей, обращавшихся к различным языкам, метафорические переносы наименований наиболее интенсивно затрагивают те группы лексики, которые связаны с наиболее насущными в данный период жизни общества явлениями.

Показательна, например, активизация военной лексики в переносном употреблении после гражданской, а затем Великой Отечественной войны; например, *техническое перевооружение; фронт строительных работ; взять рубежи; мобилизовать резервы; на позициях борьбы за мир; энерговооруженность; рейды писательских бригад; рабочая гвардия; заводские ветераны; торпедировать переговоры* и т. п.

С другой стороны, происходит вовлечение лексики других семантических пластов для метафорического обозначения тех предметов и явлений, которые связаны с важными для жизни общества (или отдельных его групп) событиями. Например, в годы Великой Отечественной войны окружение противника называлось *котлом, мешком, клещами, кольцом, подковой, обручем, крысоловкой, мышеловкой,* осветительные авиабомбы и ракеты — *фонарями, люстрами, лампадами* и т. п. [1].

Можно отметить экспансию спортивной терминологии в наши дни, связанную с возросшей ролью спорта в жизни общества; ср. переносное употребление таких слов и выражений, как *старт, передать эстафету, положение вне игры, с ничейным счетом, вырваться на первое место,* шахматные *цейтнот, ход конем* и т. п.

2. Метонимические переносы наименований. Наименование того или иного предмета или

---

[1] А. Н. Кожин, Русский язык в дни Великой Отечественной войны, «Ученые записки Московского областного педагогического института», т. 109, Труды кафедры русского языка, вып. 7, 1961, стр. 640.

явления переносится на другой предмет или явление в результате ассоциации по смежности (временной или пространственной). Из разнообразных видов метонимических перенесений названий можно отметить обозначение предмета по материалу, из которого он сделан; например, слово *фарфор* определяется в словарях как имеющее два значения — во-первых, «минеральная масса из лучших сортов белой глины» и, во-вторых, «изделия, посуда из такой массы»; в семантике слова *шерсть* отражен следующий ряд метонимических переносов: «густой волосяной покров тела млекопитающих», «такой волос, состриженный с животных», «пряжа из таких волос», «ткань из такой пряжи» (см. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова); *бумага* может значить также «документ»; слово *резина* приобрело в наше время у автомобилистов также значение «шины» и т. д.[1]. К метонимическим перенесениям названий относятся также: обозначение предмета по его части — например, у слова *голова* выделяется в словарях значение «единица счета скота», слово *лицо* значит «человек, индивидуум» (ср. *заинтересованное лицо* и т. п.), слово *лето* во множественном числе сохраняет значение «год», которое было свойственно ему в древнерусском, наряду со значением «лето» (ср. *сколько лет, человек в летах* и т. п.); обозначение совокупности различных предметов названием одного из них, представляемого наиболее существенным, — например, среди значений слова *хлеб* отмечается такое: «средства к существованию, заработок» (ср. *добывать хлеб, отнять хлеб* у кого-нибудь и т. п.); обозначение человека по свойствам, которыми он обладает (*талант*; *бас, тенор* и т. п.), и т. д.

К метонимическим перенесениям наименований примыкают такие случаи, как приобретение словом *дом* значения «семья; люди, живущие в одном доме», словом *деревня* значения «люди, живущие в одной деревне;

---

[1] Ср. также значение «потроха» у слова *гусь (гусак)*, зарегистрированное в говорах. «Применение (областное) слова *гусь* в смысле «потроха», «внутренности» не удивительно, вследствие распространенности известной похлебки из гусиных потрохов.

Отсюда *гусь, гусак* в значении «потроха (вообще)», часто: *коровий гусь, олений гусак* и т. п.» (А. И. Попов, Из истории лексики языков Восточной Европы, изд. ЛГУ, 1957, стр. 85).

сельское население» и т. п. Нужно, однако, отметить, что, как далеко не всякое метафорическое употребление слова свидетельствует о приобретении словом соответствующего метафорического значения, так и применение слова на основе «ассоциации по смежности» не всегда может быть расценено как появление у слова нового значения. Так, обозначение совокупности людей словом, обозначающим место, где они живут, работают и т. д., в большей части других случаев не является результатом того, что данное слово получило соответствующее значение; например, во фразе «Кулика этого знает уже весь берег...» (Казаков, Тропики на печке) существительное *берег* возможно не потому, что оно имеет значение «люди, живущие на берегу», а потому, что в языке существует закономерность, согласно которой многие названия местностей, помещений, учреждений и т. д. могут быть использованы также для обозначения находящихся там людей (ср. «весь *дом отдыха* заинтересовался этим», «*зал* аплодировал» и т. п.).

То же самое относится и к ряду других метонимических по своему характеру обозначений. Так, по аналогии с существительными, имеющими количественно-временно́е значение, в таких же контекстах и с таким же назначением могут употребляться и некоторые другие существительные, приобретающие в данном случае (именно контекстно) функцию обозначения времени: «На Чернове была розовая рубаха, — он весь *поход* играл на балалайке, плясал, пил водку и угащивал товарищей» (Л. Толстой, Дяденька Жданов и кавалер Чернов); «...человек этот, не упускавший случая задеть любого сослуживца коготком критики, целых *три остановки*, хотя давно ему следовало вылезать, расспрашивал Петра Горбидоныча о делах, здоровье, предстоящей женитьбе...» (Л. Леонов, Вор); «Всю *дорогу* она злобно сжимала кулаки под платком» (Тендряков, Не ко двору) и т. п. Совершенно ясно, что слово *поход* не имеет особого значения «время похода», *остановка* — значения «время движения от одной остановки до другой», *дорога* — значения «время нахождения в пути». Однако, как и целый ряд других имен существительных, они подчиняются общей закономерности, согласно которой существительные с предметным значением в определенных контекстах используются в количественно-

временно́м значении. Дело, таким образом, не в том, что каждое из них в отдельности приобрело соответствующее значение (этого не происходит в действительности), а в том, что существует общая возможность такого метонимического их применения. Ср. также: «Они не виделись *с Москвы*» (Тургенев, Дворянское гнездо); «— Да, это *с тюрьмы* у меня...» (Л. Леонов, Вор); «— Я была в деревне. Только вчера приехала. Но вас я давно знаю, еще *до деревни*» (А. Куприн, Жанета); «*После вкусной ухи и водки* глаза Якова осовели» (Горький, Мальва); «На балконе они просидели почти *до заката*. Мама *после чая* продолжала вязать и говорить о соседях, о хозяйстве, об Ане и Косте...» (Бунин, Митина любовь) и т. п.

Не приобретением словами новых специальных значений, а подчинением их общей метонимической модели нужно объяснять и такое употребление существительных, обозначающих сосуды, разные виды посуды и т. п., как *выпил два стакана*, *пролил все ведро* и т. п. (в отличие от «собственного» значения слова *блюдо*), так же как употребление, например, имен авторов художественных произведений вместо обозначения самих этих произведений, например, «прочел всего *Пушкина*» (то есть все сочинения Пушкина), «смотрел *Серова*» (то есть картины, рисунки Серова), «слушал *Бетховена*» (то есть произведения Бетховена) и т. п.; ср. «— Принесли моего *Гольденвейзера*? — Нет, я его не прочла» (Гладилин, Дым в глаза).

Нетрудно заметить, что возможность подобного употребления имен собственных обусловлена не тем, что они приобретают какие-то новые значения, но тем, что языку вообще присущи подобные виды метонимических сокращений. Поэтому не кажется оправданным помещение таких словосочетаний, как «читать Пушкина», под заголовком «Метонимические изменения значений» среди исторически закрепившихся изменений в книге Л. А. Булаховского «Введение в языкознание» [1]. Ведь очевидно, что Пушкин не «изменяет» здесь своего «значения»; можно читать любого писателя — и прославленного и только что написавшего что-либо; подобное упо-

[1] Л. А. Булаховский, Введение в языкознание, ч. II, Учпедгиз, М., 1953, стр. 65.

требление имен собственных — явление не словарное, а стилистическое и семантико-синтаксическое.

Точно так же нельзя согласиться с тем, что к «метонимическим изменениям значений» относятся такие случаи, как приводимые в том же разделе Л. А. Булаховским в качестве примеров синекдохи «И слышно было до рассвета, как ликовал француз» («смысл — французы» — указывает Л. А. Булаховский) [1] или «— Это верно, что дорого, — вздыхают рыжие панталоны» и т. д. (из рассказа Чехова «Лишние люди») [2].

Употребление единственного числа вместо множественного — явление опять-таки не лексико-семантическое, а семантико-синтаксическое (и стилистическое); совершенно ясно, что метонимия *француз* вместо *французы* основана на грамматической характеристике существующего в языке общего соотношения единственного и множественного числа (как немаркированной и маркированной категорий), а не на «изменении» лексического значения слова. Ср.: «научно-исследовательский институт игрушки», «выставка французской книги» и т. п. Ср. также такие реплики персонажей в рассказе Чехова «В бане»: «— ...Пущай меня бог простит за осуждения мои, но *невеста* нынче пошла все непутящая, несмысленая...»; «— ...*Жених* нынче лютый, — с ним и обходиться нужно сообразно»; «—*Мужчина* нынче балованный, глупый, вольнодумствующий».

Использование словосочетания *рыжие панталоны* для обозначения их владельца, разумеется, также не связано с «изменением» собственного лексического значения этого словосочетания. Метонимическое перенесение названия осуществляется здесь в соответствии с общей семантической моделью. Ср.: «— Слушай команду, проходи, — скомандовал *вицмундир*. — Ты бы сам-то проходил, — заметила *фризовая шинель*, — стыдился бы» (И. Горбунов, Из московского захолустья); «В толпе снуют *чуйки* с петухами и утками под мышкой» (Чехов, В Москве на Трубной площади); «Вечер. По улице идет пестрая толпа, состоящая из пьяных *тулупов* и *кацавеек*» (Чехов, Ряженые); «Прошли

[1] Л. А. Булаховский, Введение в языкознание, ч. II, Учпедгиз, М., 1953, стр. 66.

[2] Там же, стр. 67.

гуськом последние посетители дворца-музея — *полушубки, чуйки, ватные куртки*» (А. Толстой, Гобелен Марии-Антуанетты); «Больше всех скандалит *выцветшее пальто с собачьим воротником*. Сама втерлась, а других не пускает» (А. Гладилин, Дым в глаза) и под. Трудно усомниться в том, что слова *вицмундир, шинель, чуйки, тулупы* и т. д. не изменили здесь своих значений и не приобрели новых значений. Употребление их для обозначения лиц (соответственно одетых) воспринимается как специальный стилистический прием, выразительность которого основана именно на контекстном смещении их функции. Ср.: «— Экий ты бестолковый, братец! — укоризненно сказала *телефонная трубка*» (В. Козлов, Фельетон «Безумный день»); понятно, что словосочетание *телефонная трубка* не имеет в языке значения «человек, говорящий по телефону», — его применение в этом значении контекстно обусловлено.

Из многочисленных видов контекстно обусловленных метонимических замен, опирающихся на определенную более или менее устойчивую семантическую «модель», можно упомянуть еще хотя бы о таких, как «*на ученом совете* обсуждался этот вопрос» (то есть «на заседании ученого совета»), «*на дирекции* было принято соответствующее решение» (то есть «на заседании дирекции»); ср.: «*На активе* театральных работников шел страстный разговор о роли театра в коммунистическом воспитании» (Из газет) и т. п. Или таких, как: «— Что, *прошло* у вас *горло*?» (Чехов, Иван Матвеич); ср.: «Варенька встретила его любопытным взглядом и ласковым вопросом: — *Прошла головка*?» (Горький, Варенька Олесова); «Поездка удалась, как он и не думал; *сердце* у Раисы *прошло*, она была даже приветлива...» (А. Толстой, Приключения Растегина); «— Ладно, — Попов взял спички. — А ты молока попей, *помогает от живота*...» (Ю. Казаков, Кабиасы) и т. п.

Иное дело, когда слово само по себе приобрело или приобретает соответствующее значение, которое, так сказать, лексически закрепляется за ним, что происходит, например, с существительным *нерв* в форме множественного числа: «— ...Что вам за удовольствие доставляет пугать меня? Я не виноват, что у меня *нервы*» (Куприн, Мелюзга); «— ...Все выродилось на свете.

Дети рождаются идиотами, женщины сделались кривобокими, у мужчин *нервы*» (Куприн, Поединок) и т. п.

Хотя выше были отмечены далеко не все виды «метонимических изменений», под эту рубрику попадают, как легко заметить, настолько разнообразные факты, что определение семантического сдвига как «метонимического», по сути дела, еще мало что говорит о его характере. Этот тип перенесения наименований объединяет в себе целый ряд более или менее самостоятельных и подводимых под отдельные «формулы» подтипов (то есть «целое — часть», «материал — предмет из данного материала» и т. д.; ср. также перенесение названий из одной области чувственных восприятий в другие, перенесение названий по типу «действие — результат», «имя собственное — нарицательное» и др.). Все эти виды переносов противостоят, однако, метафорическим именно своей большой «организованностью» и «продуктивностью» соответствующих моделей. Кроме того, метонимические сдвиги во многих случаях связаны с сокращением словосочетаний (*изделия из стекла — стекло* и т. п.), то есть внешне подобны таким фактам изменения значений, которые обусловлены контекстными связями слов.

3. Функциональные переносы наименований. Наименование того или иного предмета (явления) переносится на другой предмет в результате общности их функции.

Например, существительное *лесá* («сооружение, используемое при возведении стен дома или их окраске» и т. д.) может относиться не только к деревянным лесам, но и к появившимся в настоящее время лесам из металлических стержней, поскольку их назначение осталось тем же.

С появлением электрического освещения фонари и лампы не зажигаются и не горят так, как зажигались и горели керосиновые фонари и лампы, но назначение — давать свет — осталось у изменившихся фонарей и ламп неизменным, и, благодаря тождеству функции, слова *зажигаться, гореть* продолжали применяться к уже новым осветительным приборам, получив в результате новые значения. Например, у слова *гореть* выделено в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова такое отдельное значение: «действовать, быть в исправности (о том, что

дает свет). *Все лампочки горят*». Ср. *горит лучина, свеча* и т. п. с реализацией «первичного» значения этого глагола.

Игральные *кости* не непременно должны быть костяными. Обозначение шахматных фигур *ладья* и *слон* в настоящее время не оправдано их формой, но самые названия не изменились, так как не изменилась значимость и функция этих фигур в шахматной игре.

Горка — название стеклянного шкафа для посуды, никак не связанное с пирамидальной формой, обусловившей первоначально возникновение самого слова.

Существительное *лавка* осталось в языке свидетельством одной из первоначальных форм торговли, с видоизменением которой сформировалось новое значение слова — «небольшое торговое помещение», при этом *лавка* «скамья» и *лавка* «торговое помещение»[1] стали словами-омонимами. Формирование нового значения намечается, благодаря употреблению слова в соответствующих контекстах.

Вот несколько примеров употребления слова *лавка* из деловых документов начала XVII в.: «...и въ городе жъ и на посаде анбары, и *лавки*, и шалаши, и полки, и столы, и скамьи, и харчевные избы... дозрить и описать...»; «...переписати имъ *лавки*, и онбары, и скамьи, и шелаши, и харчевные избы, и кузницы, и бани, и сады, и тѣхъ людей, хто ими владѣетъ...»; «...въ Зарасскомъ на посаде писали *лавки*, и онбары, и скамьи, и шелаши, и харчевные избы, и кузницы, и сады...» и т. п.

Уже в древнерусском языке слово *мешок* (происходит от слова *мех*) было перенесено на мешки не из меха, а сшитые из ткани. Названия *рог* (например, *охотничий рог*), *рожок* (*пастуший рожок, английский рожок*) были перенесены на музыкальные инструменты, сделанные из других материалов.

Сходством функции обусловлен сравнительно недавний перенос слова *дворник* на автомобильный стеклоочиститель (в речи автомобилистов).

Нужно заметить, что функциональный момент является не только фактором изменения значений слов,

[1] Движение к этому значению, по-видимому, можно понять хотя бы из того краткого толкования, которое дается ему в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля: «Отделенье в рядах, вообще помещенье для продажи товаров».

но и в неменьшей мере фактором относительной устойчивости значительных пластов словарного состава языка. Изменение формы и внутреннего устройства ряда предметов, характера отдельных действий и т. д. далеко не всегда ведет к перемене названия, если их назначение остается прежним. Например, слова *станок, завод, улица, мост, люстра* и мн. др., конечно, обозначают в наши дни предметы, мало похожие на те, которые они обозначали первоначально. Однако изменение предметов не привело в данном случае к замене самих названий, так как не изменилась их общая функция. Изменения в способах осуществления таких действий, как *косить, сеять, строить, ездить* и т. п., не вызвало изменения названий, поскольку общность функции оказалась элементом, цементирующим семантическое тождество слова.

Таковы основные типы семантических изменений. Конечно, устанавливая их, нельзя забывать о том, что факторы, влияющие на семантические передвижения и изменения, сложны и многообразны. Не всегда можно с полной уверенностью установить роль каждого из них в отдельности в этих изменениях. Самый характер лексико-семантических переносов только с известной долей условности может быть описан в указанных выше терминах (метафорических, метонимических и функциональных изменений).

В ряде случаев на семантическом движении слова попеременно сказываются разные ассоциации — по сходству, по смежности и по функции. Например, возникновение у слова *узел* значения «завернутые в кусок ткани вещи»[1] легко объяснить метонимией, то есть ассоциацией по смежности, — вещи, завернутые в кусок ткани, завязывались узлом, и весь предмет получил то же наименование. В дальнейшей судьбе слова решающим оказался не способ «крепления» предмета (можно *зашить узел с вещами, стянуть узел ремнями* и т. п.), а его назначение, а также и общий вид упаковки (перенесение наименования в силу тождества функции и внешнего сходства). Различного рода ассоциации могут и одновременно влиять на развитие значений слов. Так,

[1] Значение это возникло еще в древнерусском языке. В рукописи XIV в.: «...и заутра въставъ мужь онъ и видѣ *узолъ* лежащь злата»; в документе 1694 г.: «...тотъ ихъ товаръ... въ четырехъ *узлахъ* да въ дву коробкахъ, въ дву мешкахъ...» и т. д.

ножки стола, кровати и т. п. не только внешне напоминают *ножки*, например, животных, но имеют и определенное функциональное сходство (стол, кровать, *стоят* на них). *Седло* велосипеда, мотоцикла имеет некоторое внешнее сходство с *седлом* на лошади и аналогичное назначение. *Ковш* экскаватора *черпает* землю и т. д., так же как *ковш* «сосуд» — воду, и в то же время несколько похож на него по форме и т. д.

Вместе с тем необходимо отметить, что семантическое развитие слова тесно связано с теми обычными контекстами, в которых наиболее часто и устойчиво употребляется данное слово. В формах лексической (и в определенных случаях — синтаксической) сочетаемости слов не только фиксируются сдвиги в их значениях, — нередко в той или иной мере устойчивое употребление слова сказывается и на его собственной семантике, переосмысляемой на фоне общего значения устойчивого словосочетания. К этому вопросу нам еще придется вернуться.

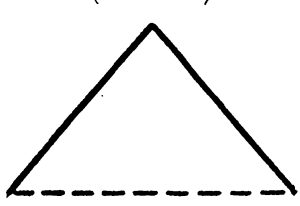
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА

Вопрос о природе значения в языке достаточно сложен. Самый термин «значение» многозначен в лингвистике. Неодинаково понимается разными исследователями и отношение значения к понятию, отношение значения к предмету. «Соотносится ли слово непосредственно с предметом или это отношение опосредствовано понятием? Является ли значение слова понятием или оно образует особую форму обобщенного отражения действительности? Не есть ли значение слова обозначенный им предмет или отношение звукового комплекса к предмету? Или, быть может, значение есть отношение слова к понятию и другим элементам сознания? — Вот тот круг вопросов, которые дискутируются и по которым должно быть достигнуто единое мнение», — отмечалось в одном из докладов на недавно проведенном в Московском университете симпозиуме по проблеме значения в лингвистике и логике [1].

Приходится признать, что пока еще исследователи далеки от «достижения единого мнения» по этим вопросам. Значение слова трактуется и как особая языковая форма отражения действительности, и как отношение между звуковым комплексом и понятием, и как отнесенность звукового комплекса к явлениям действительности; значение приравнивается к понятию или же рассматривается как определенное видоизменение понятия в соответствии с характером языкового знака и т. д., не говоря уже о том, что в современной неопозитивистской философии оно определяется и с точки зрения «взаимозаменяемости выражений», и с точки зрения «реакции субъекта на знак» и т. д.

[1] В. И. Мальцев, Значение и понятие, — «Проблема значения в лингвистике и логике (Тезисы)», изд. МГУ, 1963, стр. 3.

В зарубежной семасиологии распространено понимание значения в соответствии с так называемым «треугольником» Огдена и Ричардса[1], который следующим образом выражает значение «значения»:



Собственно лингвистическим признается отношение, выраженное в левой стороне треугольника.

С различными вариациями такое понимание «значения» в языке принимается многими лингвистами: значение рассматривается как отношение между наименованием и понятием (или менее определенно — смыслом); отношение наименования к предмету действительности признается, таким образом, опосредствованным через понятие.

Нужно заметить, что истолкование значения как отношения (между звуковым комплексом, или наименованием, и понятием, или вообще «смыслом») само по себе мало помогает его определению. Во-первых, остается неясным, находится ли это «отношение» внутри самого слова, то есть рассматриваются ли и звучание, и смысл как элементы слова, или же слово приравнивается только к «звуковому комплексу», который каким-то образом соотнесен с существующим вне слова «смыслом». Во-вторых, довольно завуалированным становится и значение самого термина «отношение», поскольку и связь между звуковым комплексом и смыслом, с одной стороны, и соотнесенность смысла с «предметом», с другой — расцениваются как «отношение».

Следует далее отметить, что как бы ни трактовать «значение» слова, его определение не может быть «чи-

[1] C. K. Ogden, I. A. Richards, The Meaning of Meaning, изд. 4, London, 1936, стр. 11; ср. S. Ullmann, The Principles of Semantics, изд. 2, Glasgow — Oxford, 1957, стр. 72; P. Guiraud, La sémantique, Paris, 1957, стр. 22 и сл.

сто внутриязыковым», хотя стремление к такому определению встречается в ряде исследований.

Так, по мнению В. А. Звегинцева, распространенные определения значения слова неудовлетворительны тем, что в них «значение слова выносится за пределы языка, превращается во внеязыковой факт и поэтому, естественно, устанавливается нелингвистическими методами и терминами» [1]. «В плане чисто лингвистическом, — продолжает В. А. Звегинцев, — значение слова определяется его потенциально возможными сочетаниями с другими словами, которые составляют так называемую лексическую валентность слова. Совокупность таких возможных сочетаний слова фактически и обусловливает существование лексического значения как о б ъ е к т и в н о с у щ е с т в у ю щ е г о явления или факта системы языка» [2].

Такое определение очень удачно вскрывает зависимость, существующую между значением слова и возможностями его связей с другими словами. Однако самый характер данной зависимости определяется при этом явно односторонне. Согласно В. А. Звегинцеву, сочетаемость слова обусловливает существование его лексического значения. Остается неясным: чем обусловлена самая возможность сочетания слова с другими словами? Слова объединяются как значащие единицы, то есть в зависимости от непосредственно присущего словам значения. Если это определяющее самую возможность сочетаний слова «значение» признать нелингвистическим, а лингвистическим «значением» считать уже только результат проявления этого значения в языке, то есть «совокупность возможных сочетаний», то проблема значения слова в общем-то остается никак не разрешенной. В самом деле, признав, что нелингвистическое значение слова определяет его сочетаемость, а сочетаемость, в свою очередь, выступает показателем его лингвистического «значения», мы оказываемся перед необходимостью: либо как-то соотнести второе значение (лингвистическое) с первым (нелингвистическим), либо, отказавшись в семасиологическом исследовании от рассмот-

---

[1] В. А. З в е г и н ц е в, Семасиология, изд. МГУ, 1957, стр. 122—123.

[2] Т а м ж е, стр. 123.

рения первого значения, вместе с тем отказаться и от определения значений конкретных слов, заменив его показом их «возможных сочетаний» с другими словами. Ведь и то, что В. А. Звегинцев называет наиболее объективным определением значения слов («при определении значений слов мертвых, древних языков» «собирают возможно большее количество контекстов, в которых выступает соответствующее слово. На основе всей совокупности собранных контекстов и определяется значение или «значения» данного слова» [1]), невозможно без соотнесения определяемого слова с какой-то внеязыковой «реалией»; если такое соотнесение оказывается невозможным, никакие контексты употребления слова не будут достаточными для его понимания. Собственно и «перевод» слов в двуязычных словарях возможен только потому, что сопоставляются обозначаемые словами «реалии», а не самые слова в различных сочетаниях. Как раз контексты употребления слов в разных языках редко совпадают. Это несовпадение, конечно, свидетельствует о каких-то различиях в их значениях. Но оно не только свидетельствует о них, оно и определяется этими различиями, то есть, иначе говоря, является производным по отношению к «реальным» значениям слов.

Если, например, русское существительное *часы* заменяется при переводе на французский или существительным *horloge*, или существительным *pendule*, или существительным *montre* — в зависимости от того, какие это «часы» — башенные, стенные (также настольные) или же наручные (также карманные), то это происходит, конечно, не потому, что устанавливается какое-то соответствие, например, между контекстами употребления французского слова *montre* и русского словосочетания *наручные часы* (в обычных условиях речевого общения и не встречающегося) и т. д., а потому, что устанавливается определенное соответствие между самими классами предметов, отраженными соответствующими значениями слов, потому что в данном контексте со значением «часы» связывается тот круг предметов, который отображен в значении французского *montre*.

Сочетаемость — важнейший собственно языковой показатель значения слова, но именно показатель значе-

---

[1] В. А. Звегинцев, Семасиология, изд. МГУ, 1957, стр. 124.

ния, а не само значение. Пытаясь при определении лексического значения остаться в рамках «чисто лингвистических» категорий, мы, по существу, очутились бы перед уравнением «со всеми неизвестными», так как, определяя значение одного слова из его возможных сочетаний с другими словами, мы и значения этих других слов должны бы были определить их возможными сочетаниями с еще какими-то словами и т. д., то есть определять одни величины другими еще не определенными величинами. Можно предположить, что такая подача семасиологического материала — в виде «уравнения со всеми неизвестными» — теоретически могла бы быть осуществлена при условии построения рациональных правил, позволяющих учитывать сочетаемость слов. Однако вряд ли подобное исследование разрешило бы основные проблемы, стоящие перед семасиологией. Значение слова, понимаемое как отражение внеязыковой действительности, — это в то же время и языковая реальность, это факт языка, хотя и обусловленный внеязыковыми факторами.

Вполне обоснованной представляется точка зрения А. И. Смирницкого, писавшего, что «значение слова есть известное отображение предмета, явления или отношения в сознании (или аналогичное по своему характеру психическое образование, конструированное из отображений отдельных элементов действительности), входящее в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны, по отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, необходимая не только для выражения значения и для сообщения его другим людям, но и для самого его возникновения, формирования, существования и развития» [1].

Нужно заметить, что признание отраженного характера значения слова само по себе еще не ведет к его единообразному пониманию. В то время как А. И. Смирницкий имеет в виду отображение предмета, другие исследователи приравнивают значение к отображению какого-либо свойства предмета. Например, И. Котяну утверждает, что «значение должно быть опреде-

[1] А. И. Смирницкий, Значение слова, «Вопросы языкознания», 1955, № 2, стр. 89.

лено как результат отражения в слове какого-то свойства предмета»[1], причем считает, что «определяющим моментом в наименовании предмета являются его основные существенные свойства»[2].

Не говоря уж о том, что не кажется обоснованным положение об отражении «основного» свойства предмета в наименовании при возникновении этого наименования (ср. хотя бы появление в языке многочисленных наименований, никак не мотивированных для большинства говорящих, вроде *радио, метро, нейлон, лавсан* и т. п.), вызывает сомнение и то, что значение — результат отражения какого-то одного свойства предмета. Ведь тогда многие не только синонимические, но и «тематически» сближаемые слова имели бы вообще одно и то же значение.

Этимологическая (словообразовательная) форма слова никогда не определяет полностью его лексическое значение. «Отношение между выдвинутым при назывании признаком и действительным значением слова, — отмечал Л. А. Булаховский, — не обеспечивает достаточной точности понимания: образ и значение между собой связаны только до некоторой степени; образ и словообразовательные значения являются лишь «наметкой» возможного содержания слова. Что слово значит на самом деле — определяет его история, закрепившееся в языке фактическое употребление»[3]. Следует поддержать решительную формулировку М. В. Панова: «идиоматичность слова — закон, а неидиоматичность — отступление. Но в таком случае эта неидиоматичность сама идиоматична»[4]. Несмотря на кажущуюся парадоксальность последней части этого утверждения, в нем совершенно точно отражено действительное положение вещей. Ведь если только в некоторых случаях реальное значение слова целиком выводится из значения его компонентов, то сама эта «выводимость» точно так же не

---

[1] И. Котяну, К вопросу о систематическом характере семасиологии, — «Revue de Linguistique», t. V, 1960, № 1, стр. 13.

[2] Там же, стр. 12.

[3] Л. А. Булаховский, Введение в языкознание, ч. II, Учпедгиз, М., 1953, стр. 14.

[4] М. В. Панов, О слове как единице языка, «Ученые записки Московского государственного педагогического института им. Потемкина», т. 51, 1956, стр. 151.

www.ruslang.ru

может быть предусмотрена, как и «невыводимость», идиоматичность.

Очевидно, что в значении слова сосредоточены какие-то ряды признаков, характеризующих отраженные в сознании классы предметов и явлений и позволяющих отождествлять и различать их. «Этимологическая форма» слова часто не остается безразличной для его осмысления, однако вряд ли она может быть признана основным из языковых факторов, участвующих в формировании семантической структуры слова.

Отраженная в значениях слов действительность по-разному членится этими значениями в разных языках. Самые значения слов существуют не изолированно друг от друга и от других сторон языковой системы. Важным в связи с этим является положение о соотношении лексического строя с грамматическими и словообразовательными категориями, правилами сочетания слов и т. д., которые «не могут не формировать и не укреплять внутреннюю спаянности, соотносительности и взаимопригнанности» всех элементов лексики [1]. «Смысловые контуры слова, — отмечает В. В. Виноградов, — внутренняя связь его значений, его смысловой объем определяется грамматическим строем языка... Различия в синтаксических свойствах слова, в особенностях его фразового употребления находятся в живой связи с различиями значений слов» [2].

Таким образом, значение слова выступает как диалектическое единство языкового и внеязыкового содержания. Будучи прикреплено к определенному звуковому комплексу, оно вместе с ним образует слово, являющееся единицей языка и в качестве таковой связанное фонетически, грамматически и семантически с другими словами. Будучи отображением каких-то явлений внеязыковой действительности (в том числе, конечно, и психической жизни человека), оно включает в себя понятие об этих явлениях, которое и представляет собой его внутренний стержень.

Разграничение языковых и внеязыковых факторов, организующих значение слова, естественно, необходимо

[1] В. В. Виноградов, О некоторых вопросах русской исторической лексикологии, «Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», 1953, вып. 3, стр. 180.

[2] В. В. Виноградов, Русский язык, Учпедгиз, 1947, стр. 16.

в семасиологическом исследовании. Но это разграничение никак не означает, что внеязыковые факторы должны быть тотчас исключены из исследования. Ведь сущность всякого знака в том и состоит, что он сигнализирует о чем-то, находящемся вне самой системы знаков, в которую он входит. Именно этим, прежде всего, и определяется его значение.

Выяснение природы лексических значений осложняется тем, что слова служат не только знаками каких-то внеязыковых явлений и предметов, но и средством формирования понятий, то есть категорий мышления. Вопрос о том, у всякого ли слова в основе его лексического значения лежит понятие, входит ли вообще понятие в значение слова, как отмечалось выше, остается до сих пор предметом разногласий. Поскольку в настоящем очерке нет возможности коснуться всех хотя бы основных аспектов этого вопроса, ограничимся изложением самых общих тезисов, оставляемых без доказательства.

Значение каждого знаменательного слова, будь то термин науки, обозначение бытового предмета, слово-миф (*леший, кентавр* и т. п.), включает в себя понятие, основанное на отвлечении каких-то признаков обозначаемых предметов и явлений. Эти признаки являются общими, в том смысле, что они позволяют объединять различные единичные предметы или явления в классы. Они являются существенными в том смысле, что достаточны для отличения данного понятия от других понятий. В то же время в языке существуют слова, значение которых состоит в нерасчлененном выражении эмоций. Это — междометия и разного рода междометные выражения. Данные слова составляют исключение из общего правила. Значение служебных слов (частиц, союзов, предлогов) не может рассматриваться как собственно лексическое. Положение, что в основе лексического значения каждого знаменательного слова — отображение какого-то отрезка внеязыковой действительности, представленное в виде соответствующего понятия, кажется приемлемым потому, что оно учитывает и взаимосвязь языка и мышления, и их специфику. Возражения против этого положения продиктованы, в частности, следующими соображениями. В понятиях отражены общие и существенные признаки предметов и явлений действительности, в значениях же слов могут фиксиро-

ваться только их отличительные признаки; научное понятие, выраженное тем или иным словом, часто отличается от общераспространенного значения этого слова. Однако если признать, что мышление может быть не только научным, но нередко и весьма далеким от «научности» (и даже от здравого смысла), всякая же мысль представляет собой объединение каких-то понятий, то придется признать и то, что свойство понятия отражать наиболее общие и существенные признаки предметов и явлений реализуется не во всяком акте мышления. С другой стороны, как справедливо замечает Л. С. Ковтун, «вызывает возражение противопоставление научного понятия значению слова вместо необходимого противоположения научного понятия понятию общенародному или бытовому, обиходному... При таком противоположении стало бы ясным, что значение слова может выражать и научное понятие — тогда оно будет терминологическим, и бытовое или общенародное — тогда оно будет обычным значением общенародного языка. Понятие, выражаемое значением слова, не всегда является научным, однако всякое научное понятие, раз оно существует, выражается словом или сочетанием слов, употребляемых на правах термина» [1].

Разумеется, признание связи значения с понятием не означает их тождества, точно так же, как признание связи языка с мышлением не означает того, что между ними ставится знак равенства. Понятие относится к сфере мышления, значение же к сфере языка. Этим определяется и их различие, и их взаимообусловленность. Понятие не может формироваться в отрыве от значения того слова, которым оно выражается. Другое дело, что, выражая научное понятие, слово тем самым видоизменяет свое «обычное» значение или приобретает новое значение, которое может иметь мало точек соприкосновения с «обычным». Однако это — именно новое, терминологическое значение, причем оно неизбежно при своем возникновении опирается на общеупотребительное значение данного слова (или «отталкивается» от него). Интересно в этом смысле высказывание директора Объединенного института ядерных исследований в Дубне

---

[1] Л. С. Ковтун, О значении слова, «Вопросы языкознания», 1955, № 5, стр. 72.

профессора Д. И. Блохинцева, приводимое в книге Д. Данина «Неизбежность странного мира». «Вспомнив, как де Бройль ввел в атомную физику представление о частицах-волнах, он сказал любопытствующему журналисту: «Может быть, надо найти только какие-то три-четыре новых образа, слова, которые повернули бы всю теорию на другой путь, сформировали бы новые понятия... Какое слово надо «выдумать», каким воспользоваться образом? Здесь существует много мнений... Одно несомненно: новая теория будет создана, и она будет такой же крупной революцией мысли, какими были в свое время теория относительности и родившаяся на двадцать лет позже квантовая механика...» [1]

Лексическое значение слова рассматривается, таким образом, как отображение в сознании предмета или явления действительности (в некоторых случаях не реальной, а воображаемой), отстоявшееся как понятие, достаточно устойчивое и отграниченное от других понятий, благодаря закрепленности за конкретным внешним знаком, то есть определенным звуковым комплексом. В то же время, как отмечалось выше, поскольку каждое отдельное слово существует лишь как единица языка, стоящая в ряду других единиц и оформленная в соответствии с фонетическими и грамматическими правилами, присущими данному языку, — его значение определяется и собственно языковыми моментами.

Существующие в языке грамматические категории известным образом предопределяют самую общую классификацию предметов и явлений, отражающихся в нашем сознании. Каждое отображение «кусочка действительности», становясь элементом слова, оформляется в соответствии с теми грамматическими разрядами слов, которые существуют в языке. Лексическое значение слова не может проявиться как-то независимо от его грамматической характеристики; например, *мороз* и *морозит*, *прохлада* и *прохладно* и т. п.; ср.: «В поле *жарко*. Здесь же, в лесу, *прохлада*». (Воронин, В родных местах); «—*Жарища* какая, Георгий Петрович.—*Жарко*,— сказал Георгий Петрович...» (А. Толстой, Большие неприятности); «—*Мороз* на дворе... — Да, *морозно*»

[1] Д. Данин, Неизбежность странного мира, изд. «Молодая гвардия», 1962, стр. 363—364.

(Шолохов, Поднятая целина); «—Чего там, на дворе-то? — *подморозило* аль *ростепель* все?» (Л. Леонов, Вор) и т. п.

Те способы оформления лексического значения в слове, которые создаются многовековой общественной практикой речевого общения и становятся элементами языковой системы, предопределяют и отражение вновь познаваемых отрезков действительности. Эта предопределенность — не только тяготение «языковой материи» над мышлением, но и его конструктивная организация.

Формирующиеся в нашем сознании понятия, становясь основой лексических значений, свойственных различным словам, не исчерпывают, однако, смыслового содержания последних. Трудности перевода с одного языка на другой, так же как недостаточность многих словарных определений значения тех или иных слов и выражений, заключающаяся как раз в том, что в этих определениях остаются нераскрытыми какие-то «оттенки смысла» данных слов и выражений, — показывают, помимо других фактов, что лексическое «значение» не сводится полностью к понятию.

Прежде всего, целый ряд понятий выражен в разных языках с различной степенью дифференцированности, так что определенному понятию соответствует то отдельное слово, то сочетание слов.

Русский глагол *идти* может служить для обозначения движения как по направлению к говорящему (или вообще «сюда»), так и от него («отсюда»). Это различие в направлении движения, не существенное для русского языка, находит, однако, свое выражение в ряде других языков: в английском различаются *come* и *go*; в немецком — *kommen* и *gehen*; во французском — *venir* и *aller*. В то же время, например, французское *aller* обозначает движение безотносительно к способу передвижения (на поезде, на лошади, на пароходе, на самолете, пешком и т. д.), тогда как русский язык различает *идти* (*ходить*), *ехать* (*ездить*), *лететь* (*летать*), *плыть* (*плавать*). В немецком различаются глаголы *gehen* «идти» (может обозначать и вообще движение в определенное место) и *fahren* «ездить», но в отличие от русского *ездить* последний может обозначать и передвижение по воде (на лодке, на пароходе); вместе с тем для обозначения «ез-

дить верхом» в немецком языке существует особый глагол (*reiten*) и т. д.

Самые отенки в значениях тех или иных однородных по предметно-логической отнесенности слов (как в разных языках, так и в пределах одного и того же языка) далеко не всегда могут быть достаточно однозначно описаны в терминах логических определений. Ср., например, значения уменьшительных и увеличительных суффиксов русского языка, «логически» часто равнозначных определениям, указывающим на величину предмета, но вносящих в сообщение целый ряд дополнительных экспрессивно-смысловых оттенков, которые явно не «покрываются» соответствующими логически расчлененными обозначениями: «Много я видал на своем веку домов, больших и малых, каменных и деревянных, старых и новых, но особенно врезался мне в память один дом. Это, впрочем, *не дом*, а *домик*» (Чехов, Приданое); «Гора высокая и наверху поросла лесом; а все *дома* и *домишки* обращены окнами на реку...» (А. Толстой, Терентий Генералов); «Большинство носило *усики*, *усы* и даже *усищи*» (Куприн, Юнкера); «Внезапно, должно быть отделившись от дерева, к нему подошел Матти. Сучков сейчас же поджался, как *собачонка* при виде *собачищи*» (А. Толстой, Василий Сучков) и т. д.

Недостаточность логической интерпретации противопоставляемых в приведенных выше примерах уменьшительных наглядна хотя бы в связи с возможностью такого их применения: «—...Он — *черненький*, *сладенький* и *тихонький*. У него есть *глазки*, *усики*, *губки*, *ручки* и *скрипочка*. Он любит нежные *песенки* и *вареньице*. Мне всегда хочется потрепать его по *мордочке*» (Горький, Варенька Олесова, I; слова Вареньки Олесовой о Бенковском).

Но не это, однако, главное, что определяет собственно лингвистическую природу «значения». Лексические (как и другие языковые) значения не существуют изолированно, вне связей друг с другом. Конечно, взаимосвязаны и самые явления действительности и отражающие их понятия, в конечном же счете этими взаимосвязями и определяются отношения между различными единицами лексики. Но язык, как хорошо известно, по-своему распределяет отношения внеязыковой действительности.

Отношения между различными его единицами даны в двух измерениях. «С одной стороны, слова в речи, образуя цепь, вступают между собою в отношения, основанные на линейном характере языка, исключающем возможность произнесения двух элементов сразу... Такие сочетания, опирающиеся на протяженность, могут быть названы синтагмами... С другой стороны, вне процесса речи слова, имеющие между собою что-либо общее, ассоциируются в памяти так, что из них образуются группы, внутри которых обнаруживаются весьма разнообразные отношения»[1]. Такие отношения были названы Ф. де Соссюром ассоциативными.

Среди ассоциативных групп выделяются такие объединения языковых единиц, в которых одна единица противопоставлена другой по какому-то определенному признаку. Эти объединения могут быть названы парадигмами.

Парадигматические и синтагматические отношения, объединяющие различные элементы языка, определяют «собственно языковое» значение каждой из этих единиц[2]. Данными отношениями обусловлена возможность выбора той или иной единицы из ряда, в который она входит, и возможность ее сочетания с другими единицами. Сочетание этих возможностей применительно к слову и составляет лингвистическое содержание его «лексического значения». Но и правила выбора, и правила сочетания знаков (то есть правила их употребления) могут быть реализованы только тогда, когда знаки обозначают что-то и мы знаем, что́ они обозначают.

Употребление слова в различных по смыслу словосочетаниях не разрушает семантического единства и тождества слова, опирающегося на тождество его звуковой формы. Как уже говорилось об этом выше, способность одного и того же слова быть применимым в разных ре-

[1] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики (русский перевод), М., 1933, стр. 121.

[2] Нет оснований усматривать в различии между этими двумя видами языковых отношений отражение различия между языком как системой, с одной стороны, и конкретным проявлением языка в речи (тексте), с другой, хотя повод для такого понимания указанного различия находим уже в цитированных (и следующих за ними) определениях Ф. де Соссюра (ср., однако, его же возражения против такого понимания, стр. 122—123).

чевых ситуациях, так или иначе видоизменяющих его значение, но не превращающих тем самым данное слово в ряд отдельных самостоятельных лексических единиц, является сама по себе одним из важных условий функционирования языка. По существу, каждое новое употребление слова зависит от возможности проявления тех сторон его значения, которые соответствуют данному контексту. Употребление глагола *любить* в словосочетаниях *любить жену* и *любить шашлык по-кавказски* связано, естественно, с его различным осмыслением в этих словосочетаниях (ср. в английском языке употребление разных слов *to love* и *to like, to be fond of*). Однако это различие не нарушает семантического единства глагола *любить* в русском языке, поскольку и то и другое его употребление не выходит за пределы общих семантических контуров данного слова.

Видоизменение семантики слова, связанное с его употреблением в разных лексико-семантических позициях, то есть в сочетании с различными семантическими группами слов, делает возможным установление различных лексико-семантических контекстов употребления данного слова или отдельных его значений.

За одним и тем же словом может, таким образом, быть закреплено не одно, а несколько взаимосвязанных и определенным образом отграниченных друг от друга значений. Например, семантическое содержание слова *земля* следующим образом раскрывается в «Толковом словаре...» под редакцией Д. Н. Ушакова:

1. *только ед.* Планета, на которой мы живем.

2. *перен., только ед.* В мифологии и поэзии — реальная действительность, в противоположность миру идеальному, небу (книжн., поэт. устар.). «*...Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше*» (Пушкин).

3. *только ед.* Суша (в отличие от водных пространств).

4. *только ед.* Почва, верхний слой коры нашей планеты. ‖Рыхлое рассыпчатое вещество темно-бурого цвета, входящее в состав коры нашей планеты (разг.). *Песок с землей. Вырвать растение с землей. Засыпать ров землей.*

5. *только ед.* Твердая поверхность, почва, по которой мы ходим, на которой стоим.

6. Страна, государство (устар.). ... || *перен.* Народ (старин.).

7. Территория с находящимися на ней угодьями, состоящая в чьем-нибудь владении, в собственности кого-нибудь.

8. Название различных красок (спец.).

Разграничение указанных значений находит отражение в неодинаковой их соотнесенности с различными производными от слова *земля*. Так, например уменьшительное *землица* соответствует 4-му и 7-му значениям; прилагательное *земной* относится к существительному *земля* в 1-м, 2-м и 3-м значениях, *земляной* — в 4-м значении, *земельный* — в 7-м значении и т. д. Ср. соотнесенность с разными значениями сложных слов: *землевладение*, *земледелие*, *землекоп*, *землемер*, *землетрясение*, *землеустройство*, *землепроходец* и т. п. Вместе с тем очевидна связь этих значений друг с другом, их распределение внутри единого семантического целого.

Это не значит, что следует искать «общее значение», которое рассматривалось бы как семантический инвариант или как некоторое неизменное смысловое ядро, сохраняющееся при употреблении слова в разных значениях. Существование подобного «общего значения» у слова сомнительно хотя бы потому, что свойственные слову значения во многих случаях соотносят его с неоднородными «реалиями» и с разными семантическими группами слов. Часто они воспринимаются (независимо от их исторического развития) как «первичные» (с синхронической точки зрения) и переносные, возникающие в результате метафорических и метонимических перенесений наименований (например, обозначение предмета по его части, результата действия по самому действию и т. д. — см. об этом выше), то есть заведомо не могут быть сведены к какому-то более широкому «общему значению».

Семантическое единство слова заключается, таким образом, не в наличии у него некоего «общего значения», как бы подчиняющего себе более частные, выделяемые обычно в толковых одноязычных словарях значения, а в определенной связи этих отдельных самостоятельных значений друг с другом и их закрепленности за одним и тем же знаком. Семантическая структура многозначного слова, если бы изобразить

«значение» графически в виде круга, должна бы была выглядеть, следовательно, не как круг («общее значение»), поделенный на секторы («варианты» этого «общего значения»), а как ряд соприкасающихся друг с другом — и отчасти наложенных друг на друга — кругов; ср. как бы взаимопроницаемость отдельных значений в определенных контекстах, например,

«И на скаку
Запнулась запыхавшаяся лошадь,
Уж силой ног не удержать седла,
И утлые взмахнулись стремена,
И полетел, отброшенный толчком...
Ударился затылком о родную,
Весеннюю, приветливую землю...»

(Блок, О смерти)

«А здесь, в колеблющемся зное,
В курящейся над лугом мгле,
Ангары, люди, все земное —
Как бы придавлено к земле...»

(Блок, Авиатор) и т. п.

Ср. также: «От *дома* он окончательно отстал, это никакой ему не *дом*, не семья, а *просто укрытое крышей место*, где стоит его кровать» (Панова, Времена года) и т. п.

Очевидно, что указанные выше значения слова *земля* так же, как и выделяемые в словарях отдельные значения слова *дом* («здание, строение, предназначенное для жилья, для учреждений и т. п.; жилое помещение, жилье», «*собир.* семья; люди, живущие в одной семье или в одном доме...» и т. д.), не проявляются в данных контекстах, как и во многих других подобных в «чистом» виде. В то же время очевидно, что эти отдельные значения не могут быть сведены к некоему «общему значению», которое могло бы быть сформулировано независимо от этих «частных» значений. Нужно согласиться с Е. Куриловичем в том, что «общее значение» является своего рода абстракцией, с трудом поддающейся формулировке»[1]. «Общее значение, — замечает дальше польский ученый, — это абстракция, полезность и применимость которой к конкретным лингвистическим проблемам решит будущее. Наше личное возражение против

[1] Е. Курилович, Заметки о значении слова, см. «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 245.

введения этого понятия основано на невозможности интеграции качественно различных элементов, а именно — коммуникативного содержания и аффективных стилистических оттенков. По нашему мнению, самое важное — главное значение, то, которое не определяется контекстом, в то время как остальные (частные) значения к семантическим элементам главного значения прибавляют еще и «элементы контекста» [1]. Выделение «главного», или «первичного» (с синхронической точки зрения), значения слова также не всегда может быть бесспорно. Определение «первичных» и «переносных» значений слов не встречает особых затруднений в случаях, подобных приводимому Е. Куриловичем (*осел* — I — животное, II — глупый или упрямый человек), когда семантическая структура слова определяется наличием в ней отчетливого семантического стержня и зависящих от него метафорических или метонимических ответвлений. Ср. соотношение «первичных» и метафорически-переносных значений у таких слов, как *картина, механизм, сцена, арена, полярный, атмосфера, сфера, область, круг, направление, призма, организм, очаг, цепь, сеть, точка, линия, платформа, ширма, нить, клубок, лазейка, дебри, ориентироваться, маскировать, оттенять* и мн. под.

Аналогично в этом отношении и распределение значений слова *дом*: первое («здание и т. д.») явно воспринимается как основное значение, второе («семья и т. д.») — как переносное. Семантическое единство слова определяется существующей между этими значениями внутренней связью, опирающейся на одну из общих формул перенесения названий с одного явления на другое (метонимия). Существование подобного соотношения между значениями свидетельствует об их иерархии, об определенной структурной организации семантического содержания слова.

Иное соотношение значений обнаруживается у слова *земля*. Эти значения также безусловно связаны друг с другом и определенным образом организованы. Семантическое единство слова подтверждается, как об этом только что говорилось, взаимопроницаемостью его от-

---

[1] Е. Курилович, Заметки о значении слова, см. «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 246.

дельных значений в некоторых контекстах, то есть своего рода нейтрализацией присущих им особых дифференциальных признаков; оно предопределено единством звукового выражения, поскольку внешняя и внутренняя стороны слова (его звуковая «оболочка» и его смысл) прочно объединены друг с другом в сознании говорящих, так что даже случайные звуковые совпадения или сближения различных слов нередко приводят к их семантическому сближению (см. об этом дальше) [1]. Однако в семантической структуре слова *земля* было бы затруднительно выделить главное, или «первичное», значение. Стержнем слова здесь оказывается не какое-то отдельное его значение, а те семантические элементы, которые оказываются общими для всех значений слова. Эта общность опирается на тождество материального знака, обусловливая взаимопроницаемость объединенных значений, в ряде случаев реального употребления слова как бы незаметно переходящих друг в друга.

Авторы толковых и исторических словарей, основанных на сплошной выборке из различных литературных источников, могли бы подтвердить, что при составлении словарной статьи, посвященной многозначному слову, целый ряд цитат допускает различное толкование и в связи с этим может быть отнесено то к тому, то к другому из выделяемых значений слова. Отсутствие подобных цитат среди иллюстративного материала словаря создает иногда видимость более или менее отчетливой отграниченности различных значений слова. Не касаясь здесь вопроса об оправданности, неизбежности или желательности такой подачи литературных иллюстраций в словарях разных типов, следует все же заметить, что в одном отношении она недостаточна: многие случаи реального применения слова остаются незафиксированными, что способно привести к мысли о невозможности промежуточных «значений» или употребления слова в таком смысле, который создается как бы совмещением двух или даже нескольких из выделенных значений.

Речь идет не о специальном приеме поэтического (часто просто каламбурного) использования слов в кон-

[1] В связи с этим не вполне оправданным кажется мнение, что «омонимы — это столь же естественное явление языка, как и полисемия» (см. Р. А. Будагов, Введение в науку о языке, М., 1958, стр. 49).

тексте, обнажающем их многозначность, а о том, что в обычных условиях речевого общения выделяемые значения не полностью и безусловно отграничены друг от друга и замкнуты в каком-то «автономном» семантическом круге.

Подобная «диффузность» отдельных значений не создает затруднений для речевого общения, не делает высказывание двусмысленным, так как позиционная обусловленность различных значений многозначного слова сочетается с (также позиционно обусловленной) возможностью «совмещения» некоторых из них в определенных контекстах.

Если условно воспользоваться терминологией, применяемой главным образом в фонологии, то можно сказать, что значения многозначного слова находятся в отношении комплементарной дистрибуции (дополнительного распределения) друг к другу, то есть проявление тех или иных значений зависит от употребления слова в различных лексико-семантических позициях. Применение терминологии, употребляемой в фонологии, не должно восприниматься в данном случае как установление какой-либо аналогии между фонетической и лексико-семантической позицией. Принципиальное их различие заключается уже в том, что единство фонемы обеспечивается именно несовместимостью в той же позиции разных ее вариантов, в то время как семантическое единство слова опирается на тождество материального знака.

Вместе с тем, как известно, тождество звукового комплекса не непременно обеспечивает семантическое единство слова. В таких случаях говорят об омонимии, то есть звуковом тождестве самостоятельных слов, имеющих различные, не связанные друг с другом значения.

Омонимия возникает, во-первых, как следствие звукового совпадения различных по происхождению слов (в результате фонетических изменений, совершившихся в языке, заимствования одного из слов и т. д.; например, *кошка* «животное» и областное — севернорусское — заимствование из финно-угорских языков *кошка* «песчаная или каменистая отмель в море, видимая при отливе» и т. д.); во-вторых, как следствие распада многозначного слова (в результате семантического расхождения отдельных его значений, некоторых функциональных переносов и т. д.; например, глагол *чинить* «делать», «устраи-

вать» имеет в современном языке стилистически ограниченную сферу употребления, причем в сочетании лишь с ограниченным числом слов: *чинить препятствия*, ср. *учинить скандал*, *учинить расправу* и т. п.; *чинить* «исправлять» — с формой совершенного вида *починить* — выступает в языке как отдельное, только фонетически совпадающее с первым, слово); в-третьих, как следствие разновременного или независимого параллельного словообразования от одной и той же основы и в соответствии с одной и той же словообразовательной моделью (например, *стан* «туловище» и *стан* «место стоянки, лагерь» или *тройка* как обозначение чего-то, состоящего из трех единиц, и *тройка* — школьная отметка); в-четвертых, как следствие словообразования при помощи омонимичных словообразовательных аффиксов (например, многие глагольные префиксальные образования, ср. *отстоять* «простоять до конца», *отстоять* «защитить» и *отстоять* «находиться на каком-то расстоянии» и т. п.) — и т. д.

Чем бы исторически ни была вызвана омонимия, она должна быть определена синхронически, то есть с точки зрения данного состояния языка.

По поводу омонимии, ее отличий от полисемии (многозначности слов) было высказано немало разнообразных, иногда противоположных мнений. Наиболее часто встречается указание на то, что значения многозначного слова семантически связаны, одно из значений как бы переходит (синхронически) в другое по той или иной формуле семантических ассоциаций, в то время как значения слов-омонимов отражают явления действительности независимо друг от друга, между ними не существует какой-либо ассоциативной связи. Само по себе такое определение не вызывает возражений, но его недостатком является то, что при установлении семантической связи между значениями приходится в основном полагаться на так называемое языковое чутье, то есть в значительной мере на субъективные критерии разграничения.

В качестве объективных критериев многозначности, с одной стороны, и омонимии, с другой, иногда выделяются словообразовательные и синтагматические показатели. Показателем того, что перед нами не разные значения одного и того же слова, а разные значения, закрепленные за разными словами, считается тогда со-

отнесенность этих значений с различно оформленными производными, а также их реализация в различных по синтаксической форме словосочетаниях. Правильным представляется то, что писала в связи с этим О. С. Ахманова, утверждая, что «дивергенция словообразовательных рядов, особенности управления и т. п., безусловно, могут и должны использоваться при разграничении полисемии и омонимии. Но они выступают не как самостоятельные критерии, не как основные или решающие признаки, а лишь как дополнительные, как вспомогательные моменты, подтверждающие и фиксирующие факты, обнаруженные посредством собственно семантического анализа.

Необходимо, далее, иметь в виду, что в очень большом количестве случаев морфологические и синтаксические показатели вообще отсутствуют; однако этим не снимается необходимость решения вопроса о том, имеет ли в данном случае место «омонимический разрыв» [1].

Действительно, желание видеть в том, что от разных значений образуются разные производные, свидетельство разрыва между этими значениями, их закрепленности за словами-омонимами, основывается в значительной степени на априорных соображениях. Оно вполне понятно как попытка освободиться от ссылок на «языковое чутье», «восприятие говорящих» и т. д., но легко заметить, что использование словообразовательных критериев не разрешает вопроса. С разными значениями слова *земля*, как мы видели, соотнесены разные прилагательные и другие образования (*земной*, *земляной*, *земельный*; *земляк*, *землевладелец*, *земледелец*, *землемер*, *землечерпалка*, *землетрясение* и т. д.).

Является ли это достаточным основанием для того, чтобы признать соответствующие значения существительного *земля* значениями самостоятельных слов-омонимов? Не говоря уже о том, что различные значения, закрепленные за звуковым комплексом *земля*, явно соотносятся друг с другом не так, как значения слов *коса* «сплетенные волосы» и *коса* «орудие для косьбы» (ср. также разные производные от этих слов: от первого — *косица*, *косичка*; от второго — *косить*, *косовище* «руко-

[1] О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии, Учпедгиз, М., 1957, стр. 113—114.

ятка косы»), а применяя только указанный критерий, мы должны ограничиться их одинаковой характеристикой, — вызывает сомнение и сама теоретическая обоснованность данного критерия. Семантические и словообразовательные соотношения, существующие между словами, произведенными от одной и той же основы, далеко не всегда соответствуют друг другу.

Хорошо известно, что производные часто по-разному соотносятся с отдельными значениями соответствующего непроизводного слова, а также могут развивать новые, дополнительные значения, которые не свойственны последнему, ср., например, *сирень* и *сиреневый*, *малина* и *малиновый* (*малиновое варенье* и *малиновый цвет*), *песок* и *песочный* (*песочное пирожное* и *песочный цвет*) при *песчаный* и т. п.; ср. также «включенность» значения некоторых прилагательных в семантику других прилагательных, произведенных от тех же существительных, — например, существительное *трагедия* обозначает, во-первых, вид драматического произведения, во-вторых, согласно определению «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, «потрясающее событие, тяжкое переживание, ведущее к гибели, катастрофе»; первому значению соответствует прилагательное *трагедийный*, второму — *трагичный*; в то же время за прилагательным *трагический* закреплены оба эти значения и т. д. Если следовать указанному принципу разграничения многозначности и омонимии, то придется признать, что *трагедия* (с производным *трагедийный*) и *трагедия* (с производным *трагичный*) — это разные слова, точно так же, как разными словами окажутся прилагательное *трагический*, соотнесенное с первым звуковым комплексом *трагедия*, и *трагический*, соотнесенное со вторым. Ясно, что подобная характеристика омонимии не сделала бы это понятие более точным и однозначным, так как объединила бы им самые разнородные явления.

То же самое относится и к так называемому синтаксическому критерию. Ср., например, различные формы управления глаголов: *просить* (что-нибудь) и *просить* (о чем-нибудь), *спекулировать* (чем-нибудь) и *спекулировать* (на чем-нибудь), *задуматься* (о чем-нибудь) и *задуматься* (над чем-нибудь) и т. п. Если здесь опять-таки видеть слова-омонимы, то самое понятие омонимии должно было бы

получить новое осмысление, и, будучи до конца последовательными, мы должны были бы определять омонимы не как совпадающие только по внешней форме слова, между которыми, однако, не существует семантической связи, а как различающиеся (синтаксически) употребления того же звукового комплекса. Самое обозначение *омоним* стало бы в таком случае омонимичным тому же термину в его традиционном понимании, а никак не его уточнением или его «объективизацией».

Попытки некоторых исследователей ограничить понятие омонимии теми случаями тождества внешней, звуковой формы различных слов, которые являются результатом фонетических изменений, заимствований и т. д., то есть случаями совпадения (в процессуальном значении этого слова) различных по происхождению слов, не считая омонимами разошедшиеся значения одного и того же (исторически) слова, передвигают изучение омонимии в область истории языка, в то время как очевидно, что те или иные слова являются омонимами именно с точки зрения данного состояния языка, как сосуществующие языковые единицы.

Точка зрения, согласно которой, признавая связь значения с понятием, мы не вправе допускать существование в языке многозначных слов, а должны говорить или о разных словах с разными значениями, или о вариантах значения того же слова, — по существу, также основывается на некоторых априорных положениях, которые и сами по себе не кажутся убедительными, и мало что дают для конкретного анализа языкового материала.

Во-первых, остается неясным, несмотря на многочисленные рассуждения, почему в семантической структуре одного и того же слова не может быть определенным образом объединено несколько различных значений, хотя бы в основе каждого из них лежало отдельное понятие. Понятия ведь тоже существуют не изолированно, а находятся в различных (и по характеру, и по степени близости) связях друг с другом, а, кроме того, значение слова — это категория языка, связанного с мышлением, но не мышления.

Во-вторых, реальным фактом языка является существование в нем таких единиц, как *коса* «сплетенные волосы» и *коса* «орудие», с одной стороны, и таких, как

земля в ее разных значениях, с другой. Трудно усомниться в том, что это различные по своей природе «тождества» звуковых комплексов. Совмещение значений, связанных с звуковым комплексом *коса*, возможно только как нарочитая «игра слов», тогда как значения звукового комплекса *земля* могут в разных контекстах поразному объединяться друг с другом на основе именно их семантических связей. Примеры такого «совмещения» уже приводились выше. Ср. также: «—Дед, — сказал Трубников, — вот ты бродишь по весенней земле, неужто молчит в тебе твое природное, крестьянское?... Полвека земле служил, как же можешь ты паразитом по ней таскаться?» (Ю. Нагибин, Страницы жизни Трубникова). По-видимому, нет никакого смысла игнорировать эти различия. Именно для их обозначения естественнее всего использовать традиционные термины омонимии (звуковой комплекс *коса*) и многозначности (звуковой комплекс *земля*).

Возьмем звуковой комплекс *свет*, например, в следующих фразах из «Евгения Онегина» Пушкина: (1) «За ним Довольно мы путем одним Бродили *пó свету*»; (2) «...Иль просто будет добрый малый, Как вы да я, как целый *свет*?»; (3) «Вот мой Онегин на свободе; Острижен по последней моде; Как *dandy* лондонский одет — И наконец увидел *свет*... *Свет* решил, что он умен и очень мил». Нетрудно заметить, что семантика слова *свет* неоднородна в этих контекстах. Вместе с тем, при всей ее «индивидуальности» в конкретных случаях употребления слова, она варьируется как бы в известных пределах, и во множестве других употреблений слова мы находим нечто общее с одним из приведенных выше примеров. Это дает возможность установить разные «значения» слова *свет*, которые и фиксируются словарями. Так, в «Словаре языка Пушкина» указанные примеры распределяются в соответствии со следующими значениями слова: (1) «земля со всем существующим на ней»; (2) «окружающие люди, общество»; (3) «высшее общество с его укладом жизни, привычками и т. п.; люди этого общества».

Значения слова распределены, таким образом, в соответствии с метонимической формулой «от целого к части»: «земля со всем существующим на ней» — «существующие на земле люди» — «определенная часть лю-

дей». Проявление одного из этих значений определяется лексико-семантической позицией слова. На то, что это не индивидуально-контекстные «осмысления» слова, а закрепленные в языке значения, указывают, в частности, устойчивые словосочетания, а также производные, в которые данные значения устойчиво дифференцированы; ср. *вокруг света, жить на свете, всему свету известно, вращаться в свете, кругосветный, светский* и т. д. Объединение этих значений в семантической структуре одного слова, определяемое характером их соотношения друг с другом, обусловливает и возможность таких лексико-семантических позиций слова, в которых их различение не является значимым, в силу того что семантические различия между ними объективно нейтрализуются. Ср. в том же произведении:

«Быть может, он для блага *мира*
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на *ступенях света*
Ждала высокая ступень» и др. под.

«Двусмысленность» слова здесь, по существу, обусловлена не невозможностью осмысления слова в четком соответствии только с одним из отграниченных выше значений, а отсутствием необходимости подобного осмысления.

По-иному обстоит дело с отграничением значения «освещение», свойственного тому же звуковому комплексу *свет*. Оно никак семантически не связано с предыдущими значениями (разумеется, только с точки зрения современного состояния языка). Слово *свет* в этом значении является отдельным словом. Его употребление в различных контекстах никак не зависит от сферы применения слова-омонима. Их употребление могло бы и вообще не совпадать, и совпадать в каких-то случаях — причем тогда возможная «двусмысленность» не могла бы привести к «нейтрализации различий»; для понимания сообщения требовался бы или выбор, или допущение того, что текст специально так построен, что на значение слова как бы проецируется отсвет омонимического значения. Ср. в поэме Пушкина «Анджело»:

«А сам отправился, дабы вельможу злого,
Столь гнусные дела творящего *во тьме,*
Пред светом обличить».

Значения слов-омонимов не являются позиционно обусловленными (в отличие от значений многозначного слова) в том смысле, что реализация того или другого значения не зависит от контекста (не надо смешивать с тем или другим пониманием звукового комплекса в тексте!); неопределенность же лексико-семантической позиции слова, то есть возможность его различного понимания, не приводит в данном случае к какому-либо «совмещению» значений, так как одно из них полностью исключает другое.

Значения многозначного слова объединяются в семантическое единство, благодаря определенным отношениям, которые существуют между ними на основе общих семантических ассоциаций (метафора, метонимия, функциональная общность). Однако именно характер этих отношений не позволяет усматривать в слове какое-то «общее значение», а его применение для отображения разных явлений действительности расценивать как некое варьирование этого «общего значения». Поэтому утверждение, что каждое слово может иметь только одно значение, если оно не связано с простой терминологической заменой (вместо термина «значения слова» употребляется в «расширительном» смысле термин «омонимы» или вводится термин «семантические варианты» слова и т. п.), а опирается на понятие «общего значения», кажется, по существу, неправильным. Значения слов *земля*, *дом* и т. п. объединены не как варианты какого-либо присущего этим словам более общего смыслового содержания, а на основе того, что в смысловое содержание отдельных значений этих слов входят одни и те же семантические элементы, которые и сами по себе, и в своей совокупности остаются именно элементами значений и не могут составить более общего семантического целого. Какое единое «общее значение» можно приписать, например, слову *земля*, значение, которое могло бы выступать в разных «вариантах»? Если сказать, положим, что это «планета, на которой мы живем и по которой ходим и т. д., ее твердая поверхность, верхние слои, различные части поверхности» и т. п., то мы все-таки придем к определению не «общего значения» слова, а как

раз к (нерасчлененному) указанию на отдельные семантические элементы, которые по-разному сочетаются в разных значениях слова, вступая в различные ряды противопоставлений и сопоставлений с другими лексическими единицами, а следовательно, приобретая и новые элементы значения. Позиционная обусловленность отдельных значений слова имеет, таким образом, принципиально иной характер, чем позиционная обусловленность тех или иных видоизменений фонемы.

Об «общем значении» слова представляется возможным говорить только в тех случаях, когда обозначения явлений связаны с указанием на такой их признак, который объединяет различные группы явлений, причем само название не закрепилось за одной определенной группой явлений, а достаточно свободно переносится на явления, имеющие данный признак. Ср. слово *времянка* («временное сооружение, устройство и т. п.»), которое может служить для обозначения разнородных предметов (печка, барак и т. п.[1]), объединяемых только на основе признака, раскрываемого внутренней (этимологической) формой слова. С точки зрения современного состояния языка, несущественно, для обозначения каких конкретных предметов первоначально было использовано данное образование и явилось ли его перенесение на другие предметы результатом аналогии или же следствием того, что яркая внутренняя форма слова оказалась более значимой для семантической структуры слова, чем его «специализированная» предметная отнесенность. Внутренней формой слова здесь, собственно, и конструируется его «общее значение», определяющее возможности применения слова. Понятно, что «общим значением» в таком понимании обладают сравнительно немногие лексические единицы. По существу, самое название «общее значение» имеет здесь иное содержание, чем в применении к многозначным словам, так как общим оно является не по отношению к различным частным значениям слова, а в том смысле, что оно соотносится с разнородными группами предметов на основе общего признака, который составляет основное семантическое содержание самого слова и который не закреплен в языке

[1] Ср. «Мост этот был дощатый, на бревенчатых сваях — *времянка*» (Рекемчук, Молодо-зелено).

как сигнализирующий только об одной группе предметов, обладающих данным признаком.

Признание многозначности слов, основанное как на непосредственном применении языка (ср. вопросы вроде, «В каком смысле вы употребили это слово?» и т. п.), так и на длительной лексикографической практике, не означает, однако, того, что между многозначностью и омонимией объективно существует какая-то четкая и ясно очерченная граница, которую лингвистам следует только по возможности последовательно описать. Ведь самое признание того, что омонимы могут образоваться вследствие семантического расщепления многозначного слова, предполагает признание определенного семантического процесса, приводящего к переходу многозначности в омонимию. Вряд ли оправданно представлять этот процесс как какой-то мгновенный акт, после которого вместо одного слова с двумя разными значениями в языке появляются два различных слова, совпадающих только своей звуковой формой. Поэтому, конечно, в языке в каждый период его существования могут быть промежуточные, переходные случаи, однозначная характеристика которых оказывается затруднительной. Ср. *ручка* (уменьшительное к *рука*) и *ручка* (двери); *мостик* (уменьшительное к *мост*) и капитанский *мостик*; *ежик* (уменьшительное к *еж*) и *ежик* (прическа); *огонь* (пламя) и *огонь* (стрельба); *палить* (обжигать пламенем) и *палить* (стрелять залпами), *вязать* (стягивать веревкой) и *вязать* (спицами, крючком); *махнуть* (чем-нибудь) и *махнуть* (отправиться куда-нибудь) и мн. др. Колебания в толковых словарях по отношению к таким случаям наглядно показывают возможность их неодинаковой трактовки.

Нужно заметить, что прочность семантической связи между значениями, закрепленными за тем же звуковым комплексом, может вообще по-разному восприниматься различными группами говорящих.

Понятие лексической многозначности может быть противопоставлено не только понятию омонимии, но и понятию однозначности, то есть закрепленности за данным звуковым комплексом лишь одного устойчивого лексического значения. Например, такие слова, как *боль*, *грусть*, *дикобраз*, *заводь*, *мгла*, *палка*, *шпага*, *ситец*, *надменный*, *сиплый*, *завидовать*, *веселиться*, *тачать*

и др., характеризуются однородной предметной направленностью, семантической одноплановостью. Определение соотношения, существующего в том или ином языке между однозначными и многозначными словами, а также того, какие семантические группы слов более тяготеют к многозначности, а какие — к однозначности, представляет безусловный интерес для лексикологии. Вопрос этот требует, однако, специального исследования.

Вместе с тем очевидно, что именно лексическая многозначность слов во многом определяет своеобразие словарного состава отдельных национальных языков, поскольку характер объединения значений в границах одного слова, виды связей между разными значениями того же слова во многом различны в разных языках.

Очевидно также, что если не выходить за пределы семантики отдельного слова (то есть не касаться его смысловых отношений с другими словами), то возможность выделения каких-то элементов лексического значения, определяющих смысловое содержание слова, появляется только в связи с закрепленностью за словом более чем одного значения (то есть только в случаях многозначности слова). Перед тем как остановиться на этом вопросе, отметим следующее.

Разложение собственно лексических значений на некоторые составляющие их элементы возможно лишь при установлении известных тождеств и различий, иначе говоря — при сопоставлении какого-то данного значения с другим значением или другими значениями. Для того чтобы выделить семантические элементы, например, слова *земля*, мы должны сопоставить значения этого слова со значениями других слов, так или иначе соотнесенными со значением первого: например, значение «суша» выделяется как результат противопоставления слову *вода* (точнее, одному из его значений — «пространство, покрытое водой»), значение «почва, верхний слой коры нашей планеты» — как результат противопоставления словам, обозначающим другие составные части нашей планеты (камень, минерал, вода и т. д.) и т. п. Таким образом, по существу, «элементы значения» могут быть определены только через дифференциальные семантические признаки, то есть через установление того, так сказать, семантического «остатка», который получается в результате «соизмерения» разных значений.

Подобное «соизмерение» значений так или иначе соотнесенных друг с другом (в семантическом плане) слов и делает возможным, если оставаться в пределах одного языка и в пределах его синхронического описания, выделение разных значений слова. Именно включение того же слова в разные лексико-семантические парадигмы, то есть разные тематические, словообразовательные, а также синонимические и антонимические ряды, равно как связанные с этим различия в сочетаемости, указывает на то, что слово имеет не одно, а два или несколько значений, разграничение которых может быть произведено на основе учета их дифференциальных признаков.

Поскольку, согласно определению, в отличие от значений слов-омонимов, между которыми нет никакой связи, значения многозначного слова образуют некоторое сложное семантическое единство, они должны быть представлены как единицы смысла, которые подчинены известной организации внутри слова. Эту организацию целесообразно прежде всего представить в терминах, использованных при описании основных типов «перенесений наименований», придавая им в данном случае не процессуальное, а результативное значение. Основанием для такой параллели является то обстоятельство, что историческое развитие значений слова, идущее по пути метафорических, метонимических или функциональных переносов наименований, определяет соответствующий тип соотношений между сосуществующими в дальнейшем значениями слова, точно так же, как характер взаимоотношений между сосуществующими значениями слова в известной мере указывает на ход его семантического развития. Конечно,— и это приходится еще раз подчеркнуть — соотношения между значениями слова по большей части сложнее и разнообразнее, чем их отображение в терминах метафорических, метонимических и функциональных связей. Процесс исторического преобразования семантики слов, как об этом говорилось выше, направляется не только разного рода смысловыми ассоциациями, но и общими контекстами (в широком смысле) употребления слов. Однако именно указанные виды ассоциаций (главным образом метафорические и метонимические) обеспечивают наиболее устойчивое объединение значений в пределах одного слова и поэтому с известной долей условности могут рассматриваться

как обобщенные формулы семантической структуры последнего. В соответствии с этими формулами, по-видимому, могут быть определены и дифференциальные признаки отдельных значений.

Для того чтобы более наглядно представить сказанное, рассмотрим семантическую структуру некоторых слов, относящихся к числу достаточно часто встречающихся в речи [1]. Возьмем, например, толкования значений слова *рука* в академическом «Словаре современного русского литературного языка».

I. «Одна из двух верхних конечностей человека от плеча до конца пальцев; часть этой же конечности от пясти до конца пальцев».

II. «Одна из верхних конечностей человека как орудие деятельности, труда... *Перен.* След, результат чьей-либо деятельности».

III. «Только *ед.* О манере письма, почерка».

IV. «Только *мн. Перен.* Рабочая сила, рабочие».

V. «Только *мн. Перен.* О человеке, лице (обычно в сочетании с каким-либо определением) как обладателе, владельце чего-либо».

VI. «*Перен.* Символ власти, владычества».

VII. «Только *ед. Перен. Разг.* О влиятельном человеке, способном защитить, оказать поддержку».

VIII. «Только *ед.* О согласии кого-либо на брак, о готовности вступить в брак».

Не останавливаясь на вопросе о том, насколько удачно выделены здесь значения (и даны их толкования), попытаемся определить общий характер существующих между ними связей.

Итак, каким образом связаны эти значения и какие различительные семантические элементы служат основанием для их разграничения?

Второе из выделенных значений, не отличаясь от первого своим предметным содержанием, отображает, однако, тот же «предмет» в его основной функциональной направленности (ср.: «собственными руками добывать пропитание» ,«приложить руки к чему-нибудь» и т. п.). Функция «предмета» становится существенным элементом

---

[1] См. Э. Штейнфельдт, Частотный словарь современного русского литературного языка, «Русский язык в национальной школе», 1962, № 4, стр. 32 и сл.

смыслового содержания слова. Соотношение между двумя значениями может быть условно обозначено так: II значение=«предмет» I значения+функция «предмета» I значения. Таким образом, элемент II значения, обозначаемый «функция «предмета» I значения», вычленяется как его дифференциальный семантический признак. Совершенно ясно, что соответственно слово входит в различные (тематически) группы лексики. Взятое в первом значении, оно включается в тематическую группу слов, обозначающих «части тела», во втором же значении оно объединяется с такими словами, как *труд*, *работать*, *делать*, *орудие* и т. п. Выделенный здесь же (с пометой *перен.*) «оттенок значения» «след, результат чьей-либо деятельности» (IIб) должен быть определен как метонимическое распространение с точки зрения синхронических отношений IIа значения. Соотношение между IIа и IIб выступает, следовательно, как метонимическое соотношение между «орудием деятельности» и «результатом деятельности»; таким образом, семантические элементы «орудие» и «результат» определяются как дифференциальные семантические признаки соответственно IIа и IIб.

Выделенное в словаре III значение является, по существу, применением в более или менее устойчивых контекстах II значения, «специализированного» в двух направлениях: 1. «Орудие специальной деятельности» (т. е. «письма»), 2. «орудие индивидуальной деятельности» (индивидуальная «манера» письма). Эти семантические «специализаторы» и представляют собой дифференциальные признаки данного значения.

Следующее значение (IV) является одним из видов метонимического распространения того же II значения: рука как «орудие деятельности, труда» перенесено на обладателя этого орудия (обозначение целого по его части). Соотношение между II и IV значениями выступает как метонимическое соотношение между «частью» и «целым»; на основе этой формулы и устанавливается дифференциальный признак IV значения («обладатель орудия труда»).

Фразеологически ограниченное в своем проявлении V значение (*перейти в другие руки*, *отдать в верные руки*, *узнать из третьих рук* и т. п.) является метонимическим распространением значения *руки* как «орудия»,

служащего для того, чтобы «держать, брать, давать что-либо» (специализированное таким образом II значение — «орудие деятельности»), примененного для обозначения «обладателя этого орудия», и т. д.

Другой пример.

Для глагола *говорить* в том же словаре установлены следующие значения и «оттенки значений»:

I. «Выражать, изъяснять устно какие-либо мысли; сообщать что-либо... *Переносно. В выражениях.* Сердце, предчувствие и т. п. говорит кому, чему — внушает мысль, убеждение и т. п. ... Что-либо говорит уму, сердцу, душе и т. п.— вызывает в ком какие-либо мысли, чувства, переживания и т. п. ... Излагать, сообщать, утверждать что-либо печатно или письменно... Употреблять в речи те или другие слова и обороты, выражаться».

II. «Беседовать, разговаривать... Толковать о ком — обсуждать что-либо».

III. «Произносить, выговаривать звуки речи, слова и фразы».

IV. «Выражать собою что-либо; свидетельствовать о чем, показывать, указывать на что».

Обозначение словом самого процесса говорения легко переходит в обозначение этого процесса как целенаправленного действия (в словаре, как можно видеть из первого определения, эти «оттенки» не различаются; ср., однако, *говорил без умолку* и *говорил, что* ... и т. п.). В значении целенаправленного действия («сообщать что-либо»), осуществляемого определенным способом (то есть «устно»: благодаря этому семантическому признаку самый глагол включается в лексическую группу так называемых «глаголов говорения»), в одних случаях может оказаться доминирующим признак «целенаправленности» («функции»), в других — «способа осуществления». В соответствии с этим возможно дальнейшее преобразование семантики глагола — он выступает или в значении «излагать, сообщать, утверждать что-либо печатно или письменно» (в словаре это значение дается как видоизменение I значения), или в значении «произносить, выговаривать звуки речи, слова и фразы» (III значение цитированного словаря). Далее, значение «сообщать что-либо», естественно предполагающее

адресата, метонимически преобразуется в значение взаимного обмена «сообщениями» (ср. «говорил ему об этом» и «говорил с ним об этом»), то есть во II значение словаря: «беседовать, разговаривать; обсуждать что-либо». Как метафорическое распространение того же значения «сообщать что-либо» выступает выделенное в словаре IV значение: «выражать собою что-либо; свидетельствовать о чем, показывать, указывать на что». Ср. *все говорит о том, что* ... и т. п. Таким образом, становится значимым противопоставление значений глагола по признаку отнесенности действия к одушевленным «предметам» (собственно, к «лицам») и к неодушевленным (соответственно I—III значения и IV значение).

Очевидно, что намеченный здесь (в силу необходимости — очень бегло) анализ семантической структуры слова требует целого ряда дальнейших уточнений. В настоящем очерке нет возможности подробно остановиться и на его обосновании. Следует сказать, впрочем, что разложение сложных языковых единиц на более простые элементы широко практикуется в лингвистических исследованиях, хотя применение этого метода к семантике слов встречается с целым рядом трудностей. Нужно заметить вместе с тем, что в своей практической работе составители толковых словарей фактически сталкиваются именно с необходимостью разложения значения слова на некоторые семантические элементы, существенные для отграничения данного значения от других, то есть подлежащие включению в словарное определение.

«В ряде очевидных и давно известных случаев,— писал Л. Ельмслев, — содержание знака легко раскладывается по такому же принципу, что и содержание выражения. Так, латинское именное окончание ***-ibus*** разлагается, с одной стороны, на четыре элемента выражения: ***i***, ***b***, ***u*** и ***s***, а с другой — на два элемента содержания: датив/аблатив и множественное число...

Указанный метод разложения содержания на элементы необходимо обобщить. Однако, для того чтобы упорядочить все лексические факты в соответствии с указанным принципом, предстоит выполнить чрезвычайно трудоемкую работу. Правда, большая подготовительная работа уже выполнена лексикографией: лексикографические определения одноязычных словарей являются

по сути дела первым важным приближением к решению поставленной задачи» [1].

Внимательное ознакомление с различными типами толкований, которые даются словам в толковых словарях, должно, как кажется, убедить в том, что всякое сколько-нибудь удовлетворительное словарное определение (в пределах одноязычных словарей) немыслимо без (по крайней мере — интуитивного) выделения таких элементов значения, которые имеют характер его дифференциальных признаков. Это можно пояснить на таком примере. Слово *бадья* определяется в «Словаре» С. И. Ожегова как «широкое, низкое деревянное ведро»; в свою очередь, *ведро* — это «сосуд цилиндрической формы с ручкой в виде дужки для ношения жидкостей, сыпучего», *сосуд* — «вместилище для жидкости, газа и т. п.», *вместилище* же — «место, сосуд, резервуар для вмещения, помещения чего-нибудь» [2]. Таким образом, устанавливается определенная иерархия слов по расчлененности их значений. Несколько упрощенно она может быть представлена в следующем виде: *вместилище* — оставляется без конкретной предметной характеристики и без указания на родовую принадлежность обозначаемого, будучи истолковано при помощи общего указания на его нахождение в пространстве («место») и на обусловленную самим назначением «предмета» «объемность» («для вмещения»); далее намечается такой ряд: *сосуд* — «вместилище» + определенное назначение («для жидкостей, газа и т. п.»); *ведро* — «сосуд» + определенная форма + определенное назначение; *бадья* — «ведро» + особая форма + материал. Словарные толкования строятся, таким образом, на известном соотнесении обозначаемых словами предметов действительности с другими предметами. При этом отмечаются те отличия,

---

[1] Л. Ельмслев, Можно ли считать, что значения слов образуют структуру, в сб. «Новое в лингвистике», вып. II, М., 1962, стр. 135; См. также W. Goodenough, Componential Analysis and the Study of Meaning, «Language», 1956, № 32, стр. 195—216 и др.

[2] Понятно, что введение в последнее толкование слов *сосуд* и *резервуар* остается здесь случайным, так как никак не заполняет всего смыслового объема слова.

В «Словаре...» под редакцией Д. Н. Ушакова дано такое определение: «место, вмещающее в себя что-н.».

которые существенны для отграничения данного обозначения от соотносимых с ним (например, *бадья* — это «ведро» определенной формы и сделанное из определенного материала, но безразлично, какого она цвета, чем она наполнена и т. д.; указание на форму и материал как бы дается самим обозначением предмета, в то время как цвет, содержимое и т. д. не являются в данном случае существенными его признаками).

Конечно, в толковых словарях можно нередко встретить и довольно непоследовательно организованные толкования. Например, в «Словаре» под редакцией Д. Н. Ушакова *дом* определяется как «жилое здание, строение», *здание* как «сооружение, архитектурная постройка», *постройка* — «то, что построено; сооружение, здание, строение», *строение* — «здание, постройка», *сооружение* — также «здание, постройка», то есть толкования в конечном счете отсылают от одного слова к другому, не выявляя их более общих предметно-смысловых связей. Преодолению «порочного круга» словарных толкований могло бы способствовать установление ограниченного списка слов, при помощи которых должны быть определены все остальные слова, помещенные в словаре[1]. Помимо того, что построенный по такому принципу словарь целесообразен с практической точки зрения, он мог бы представить известный интерес и для общей семасиологии и лексикологии, так как в определенном плане основывался бы именно на «элементном анализе» лексических значений, выделяя в них признаки, существенно необходимые для их отождествления и различения.

Среди лингвистов не существует разногласий в том, что язык является не только орудием, служащим для передачи мыслей, но и средством выражения эмоций, средством эмоционального воздействия. Эмоции могут быть выражены при помощи различных языковых средств: интонацией, строением фразы, подбором определенных слов и т. д.

Совершенно ясно, что различные слои лексики поразному используются с этой целью. Ср., например, та-

---

[1] См., например, M. Ph. West, The New Method English Dictionary (ряд изданий) — словарь английского языка, в котором с помощью 1490 слов объяснены 24 тысячи заголовочных слов.

кие слова, как *нейтрон, катет, здание, экскаватор, воздухоплавание, читать,* с одной стороны, и такие, как *печаль, казнь, милый, любить, тосковать, тунеядец, долой* и т. п. — с другой. Или такие, как *путешествие, битва, союз, цифра, проект* и т. д., и *вояж, баталия, альянс, цифирь, прожект* и т. д. Вряд ли подлежит сомнению тот факт, что эти слова не в одинаковой степени способны наполняться эмоциональным содержанием, по-разному выражают отношение говорящего к сообщаемому. Конечно, теоретически каждое слово при известных обстоятельствах может стать носителем эмоционального заряда; однако очевидно, что возможности слов неодинаковы в этом отношении с точки зрения их собственно языковой значимости. Смысловая направленность одних слов такова, что они чаще всего употребляются в контекстах, которые, как правило, не вызывают эмоционально-оценочных реакций со стороны участников речевого общения, в то время как другие слова, наоборот, по самому своему семантическому содержанию тяготеют к эмоционально-насыщенным контекстам.

Возникает вопрос: связано ли предметно-логическое содержание слова с экспрессивной значимостью последнего? Можно ли считать, далее, что значение слова определяется не только его предметной отнесенностью, но и эмоциональными моментами?

Следует заметить, что по этим вопросам высказывались самые различные мнения. Так, в ряде работ проводится выделение «эмоциональной лексики»[1], к которой относятся слова, вроде *любить, ненависть, гнев, красивый, плохой, раздражен* и т. п., наряду с суффиксальными образованиями типа *песочек, солнышко, миленький, малюсенький, здоровущий* и т. д. Можно ли объединять эти слова? Эмоциональная окраска таких слов, как *любить, ненависть* и т. д., целиком определяется их «предметной» направленностью, а именно тем, что данные слова непосредственно обозначают различные эмоции, настроения и т. д. Если считать эти слова как таковые «эмоциональными», то такое понимание

[1] См., например, Е. М. Галкина-Федорук, Современный русский язык. Лексика, изд. МГУ, 1954, стр. 136—137; А. М. Финкель, Н. М. Баженов, Современный русский литературный язык, Киев, 1954, стр. 85—87; В. И. Петровский. О дифференциации лексики современного русского языка, Львов, 19[illegible]

эмоциональных моментов в лексике будет основано не на лингвистических категориях, а на характеристике самих предметов и явлений. Выделение «эмоциональной лексики» при таком подходе является результатом предметно-тематической классификации слов, тогда как образования с уменьшительными и др. суффиксами включаются в ту же группу «эмоциональной лексики» на основании уже совсем иных признаков. Кроме того, определенного рода эмоционально-оценочные моменты могут быть объективно закреплены за словом. *Кляча* это не просто «лошадь», а «плохая лошадь», *вонять* не просто «пахнуть», а «дурно пахнуть», *прожект* не просто «проект», а «несбыточный проект», *мешанина* не всякая «смесь», а такая, которая кажется неоправданной, и т. д. Слово же *любить* обозначает чувство, которое в разных условиях может вызывать совершенно различное отношение со стороны говорящего, быть источником самых разнообразных эмоций у собеседников, так же как и такие слова, как *ненависть, гнев, красивый* и т. п., не говоря уже о том, что в целом ряде контекстов они выступают как эмоционально нейтральные знаки «отвлеченных» понятий и поэтому их противопоставление «отвлеченной лексике» не является безусловным.

Таким образом, необходимо различать, во-первых, слова, которые сами по себе обозначают определенные эмоции и переживания, имеют эмоционально-оценочные значения и т. д. (выделение этих слов производится в связи с предметно-тематической классификацией лексики); во-вторых, слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи словообразовательных средств, и, в-третьих, слова, в собственно лексическом значении которых заключена определенная оценка обозначаемых ими явлений. Только по отношению к двум последним группам слов было бы оправданным наименование «эмоционально окрашенная лексика», так как слова, обозначающие эмоции и т. д., не окрашены этими (или какими-то другими) эмоциями, а непосредственно отображают их своими значениями.

В то же время следует различать объективно и устойчиво закрепленную за словом «эмоциональную окраску» и эмоциональные наслоения, обволакивающие самые разнообразные по своей тематической принадлежности слова в определенных ситуациях.

Эмоциональные элементы, устойчиво закрепленные за словами, отчетливо обнаруживаются при сопоставлении последних с синонимами; ср. *кляча* и *лошадь*, *крохотный* и *маленький*, *по милости* (кого-то), *из-за* (кого-то) и *благодаря* (кому-то) и мн. др.[1]. Следует заметить, что более или менее устойчивая связь каких-то эмоциональных моментов со словом может быть и индивидуальной.

Субъективные ассоциации, связанные с какими-то словами, у отдельных носителей языка создают своего рода эмоциональный ореол вокруг слова, предопределяя его восприятие тем или иным носителем языка. Эти ассоциации часто возникают независимо от собственной семантики слова и от экспрессивно-стилистической значимости, присущей ему в общенародном языке.

Индивидуальное эмоционально окрашенное восприятие слова может быть обусловлено теми контекстами, в которых оно встретилось говорящему, ролью обозначаемых словом предметов и событий в его жизни, случайными звуковыми сближениями и т. д. Следует заметить, что в определенных условиях эмоциональное восприятие слова может стать общим для целой группы говорящих.

Вот некоторые из возможных примеров.

Описывая бегство из Одессы временно скрывшихся там от революции различных представителей старого общества, А. Толстой в «Похождениях Невзорова» так говорит об эмоциональном звучании слова *эвакуация*:

«Выдумали же люди такое отвратительное слово — «эвакуация». Скажи — отъезд, переселение или временная, всеобщая перемена жительства, — никто бы не стал, вылупив луковицами глаза, ухватив узлы и чемоданы, скакать без памяти на подводах и извозчиках в одесский порт, как будто сзади за ним гонятся львы.

«Эвакуация» в переводе на русский язык значит «спасайся, кто может». Но если вы — говорю для примера — остановитесь на людном перекрестке и закричите во все горло: спасайся, кто может! — вас же и побьют в худшем случае.

---

[1] Ср. S. Ullmann, The principles of semantics, Glasgow — Oxford, 1957, стр. 98 и сл.

А вот — не шепните даже, прошевелите одними губами магическое, *ибикусово* слово: «эвакуация» — ай, ай, ай!.. Почтенный прохожий уже побелел и дико озирается, другой врос столбом, будто нос к носу столкнулся с привидением. Третий ухватил четвертого:

— Что такое? Бежать? Опять?

— Отстаньте. Ничего не знаю.

— Куда же теперь? В море?

И пошло магнитными волнами проклятое слово по городу».

В повестях Нилина «Жестокость» и «Испытательный срок», посвященных сибирской действительности начала 20-х годов, рассказывается об эмоциональном восприятии отдельных слов в то время известной частью молодежи. Например:

«Мы поели. Она заспорила со мной, желая уплатить за свой обед. Но я сказал, что это — мещанство, и она успокоилась. Мещанство — это было такое слово, которое пугало многих в ту пору. И им, этим словом, обозначались иногда понятия, ничего общего не имевшие с подлинным мещанством» («Жестокость»).

«— Вы скажите конкретно, чего я напорол? — взъярился Зайцев. — Конкретно скажите... — Оно тогда только входило в моду, это слово — конкретно, пришедшее в быт от политики, от яростных митинговых речей. Не всем еще ясен был его точный смысл, но почти все хотели его произносить» («Испытательный срок»).

Противоречия в характеристике эмоционально-оценочной лексики отчасти вызываются также тем обстоятельством, что и жанрово-стилистическая сфера употребления слов, и их принадлежность к определенным профессиональным разновидностям языка могут сказываться на эмоциональном восприятии этих слов в известных контекстах. В связи с этим допустимо нерасчлененное противопоставление «нейтральных» слов и слов, имеющих ту или иную экспрессивно-стилистическую окраску, то есть, помимо чисто «предметной» информации, заключающих в себе какие-то указания на отношение говорящего к обозначаемым данными словами явлениям, сигнализирующих о том, в каких условиях происходит речевое общение, наконец, известным образом характеризующих самого говорящего с различных сторон.

Таким образом, в составе «окрашенной» лексики находятся слова, выполняющие различные экспрессивно-стилистические функции; в ряде случаев эти функции перекрещиваются или как бы наслаиваются одна на другую.

Так, слова, в самом значении которых заключена определенная экспрессивная оценка называемого предмета или явления, часто оказываются одновременно и стилистически окрашенными, то есть связанными с определенными условиями речевого общения. Например, такие слова, как *болтать, миндальничать, хлипкий, всезнайка, хламида* и др. под., не только выражают определенное отношение к называемому, но и сигнализируют об определенном стиле речи. Слова же с определенной стилистической значимостью легко приобретают эмоционально-оценочные оттенки; ср. хотя бы ироническое применение целого ряда архаизмов, относящихся к «высокой», книжной лексике, таких, например, как *лицезреть, шествовать, пожаловать, велеречивый* и т. п. Диалектные, профессиональные, просторечные слова не только характеризуют определенным образом говорящего, но и могут выступать в качестве экспрессивных средств языка, как бы преодолевающих «автоматизм» нейтральной (стилистически) речи. Характерна в этом отношении роль жаргонных слов и выражений[1] с присущей им недолговечностью, обусловленной тем же стремлением говорящих к экспрессии — к преодолению автоматизма посредством обновления лексического репертуара. Понятно, что экспрессивность жаргонных средств как таковых не свидетельствует об экспрессивности самой включающей их речи. Ср. автоматически одностороннее применение жаргонизмов в речи героев водевиля Вл. Дыховичного, М. Слободского и Вл. Масса, Мих. Червинского «Гурий Львович Синичкин»: «Пустославцев: Начинаем, товарищи! Все на месте? Налимов: В основном почти все. Пустославцев: Как с оркестром? Дирижер: С лабухами лажаво! Налимов: Он

[1] Ср. типичное высказывание критика о языке героев В. Аксенова: «... В. Аксенов демонстрирует свои обширные познания в полублатном жаргоне (в противовес «казенному», бюрократическому языку!)» (Л. Крячко, Герой не хочет взрослеть, «Литературная газета», 19 марта 1963 г.). Типично здесь противопоставление «полублатного жаргона» «казенному, бюрократическому», то есть, по существу, литературно нормированному языку.

говорит: с оркестром плохо. Пустославцев: В чем дело? Дирижер: Вчера лабали жмурика, заимели башли, похиляли к чувихам и накирялись! Пустославцев (Налимову): Переведите! Налимов: Лабали жмурика — играли на похоронах, заимели башли — получили деньги, похиляли к чувихам — пошли к девушкам — и накирялись. Пустославцев: Накирялись? Опять накирялись? Переведите ему — где первая скрипка? Дирижер: Прихиляет через десять минут — лабает на мотор».

Не останавливаясь подробно на экспрессивно-стилистических функциях различных групп лексики, контекстных условиях реализации этих функций, их взаимозависимости и т. д., мы должны попытаться ответить на следующий вопрос: чем же, по существу, является то, что именуется экспрессивно-стилистической «окраской» слова; включается ли эта «окраска» в семантику слова?

Совершенно ясно, что «предметное» значение слова, его понятийное содержание, качественно отлично от тех эмоциональных, экспрессивных и стилистических моментов, которые могут быть связаны с данным словом. Подчеркивая этот в общем бесспорный факт, В. А. Звегинцев в своей книге по семасиологии высказывает ряд интересных соображений, касающихся соотношения «экспрессивно-эмоциональных элементов» слова с его лексическим значением. Вместе с тем исследователь с непонятной настойчивостью возражает против того понимания «значения», согласно которому в него, наряду с предметным содержанием, включаются и эмоциональные моменты. Что предметная направленность слова не совпадает с его стилистической прикрепленностью, не вызывает сомнения. Но ведь вопрос о том, что следует считать «значением» слова, является в значительной мере терминологическим вопросом, и его решение зависит от того определения, которое дается «значению».

Тот же К. О. Эрдман, которого критикует В. А. Звегинцев, различал три момента в значении слова: 1) понятийное содержание (*begrifflicher Inhalt*), 2) побочное (контекстное) значение (*Nebensinn*) и 3) эмоциональную значимость (*Gefühlswert*) [1]. Такое понимание значения

[1] K. O. Erdmann, Die Bedeutung des Wortes, Leipzig, 1925 (4 изд.), стр. 107.

слова нашло признание в ряде последующих исследований по семасиологии (Г. Шпербер и др.). Можно согласиться с В. А. Звегинцевым, что «оба эти элементы языка — предметно-логический и экспрессивно-эмоциональный — сосуществуют относительно независимо друг от друга (хотя и могут пересекаться и совпадать), и — самое главное — в своем развитии (а также и функционировании) они могут подчиняться разным закономерностям»[1]. Говоря об относительной независимости этих элементов, В. А. Звегинцев не отрицает, следовательно, какой-то их взаимосвязи, которая, нужно полагать, относится именно к смысловой стороне слова. Ведь, видимо, бесспорно, что «экспрессивно-стилистическая окраска» слова — это не окраска слова как звукового комплекса, а та призма, сквозь которую воспринимается «смысл», связанный с данным звуковым комплексом. Трудно в настоящее время усомниться в необходимости различения «предметно-логического» содержания слова и его экспрессивно-стилистической окраски, а также в необходимости отграничения случаев индивидуального и контекстного экспрессивно-стилистического употребления слова от устойчиво закрепленных за ним экспрессивно-стилистических функций. Однако никому не придет в голову рассматривать последние независимо от предметного значения слова; почти столь же нереально, в конечном счете, изучение значений слова без учета возможностей его применения, то есть его стилистического диапазона. Сказать, что, например, глаголы *грясти* и *шествовать* или *дезавуировать, денонсировать* и т. п. имеют такие-то значения без определения их стилистической роли, это значит, по существу, отказаться именно от их семантического определения, подменив его приблизительной формулой предметно-понятийных сопоставлений. Не говоря уже о том, что экспрессивно-стилистические элементы слова всегда известным образом окрашивают и самое восприятие его смысла, они влияют и на его соотношение с другими лексико-семантическими единицами языка, то есть небезразличны для структуры тех семантических рядов, в которые входит данное слово.

[1] В. А. Звегинцев, Семасиология, изд. МГУ, 1957, стр. 185.

Для того чтобы избежать недоразумений, следует повторить, что предметное значение слова и его стилистическая окраска (или, может быть, лучше сказать значимость, — поскольку термин «окраска» звучит несколько метафорически и не предполагает соотнесения именно с внутренней, смысловой, а не внешней, звуковой, стороной слова) — разные категории, они неодинаково обусловливают «лексическое» значение слова. Поэтому, по-видимому, действительно целесообразнее, говоря о «лексическом значении», включать в это понятие только те экспрессивные элементы, которые устойчиво и однозначно характеризуют самое явление, которое отображает слово (*кляча, донос, гордыня, хлипкий, уплетать* и т. п.), не включая в него тех стилистических элементов, которые характеризуют стиль и назначение речи или говорящих (архаизмы, диалектизмы, профессионализмы и т. д.[1]). При этом не нужно забывать и об известной «взаимопроницаемости» этих компонентов внутреннего содержания слова, и возможном перераспределении их функций в определенных контекстах. Характерно, например, использование стилистически окрашенных слов с дополнительной экспрессивно-смысловой нагрузкой при такого рода противопоставлениях:

«Нет, не *ресницы* славлю я, но *вежды,*
Не *взгляд*, но *взор* сестры моей Надежды,
И светлыми словами неустанно
Уста и *очи* славлю у Светланы.
Ланитами я *щеки* назову,
Румянец Веры вспомнив наяву,
И называю *пальцы* я *перстами,*
Над пяльцами увидев руки Тани».

(С. Наровчатов, Северные Ярославны)

При рассмотрении изменений, происходящих в семантической структуре слов, мы обнаруживаем определенную зависимость направления этих изменений от общей экспрессивно-эмоциональной значимости соответствую-

---

[1] Ср. точку зрения Ш. Балли, который различает две группы факторов, определяющих «эмотивное значение» слов: внутренние (эмоциональные возможности самого слова) и внешние (специальная окраска, присущая иноязычным словам, архаизмам, профессионализмам; просторечным и жаргонным словам и т. д.) (см. Ch. Bally, Traité de stylistique française, Geneva — Paris, 1951. В русском переводе: Ш. Балли, Французская стилистика, М., 1961.)

щих слов, так же как и от их стилистической прикрепленности. Например, *баловати* в древнерусском языке значило «врачевать, лечить» (*балии* — «врач»), также «заговаривать» (ср. *баяти* — «рассказывать басни, выдумки», *обаяние*). Можно полагать, что выдвижение эмоционально-оценочных моментов как существенных для осмысления слова (в конечном счете, обусловленных оценкой самих обозначаемых действий) и явилось причиной изменения его лексического значения. Существительное *дрязга*, значившее в древнерусском «густой лес» (типичны словосочетания, вроде «дьбри и *дрязги*» и т. п.), могло приобрести современное значение в силу его именно эмоционально-образного осмысления. Слово *вертеп* развило свое значение из первоначального «пещера», которое не имело отрицательной окраски (ср. в «Похвале Феодосию» — о «святых отцах», которые «вселишася в горы и *вьртьпы* и в пещеры земныя»). Выдвижение на первый план первоначально несущественного элемента значения слова («пещера» — как «скрытое место»), в связи с изменившимися контекстами его употребления, обусловило и его окончательное образное переосмысление (в «Толковом словаре...» под редакцией Д. Н. Ушакова современное значение слова раскрывается так: «притон, место разврата и преступлений»).

Появление в семантике слова эмоционально-оценочных элементов, если они устойчиво закрепляются за словом, приводит к более или менее заметным сдвигам в его соотношении с другими словами и, как неизбежный результат, к изменению его собственной семантической структуры. Можно вспомнить об истории глагола *разорить* в русском языке. В древнейших текстах ему присуще значение «разрушить, уничтожить, отвергнуть», которое приложимо к разнообразным действиям, как к тем, которым дается отрицательная оценка, так и к тем, которые оцениваются положительно, например, *разорити идолы, вражду, ересь, козни* и т. д.; ср. в «Житии» протопопа Аввакума (XVII в.): «всяко тщится *разорити* и обличати неправду». Употребление слова применительно к ситуациям, в которых «разорение» должно было восприниматься с отрицательной стороны, с течением времени оказалось преобладающим. Одновременно происходило семантическое отмежевание глагола от других глаголов, употреблявшихся параллельно с ним (*разру-*

шить и т. д.), также и в отношении охватываемых действием объектов. Глагол стал служить главным образом для обозначения таких действий, которые выражались в разрушении материальных ценностей. Отсюда появилась возможность метонимического применения слова и последовало выдвижение на первый план значения «разрушить чье-нибудь материальное благополучие, довести до нищеты», которое и фиксируется в словарях современного русского языка как первое значение глагола *разорить*.

Перераспределение элементов значения слова в ряде случаев является очевидным следствием изменения роли тех контекстных «оттенков значения», которые сопутствуют слову при его разнообразном употреблении. Становясь существенными семантическими признаками слова, некоторые из этих «оттенков» в дальнейшем могут приобретать главенствующее положение в семантической структуре слова. Показательно в этом плане семантическое расхождение в современном языке ряда близких по словообразовательной форме слов, как, например, *усвоить* и *присвоить*, имевших первоначально значение «сделать своим», «присоединить».

В качестве существенного семантического признака первого из них закрепилось отношение к «нематериальным» объектам, в качестве существенного признака второго — указание на произвольность, «незаконность» действия (при отражении предшествующей семантики этих слов в их фразеологически связанных — и стилистически ограниченных — значениях, проявляющихся в такого рода словосочетаниях, как *присвоить звание, присвоить имя* и *организм усвоит пищу* и т. п.).

Интересна история слова *дряхлый* в русском языке. Первоначально оно значило «печальный, грустный» и в таком значении в течение длительного времени употреблялось в средневековой русской письменности. В «Изборнике Святослава» 1076 г. (переписанном с южнославянского памятника): «и видѣхъ яко опечали ся и отиде *дряхлъ*». В «Просветителе» Иосифа Волоцкого (русского автора конца XV — начала XVI в.); «дряхлъ буди и веселъ, печаленъ и радостенъ» (по списку XVI в.). Однако в XVII в., по-видимому, происходит перераспределение семантических элементов слова — на первый план выдвигается представление о внешних проявлениях,

а затем и причинах печального состояния; в XVII—XVIII вв. за словом окончательно закрепляется значение «немощный (от старости)», которое свойственно ему и в современном языке. В документе 1666 г. оно употреблено в таком контексте: «И нынѣ государь, насъ въ Охотцкомъ острогѣ, старыхъ и малыхъ и дряхлыхъ и цынжалыхъ, всѣхъ числомъ тридцать человѣкъ...» Ср. в повести о Ерше Ершовиче XVII в. (дошедшей в списке XVIII в.): «Дает ответ мень рыба: «Я не иду, стар велми, дряхол, ходить не могу, с боярами говорить не умею». В XVIII в. обычны словосочетания: «стар и дряхл», «стары и дряхлы».

Семантические изменения, как уже говорилось выше, обычно зависят от многих условий. Далеко не всегда роль отдельных конкретных факторов того или иного семантического изменения может быть установлена со всей определенностью. Решающим фактором является, конечно, историческая и социальная действительность, которая предопределяет и необходимость тех или иных обозначений, и их окраску, и роль различных диалектных и социальных групп носителей языка в назывании различных предметов и явлений. Нужно отметить также, что в самой семантической структуре (в широком понимании) слова, которое используется, скажем, для обозначения нового предмета, иногда легко обнаружить такие элементы, которые определяют возможность его перенесения. Не всегда эти элементы включаются в лексикографические определения слов, но обычно они так или иначе отражаются в особенностях употребления последних. Например, такое определение значения слова *молния*, как «разряд атмосферного электричества в воздухе, обычно в виде огненного зигзага» («Толковый словарь...» под редакцией Д. Н. Ушакова), не указывает на возможность применения слова для обозначения срочной телеграммы или выпуска стенной газеты. Однако не отмеченный в словарном определении признак «быстроты», который, может быть, действительно не существен для семантики слова в его основных лексико-семантических противопоставлениях, оказался именно на первом плане при его метафорическом переносе. А то, что этот признак присущ самому слову, показывают такие факты языка, как образование *молниеносный* и устойчивое сочетание *с быстротой молнии*.

Постепенное закрепление за словом «переносного» значения может вести к вытеснению и забвению его «прямого» значения. Но самое соотношение между «прямым» и «переносным» значениями слова, обычно воспринимаемое говорящими как соотношение между «первичным» и «вторичным» значениями, — не остается неизменным. Поэтому существенным является разграничение синхронического и диахронического планов при изучении семантической структуры слов. Согласно довольно распространенному взгляду, «во всех языках» существует «общая тенденция движения (в семантических изменениях. — *Д. Ш.*) от конкретного к абстрактному, а не наоборот (или очень редко наоборот)»[1]. Многие факты языка противоречат этому утверждению. То, что многие «переносные» значения слов в то же время являются более абстрактными, чем их «прямые» значения, — это несомненно. Однако изменения в семантической структуре слова движутся и в ином, противоположном направлении. Ср.: отглагольные существительные, у которых наряду со значением действия развилось значение результата действия. Например, слово *удобрение* (*удобрить* и т. п.), имеющее в современном языке «конкретное» значение, приобрело его сравнительно поздно. В применении к сельскому хозяйству оно впервые, судя по материалам картотеки древнерусского словаря, начинает употребляться в XVIII веке. Так, в сочинении Болотова «Сельский житель, экономическое в пользу деревенских жителей служащее издание» (ч. I, 1778 г.) находим: «Один из них желает что-нибудь слышать о хлебопашестве, другой о *удобрении* и поправлении земель; третьему в некоторых обстоятельствах, касающихся до лесов, совет потребен...»; «Унавоженные и удобренные пашни не навсегда остаются хорошими...» В древнерусских текстах данное слово встречается в более отвлеченных и общих значениях «украшение», «улучшение» и т. п. В «Стихирах Борису и Глебу» (список 1156—1163 гг.): «вѣрьныимъ людьмъ теплая заступьника, земля руськыя удобрение, вьсея вьселеныя наслажение». В «Киево-Печерском патерике» (список XV в.) о Феодосии сказано: «Удобренье мнихомъ, путь спасения человѣкомъ тый

[1] G. Bonfante, On Reconstruction and Linguistic Method, «Word», 1945, I, 2, стр. 132.

бысть». Аналогичные примеры многочисленны в памятниках. Таким образом, семантическое движение слова было от абстрактного к конкретному. Это происходило и в ряде других случаев.

Более абстрактное значение было вытеснено более конкретным у слова *орудие*. В древнерусском языке это слово имело значение «дело»: «Тако по всему словеси и *орудию* помощникъ ему бысть» (Лобковский Пролог, XIII в.) [1]; «Святослав же нелюбьемь рче ему: брате и свату, ажь ты идешь изо очины своея на свое *орудье*, а азъ паки иду за Днѣпръ своихъ деля орудѣй» (Ипатьевская летопись, список ок. 1425 г.). Ср. в польском приобретение словом działo (родственное с русским *дело*) значения «орудие; пушка».

У слова может сохраняться и прежнее, более абстрактное и общее значение. Соотношение, устанавливаемое тогда между старым и новым значениями слова, далеко не всегда соответствует соотношению: прямое номинативное — переносное значение. Напротив, именно первичное с исторической точки зрения значение нередко воспринимается как какая-то реализация метафорических возможностей более конкретного значения, приобретающего характер семантической основы слова.

Поэтому и синхронно действующее соотношение между различными значениями слова часто никак само по себе не может свидетельствовать об историческом развитии его семантики.

Если в современном русском языке, например, слово *жажда* имеет «основное», «прямое» значение, определяемое как: «желание, потребность пить при ощущении сухости в глотке и во рту, позыв к питью» («Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова), и «переносное»: «необыкновенно сильное, страстное желание» (Там же), — то это не значит, что первое является «первичным», а второе «переносным» с исторической точки зрения. Напротив, рассматривая употребление этого слова в древнерусских текстах, мы не только видим достаточную древность его второго («переносного» для современного языка) значения, но и с известной долей вероятности можем предположить исконность имен-

[1] В другом списке Пролога (нач. XIV в.): «Словеси и дѣлу помощникъ».

но этого значения, — более общего и более абстрактного. Показательно в этом отношении частое употребление слова *жажа* с определением *водный*, свидетельствующее о том, что значение «желание пить» не являлось еще «основным» значением слова, или, во всяком случае, отражающее наличие у него (т. е. слова *жажа*) более широкого значения в прошлом. Соответствующие примеры многочисленны в древнерусских памятниках: «и не стерпѣвъ жажа водныя, нача вопити помилуите мя бога ради, се оумираю безводиемь» (Киево-Печерский патерик, 1222—6 гг., сп. 1406 г.; «людье изнемогоша водною жажею и предашася» (Лаврентьевская летопись, 1377 г.); «они же бьяхутся излазящи из града не брани дѣля, но жажы ради водныя, измираху бо мнози людье в градѣ». (Там же); «и изнемагати начаша людье в градѣ водною жажею и голодомъ» (Там же); «друзии гладомъ оумаряеми и водною жажею» (Там же) и под. Ср. значение соответствующего глагола: «обои бо еще жадахуть боя, и свадишася стрѣльци ихъ» (Ипатьевская летопись, ок. 1425 г.) и др. Об этом же свидетельствуют соответствия данного слова в родственных языках [1]. Таким образом, «метафорическое» употребление слова *жажда* в современном языке [2] генетически оказывается не «вторичным», а «пережиточным». Оно не возникло в языке на основе метафоризации слова, а отражает прежнее — более широкое и абстрактное — значение слова. Сохранение «объектного» определения (*водный*) показывает, что это более абстракное значение (*жажа* — «желание») сосуществовало в эпоху древнейших памятников с его «конкретизированным» видоизменением (*жажа* — «желание воды»), которое постепенно закрепилось за словом как его особое и основное значение.

Испанский лингвист Т. Рестрепо отмечал в свое время, что «затемнение метафоры порождает любопытное явление — *контраметафору*». Так, Цицерон был уверен, что такие слова, как *gemma* = «жемчужина», *luxuries* = «роскошь», *laetus* = «веселый», выступают в

---

[1] См. этимологические словари, составленные Преображенским (стр. 220), Фасмером (т. I, стр. 409).

[2] Например: «...С свинцом в груди и *жаждой* мести...» (Лермонтов, Смерть поэта); «...*жаждой* вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир...» (Бунин, Братья) и т. п.

своем прямом значении. Поэтому, отметив эти слова у крестьян, он считал, что последние также употребляют метафоры. Между тем в речи крестьян эти слова и выступали в своем первоначальном «прямом» значении [1] (*gemma* = «почка»; *luxuries* = «пышный рост», «пышная растительность», *laetus* = «плодоносный, обильный»). Итальянский ученый Б. Мильорини связывает с контраметафорой явление, названное им *взаимной метафорой* (metafora reciproca). Например, Кальдерон говорит о звездах — как о «цветах ночи» и, наоборот, о цветах — как о «звездах дня» [2].

При освещении истории слова нельзя переносить современное ощущение связи между «исходным» и «метафорическим» значениями слова на его прошлое. Те изменения в значении слов, которые определяются обычно как их метафоризация, не всегда могут быть правильно поняты без учета возможности своеобразной реметафоризации, или обратной метафоризации. Переносное употребление слова, ведущее к закреплению у данного слова нового значения, может явиться источником новой языковой метафоры, в том числе, при забвении или частичном вытеснении первоначального «прямого» значения, — источником обратной метафоры, как бы возвращающей слово к его прежнему (или близкому) значению. Для исторической лексикологии это обстоятельство весьма существенно. «Переносное» и «вторичное» с точки зрения современного языкового восприятия значение слова *жажда* — «сильное желание» — в историческом плане оказывается, как мы видели, остатком более древнего «первичного» значения (при этом сохранение его в литературном языке конца XVIII — начала XIX века, по-видимому, подкреплялось перекрестным влиянием семантической системы французского языка, ср. аналогичное «переносное» употребление французского слова *soif*.). Другой пример обратной метафоры являет в современном языке слово *течь*. Употребление этого глагола в таких выражениях, как «Вы помните: *текла* за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались...» (Пушкин, Была пора: наш праздник молодой...);

[1] T. Restrepo, El alma de las palabras, Barcelona, 1917, стр. 82—83.

[2] B. Migliorini, La metafora reciproca, «Saggi linguistici», Firenze, 1957, стр. 23—30.

«*Текут* людские толпы» и т. п. — воспринимается как явно метафорическое. В то же время очевидно, что генетически это не «переносное» употребление слова в полном смысле, а своеобразный пережиток его прежнего значения. Как показывают соответствия в индоевропейских языках [1], значение данного глагола первоначально не имело того специализированного ограничения (отношение к жидким телам), которое оно получило в современном русском. Следует заметить, что определенное ограничение смыслового «объема», та или иная «специализация» — вообще характерны для ряда глаголов движения в русском языке [2]. Эта «специализация», видимо, достаточно рано наметилась и для славянского глагола *тещи — течи* (ср. значение слова *источьникъ* в древнейших славянских памятниках), но она, как кажется, еще не разрушила целостности его более общего и более «широкого» значения (заметим, в частности, что греческое τρέχω «бегу, бегаю» переводится, например, в Остромировом евангелии глаголом *текоу*). Сохранение этого значения («бежать, быстро двигаться») наряду со значением «течь, литься» в древнерусских текстах [3], а также в современных славянских языках (болгарском, словенском; ср. также значения литовского *teketi* и латышского *tecet*) свидетельствует о том, что современное «метафорическое» употребление глагола *течь* не является следствием собственно метафоризации, а остаточно отражает его древнейшее, более «широкое» значение. Но в плане синхронии оно закономерно рассматривается именно как «переносное», так же соотносящееся со зна-

---

[1] См. Vasmer, III, 89.

[2] Ср., например, значения глагола *идти* в современном и древнерусском. То значение, которое представляется основным в современном языке, то есть «двигаться, перемещаться, ступая, делая шаги (о человеке и животном)» («Толковый словарь...» под ред. Д. Н. Ушакова, I 1266), не оформилось еще в древнерусском: «и тако идяхоу на конихъ и на санехъ» (Ипатьевская летопись, ок. 1425 г.); «Святославъ же идяше в лодьяхъ» (Там же).

[3] Например, у Кирилла Туровского: «старци быстро шествоваху... отроци скоро *течаху*...» Как явный славянизм глагол в этом значении встречается и у писателей XVIII и начала XIX века: «*Теки* ж, любимец муз! ...*Теки* и, презря яд зоилов злоязычных, В опасном поприще ты бег свой простирай... (Капнист, В. А. Озеров). Ср. у Пушкина: «Но человека человек Послал к анчару властным взглядом: И тот послушно в путь *потек* И к утру возвратился с ядом» («Анчар»).

чением *течь* в «ручеек течет», как значения современного глагола *бежать* в «ручеек бежит» и «мальчик бежит».

Еще более резко различие между синхронным восприятием «метафоричности» определенного употребления слова и исторически складывавшимся развитием его значений выступает в производных от данного глагола. Так, например, те толкования, которые даются глаголам *стечься — стекаться* в словарях современного языка [1], не соответствуют семантической истории слова. То значение, которое определяется как «переносное», являлось, по-видимому, основным для более древнего периода. Во всяком случае, в древнерусских письменных памятниках слово *сътечися — сътещися* встречается только в значении «сойтись, собраться», «сойтись, сшибиться» («Материалы...» И. И. Срезневского, III, 843), например: «по преставлении же его слышавше вси людье града Володимеря стекошася на дворъ его и плакашася по нем плачем вельим» (Лаврентьевская летопись). В современном языке употребление слова в этом значении, естественно, воспринимается как языковая метафора.

Любопытным примером аналогичного семантического «переразложения», совершающегося на наших глазах, является судьба слова *трущоба* в литературном языке. Толковые словари современного русского языка (по-видимому, в противоречии с непосредственным ощущением большинства носителей литературного языка, особенно из городского населения) в данном случае дают «историческое» соотношение значений; например, в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (изд. 1952 г.): «*трущоба, -ы, ж.* 1. Труднопроходимое место (напр., лес с буреломом)... 2. *перен.* [2] Глушь, захолустье, а также грязная, тесно застроенная часть капиталистического города, обычно на окраинах, где живет беднота». Подобная подача значений вскрывает историю слова, но не отражает того факта, что в современном литературном

---

[1] «1. Соединиться (о текущем). *Струи стеклись в один поток.* 2. *перен.:* Скопиться, столпиться, сойтись в одном месте. *Огромные массы народа стеклись на площадь*» («Толковый словарь...» под ред. Д. Н. Ушакова, т. IV, стр. 516). Так же в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, 1960, стр. 757.

[2] В 4-м издании «Словаря...» (1960 г.) помета «переносное» снята.

языке «переносное» значение слова закрепляется как его основное значение и, напротив, в сочетании «лесная трущоба» оно предстает уже каким-то подобием метафоры: «Главным занятием четырех братьев были великие кровавые подвиги против местных разбойников, населявших мрачные дебри наровчатских лесов. — И бог мой! — что это были за богатырские подвиги, военные хитрости, ночные засады, перестрелки, ночлеги в лесных трущобах у костров!» (Куприн, Храбрые беглецы). Характерно, что относительное определение не требуется при употреблении слова в его новом значении: «И бурчало у трущоб в утробе, покрывая детвориный плачик: — Под работу, под винтовку ль, на́ — ладони обе! Приходи, заступник и расплатчик!» (Маяковский, «Владимир Ильич Ленин»); «К ночи Векшин был пьян. На окраине, в гадкой трущобе лил он на свою боль, раскачиваясь и задыхаясь, острый припахивавший падалью напиток...» (Л. Леонов, Вор) и т. п.

Как характерный пример обратной метафоризации может, по-видимому, рассматриваться история слова *застрять*. А. И. Соболевский связывал (и, как кажется, не без основания) это слово с корнем *стряп-*, «который является в русских *стряпать* с производным *стряпчий*...»; древнее значение, по мнению А. И. Соболевского, «может быть восстановлено в виде: возиться долго на одном и том же месте...» [1]. Если принять во внимание значение слов с корнем *стряп-* в древнерусском языке, — это объяснение кажется гораздо более правдоподобным, чем сближения со словами *встретить* или *стреха* [2]. В «Материалах» И. И. Срезневского отмечены следующие глаголы с этим корнем: *стряпати* «медлить» (III, 573), *стряти, стряпу* «медлить» (III, 574), *устряти устряпу* «замедлить», «замешкаться» (III, 1290), *устряпати* «замедлить» (III, 574), *постряти, постряпу* (?) «замедлить, застрять» (II, 1269), *перестряпати* «переждать» (II, 915). Любопытны лексические варианты к слову *устряти* в разных списках Пролога (в житии Аввакума, 2 декабря): «и рече своимъ сы: азъ иду далече, и, аще замужю, принесете пищю жьнь-

[1] А. И. Соболевский, Мелочи, «Русский филологический вестник», т. 66, стр. 349.

[2] См. также Vasmer, I, 444.

чемъ» (Лобковский Пролог, XIII в.); «и рече своимъ: се азъ иду далече и, аще умедьлю, принесете пищю женцемъ» (Пролог начала XIV в.); «и рече домашнимъ: азъ иду далече, аще же устряпу, изнесѣте вы пищю женцемъ» (Пролог из Юрьевского монастыря, XIV в.).

Если указанная этимология слова *застрять* является правильной, то его «переносное» употребление в современном языке («оставаться, задерживаться где-либо») является ярким примером обратной метафоры. Другими словами, когда оно употребляется в таких, например, случаях, как: «Вздумалось ему прокатиться по новой еще тогда железной дороге, сел, поехал, попал в Петербург да там и *застрял* на целый месяц» (Мельников-Печерский, На горах), «И неизменно отныне опаздывал к невесте, всякий раз *застревая* в пути по секретной и, значит, подпольной оказии» (Л. Леонов, Вор), — то это вторичное и образно-переносное с точки зрения синхронной системы языка применение слова — оказывается исторически основным и первоначальным. Таким образом, изменения в значениях слова смещают соотношения между «прямыми» номинативными и «переносными» значениями, причем последние, являясь «переносными» с точки зрения современного восприятия, — не всегда, как мы видели, являются таковыми в плане реального исторического развития лексики.

Изменение в семантике слова, происходящее в результате прикрепления слова к более конкретному и «специальному» действию или явлению, неизбежно в той или иной мере влияет и на его прежнее, более «широкое» значение. Когда это последнее сохраняется, оно или начинает восприниматься как метафорическое перенесение нового значения (приобретая, естественно, и новые смысловые и экспрессивно-эмоциональные оттенки), или же, даже сохраняя свою, так сказать, номинативную самостоятельность, оно все-таки нередко испытывает определенное семантическое воздействие со стороны нового, более активного по своей употребительности значения. Так, например, значение слова *куриться* в современном литературном языке: «выделять легкий дымок или дымку пара, тумана» («Толковый словарь...» под ред. Д. Н. Ушакова) — подверглось воздействию со стороны наиболее распространенного значения слова *ку-*

рить, что и сказалось на определенной его «ослабленности» («выделять легкий дымок» и т. д.). Ср. употребление *куритися* в древнерусских текстах; например у Кирилла Туровского: «и си гора святѣиши Синаискыя горы... на Синаискую бо сшедъ, вся устрашаше, зане огнемь *курящеся* гора, молнья же и громи приступающая к горѣ умьрщвяху...»

Весьма существенным для правильного понимания семантической структуры языка является вопрос о тех «метафорических» кальках, которые возникают в соответствии с определенными иноязычными словами и выражениями.

Во многих церковнославянских и связанных с ними по содержанию древнерусских текстах обращает на себя внимание преобладающее или исключительное употребление некоторых слов в расширенно-метафорическом значении. Было бы ошибочным полагать, что все эти слова явились литературным приспособлением существовавших в славянских языках слов конкретного, «бытового» содержания для выражения отвлеченных понятий. В ряде случаев более правдоподобным представляется предположение о прямом калькировании соответствующих греческих обозначений. При этом любопытно, что дальнейшая судьба некоторых из этих калек определялась их частичной «деметафоризацией», то есть их употреблением для выражения тех конкретных явлений, с которыми оказывалась соотнесенной их «внутренняя форма». Так, например, глагол *искоренити* образован в соответствии с позднегреческими (новозаветным) ἐκ-ριζόω (ῥίζα — «корень»). В древнейших памятниках он употребляется только «метафорически»: в значениях «вырвать с корнем» (зълобы вещь вьсю искоренилъ еси» — Минея, 1096 г.), «изгнать», «погубить» — см. «Материалы...» И. И. Срезневского (I, 1117—1118); ср. также «Святополкъ Изяславич много насилие створи и домы силных искорени безъ вины» (Киево-Печерский патерик, 1222—1226 гг., сп. 1406 г.); «ти бо суть не мене одиного хотѣли убити, но вас искоренити» (Лаврентьевская летопись) и мн. др. Аналогичное употребление продолжается и в позднейших памятниках.

Но вместе с тем «внутренняя форма» слова в определенных стилях древнерусской письменности (например, в проповеднической литературе) явилась основа-

нием для вовлечения слова в образную символику произведений, использующих «образное» значение слов для построения развернутых метафор, основанных на сложных семантических противопоставлениях и перифразах. Например, у Кирилла Туровского: «Христос... связанъ бысть и терниемь вѣньчанъ, да разрѣшить от узъ дьяволь человѣкы, и терние прельсти вражия искоренитъ». Обнаружение «внутренней формы» слова путем его сталкивания со словом *терние* (употребленном здесь и в прямом, и в образно-символическом значении), естественно, приближало его к той конкретной сфере употребления, с которой оно было связано, так сказать, только словообразовательно. И не лишенным, как кажется, основания было бы предположение о том, что то «конкретное» употребление данного слова, которое можно отметить в некоторых более поздних памятниках, явилось следствием именно такой его литературной «конкретизации», а не проявлением первоначального прямого значения. Вот несколько соответствующих примеров: «В то же время за умножение воды, еще же и ограды садовные разбиени быша, и иже в нихъ древеса плодовита много искоренена отъ нужда водныя» (Новгородская II летопись, сп. конца XVI — нач. XVII в.); «Еще же и ограды садовныя разбиени быша иже в нихъ древеса плодовита многа искоренена и погублена отъ буря...» (Новгородская IV летопись, сп. XV—XVI вв.) и под. Ср. в «Письмовнике» Курганова: «...тогда сии стремительные ветры сделаются толь сильны, что разрушают домы, искореняют деревья, потопляют и разбивают корабли» (4 изд., ч. 1, Спб., 1790).

Может быть, сходный в общих чертах процесс позднейшей конкретизации слова отражает также история глагола *въдварятися — въдворитися*. Во всяком случае, в древнейших памятниках церковнославянского и древнерусского языка он встречается только в «образном» (по отношению к своей «внутренней форме») употреблении: «си аште твориши, то въ цесарьствии божии *въдворишися*» (Изборник Святослава, 1076 г.); «Филипъ же въ размышлении *въдваряемъ* бяше» (Александрия XII в., сп. XV в); «Егда человѣкы оставль, съ ангелы *въдворяеться*» (Киево-Печерский патерик, сп. 1406 г.); ср. в Лаврентьевской летописи: «а праведници в небеснѣмь жилищѣ *водворяются* со ангелы», «и в

райстѣи пищи неиздреченьно с ними *водворяяся*», «вечеръ *водворится* плачь, а заутра радость» (часто цитируемая в старых русских памятниках фраза из Псалтыри) и др. Вместе с тем присутствие в слове достаточно прозрачной «внутренней формы» дает, видимо, основание для его «буквального» осмысления в более поздних памятниках. Например: «Спросили мы Самсонка, Юрий Захарычь да азъ: «были есте на Москвѣ, съ нимъ ся есте *въдворяли*?» (Грамота архиепископа Геннадия, 1490 г.); «И повѣлѣ государь едину улицу очистити къ цареву двору... И приѣхалъ государь на царевъ дворъ... Прежде на томъ дворѣ нечестивые цари *водворялися*...» (Львовская летопись, сп. XVI в.).

Приведенные примеры показывают, что вопрос о семантической структуре слова, рассматриваемый в историческом плане, не может быть правильно освещен без учета возможностей «обратной метафоризации» и, наоборот, «конкретизации» слова в процессе развития языка.

Смещение исторической перспективы при анализе «переносного» употребления слов в определенную эпоху приводит и к ошибочной стилистической характеристике применения отдельных слов в тех или иных произведениях. Так, в статье А. В. Касьянова «Особенности лексики и фразеологии комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»[1] отмечается, что «нейтральные в стилистическом отношении общеупотребительные слова Гоголь часто использует в переносном значении, и вследствие этого они приобретают эмоционально-экспрессивную окраску», и как на пример этого указывается на то, что «глагол *забастовать* в «Ревизоре» употреблен в значении «перестать в карточной игре делать то, что нужно было бы делать...»[2] Совершенно ясно, что, говоря о «переносном» употреблении и «эмоционально-экспрессивной окраске» глагола *забастовать* в комедии Гоголя, автор исходит из современного значения слова. Однако в «Толковом словаре...» В. И. Даля дается такое определение этого глагола: «закончить, пошабашить, перестать; говор. более в азартной картежной игре». У Пушкина мы находим: «От карт и костей отстал я более двух лет; на беду мою

[1] «Русский язык в школе», 1959, № 3, стр. 20—27.
[2] Там же, стр. 21.

я *забастовал* будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатою карточных долгов, расстроили дела мои» (Письмо М. О. Судиенке, 15 янв. 1832 г.). Таким образом, сделанные в указанной статье стилистические наблюдения над словом *забастовать* у Гоголя оказываются исторически не обоснованными.

* * *

Движение от более конкретного к более абстрактному, действительно, характеризует семантическое развитие многих слов, получающих вторичные значения в результате метафорического уподобления отвлеченных явлений конкретным, «зримым» предметам, признакам, действиям; ср. «основные» и «переносные» значения таких слов, как *потолок, порог, корень, линия, лазейка, теребить, схватывать, подчеркивать, ограничивать, острый, подтянутый, горячий, сухой* и т. д. и т. п. Но вне этого движения явно находятся и различные типы метонимических переносов, и такие метафорические изменения значений слов, которые вызваны уподоблением явлений из различных сфер действительности, — явлений, не различающихся, однако, степенью конкретности или материальной «выраженности» (ср. развитие значений слов *трущоба, молния, ударный, сознательный, ветка, спутник* и т. п.).

ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМАНТИКЕ

Для того чтобы сообщить о чем-то при помощи языка, мы должны найти названия интересующим нас явлениям и определенным образом сочетать эти названия [1]. Называя явление, мы тем самым вычленяем его из потока других разнообразных явлений, причем выбор наименования, а следовательно, в известной степени и самый характер «вычленения» зависит от тех лексико-семантических ресурсов, которыми располагает данный язык. Например, обозначая чье-то прибытие на самолете, мы не можем сказать по-русски *он пришел на самолете* или *он приехал на самолете*, потому что среди существенных семантических признаков глаголов *прийти* и *приехать* имеется также признак «способа передвижения». Можно сказать *самолет летит*, так же как *пассажир летит*, *птица летит*, *стрекоза летит*, но у нас отсутствует общее наименование для летающих существ — птиц, бабочек, насекомых, каковое имеется, например, в некоторых языках Меланезии [2]. В африканских языках есть слова, которые охватывают одновременно все чувственные восприятия (за исключением зрения), то есть имеют объем значений «слышать, обонять, ощущать на вкус, осязать» (они могут значить также «понимать», «знать») [3]. Понятно, что отсутствие таких общих обозначений в русском языке обусловливает не только иной

[1] См. V. Mathesius, On Some Problems of the Systematic Analysis of Grammar, «Travaux du Cercle Linguistic de Prague», VI, 1936, стр. 97—98.

[2] См. K. Moszyński, Słownictwo ludów tzw. prymitywnych, «Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego», XV, Wrocław — Kraków, 1956, стр. 108.

[3] См. H. Kronasser, Handbuch der Semasiologie, Heidelberg, 1952, стр. 94.

путь отбора соответствующих слов, но и иные возможности их сочетания с другими словами в тексте. Точно так же отсутствие специальных названий для отдельных разновидностей каких-то предметов или явлений заставляет говорящих при необходимости их точного обозначения прибегать к «расчлененным наименованиям», представляющим собой сочетания слов. Например, нивхи (гиляки) имеют для каждой разновидности тюленя особые названия; кроме того, в каждой разновидности различают возраст (одно название для годовалого тюленя, другое — для двухлетнего и т. д.); так по 6—7 различных слов внутри каждой разновидности [1]; в языках туземных жителей меланезийских островов отмечено до ста названий для различных видов бананов [2]; русскому слову *волос* в эстонском языке соответствуют три отдельных слова, которые нельзя смешивать: *karv, juus, jõhv* и т. д. и т. п. Различение соответствующих разновидностей предметов в языках, где отсутствуют отдельные для них обозначения (часто вследствие того, что оно не имеет для говорящих на данных языках практического значения), может быть осуществлено при помощи специальных определений (в широком смысле), то есть проводится не только по линии отбора, но и по линии сочетания самостоятельных лексических единиц (это не относится к устойчивым составным наименованиям, воспроизводимым в речи).

Употребление слов в речи обусловлено, таким образом, двумя факторами: возможностью выбора слова, то есть семантическим соотношением с другими словами, между которыми распределена известная «сфера смысла», и возможностью сочетания с другими словами. Этими двумя измерениями и определяется собственная семантическая значимость каждого отдельного слова.

На линии отбора слово может рассматриваться как член определенной лексико-семантической парадигмы, точнее — ряда парадигм, объединяющих слова на основе того или иного семантического признака. На линии

---

[1] См. Е. А. Крайнович, Гиляцко-тунгусо-маньчжурские языковые параллели, «Доклады и сообщения Института языкознания», VIII, изд. АН СССР, стр. 154.

[2] См. K. Moszyński, Słownictwo ludów tzw. prymitywnych, «Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XV, Wrocław — Kraków, 1956, стр. 98.

сочетания слова выступают членами определенных синтагм, построенных по синтаксическим правилам, действующим в данном языке. Парадигматические и синтагматические отношения взаимосвязаны: то, что слово является членом такой-то парадигмы, предопределяет возможности его синтагматических связей, но в то же время самая принадлежность слова к данной парадигме может быть представлена в виде обобщенной формулы его сочетаемости, то есть синтагматических отношений.

Отображая определенным образом те или иные «отрезки действительности», слова, естественно, связаны между собой, как взаимосвязаны и отображаемые ими явления самой действительности. Благодаря этим «внеязыковым» связям слова объединяются в группы, которые можно назвать тематическими.

Выше уже упоминалось о том, что некоторые исследователи склонны исключать рассмотрение подобных объединений слов из лингвистического исследования именно на том основании, что они обусловлены предметно-логическими, а не собственно языковыми (семантическими) факторами. Бесспорно, что разграничение различных видов объединений слов чрезвычайно важно для семасиологии. Но нет никаких убедительных доводов в пользу того, чтобы не учитывать всех отношений, существующих в языке, чем бы они ни определялись. Ведь, в конечном счете, весь лексический состав языка более или менее непосредственно отражает внеязыковую действительность, а говорить о значении слова без соотнесения этого слова с чем-то вне языка можно только придав самому термину «значение» очень ограниченный смысл. Вместе с тем хорошо известно, что каждый язык «по-своему» выделяет и группирует явления реальной действительности, поэтому «внеязыковые» моменты во многом оказываются тесно переплетенными с «собственно языковыми» и изолированное рассмотрение последних, по существу, и невозможно. Например, слова *береза, тополь, сосна, ель, пальма, яблоня* и т. д., конечно, объединены, так сказать, предметно; но то, что, положим, в ряде языков, в том числе и русском, отсутствует общее обозначение (в виде отдельного слова) для всех хвойных или всех фруктовых деревьев, это уже факт языка, — факт лексики, который обращает на себя внима-

ние, однако, только в связи с «предметной» ее группировкой. В то же время эта группировка получает и собственно языковое отражение. Е. Курилович как-то отметил, «что по образцу таких названий фруктовых деревьев, как *pommier, prunier, poirier* и т. д., образованных от *pomme, prune, poire*, позднее во французском языке возникло слово *bananier*»; возможность подобных образований Е. Курилович видит в «скрытом присутствии» господствующего понятия, то есть понятия «фруктовое дерево», не находящего в языке реального выражения (*fruitier*) [1], но определяющего словообразовательную модель.

В русском языке многие названия фруктовых деревьев являются одновременно и названиями соответствующих плодов; ср. *вишня, черешня, груша, слива, абрикос* и т. д.; это семантическая особенность именно данной тематической группы слов. Таким образом, предметная общность слова может обусловливать и некоторую общность их словообразовательных и семантических примет. Вместе с тем определить степень такой формальной общности как для различных тематических групп слов, так и внутри отдельных групп (*яблоня* — тоже «фруктовое дерево», но плод с нее обозначается отдельным словом — *яблоко*) можно только выделив самые эти тематические группы (и это всегда и делается, хотя бы имплицитно). Следует заметить также, что в ряде случаев слова, объединенные тематически, объединяет также и общность их синтаксических возможностей (на этом вопросе предстоит еще остановиться в следующей главе). Понятно, что для лингвистического исследования выделение таких тематических групп, внутри которых слова объединены какими-то формальными приметами, имеет первостепенную важность. Но, по существу, для того чтобы установить, что эта общность формальных примет как-то связана и со смысловой стороной слов, необходимо так или иначе опять-таки обратиться к внеязыковым фактам.

Сказанное, конечно, никак не означает допустимости смешения различных критериев, на основании которых выделяются те или иные группы слов. Их четкое разгра-

[1] J. Kuryłowicz, L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956, стр. 9.

ничение, собственно, и делает возможным изучение парадигматических отношений слова как лексико-семантической единицы языка.

Называя какой-то предмет, какое-то явление действительности, говорящий, по существу, всегда выбирает нужное ему слово из целого ряда других возможных обозначений (понятно, что самый процесс отбора далеко не всегда останавливает на себе внимание говорящего). Об одном и том же событии можно сказать *лесник срубил дерево*, и *старик срубил березу*, и десятками других способов, но нельзя сказать: *подросток срубил елку* или *тракторист срубил куст*. Слова *старик* и *лесник* с разных сторон характеризуют человека и поэтому при соответствующих условиях могут относиться к тому же человеку, как, к примеру, и названия *хитрец, сосед, толстяк* и т. п.; точно так же могут обозначать один и тот же предмет *дерево* и *береза*, поскольку первое включает в себя второе. Несомненно, слова *старик, лесник, подросток, тракторист* и т. д. объединяет нечто общее. Таким общим для них семантическим элементом является отношение к лицу (это находит, как известно, и формальное грамматическое выражение в русском языке). Но внутри этой тематической группы отдельные слова, как нетрудно заметить, по-разному соотносятся друг с другом. Значения слов *старик* и *подросток* взаимно исключают друг друга (речь идет, разумеется, об основных значениях слов; возможность жаргонного обращения *старик* к подростку или применения к животному этого слова связано со специальной речевой ситуацией), они не взаимозаменимы, поэтому могут рассматриваться как члены определенной семантической парадигмы, включающей «обозначения лиц по возрасту». Взаимно исключают друг друга и слова *лесник* и *тракторист*, как «обозначения лиц по профессии», опять-таки парадигматически сопоставленные друг с другом. Слова же *лесник, старик, хитрец* не находятся как таковые в непосредственных парадигматических отношениях, хотя парадигмы, в которые они входят, в целом могли бы опять-таки рассматриваться как члены более общей «парадигмы», или парадигмы следующей ступени, в которой были бы противопоставлены обозначения лиц: «по возрасту», «по профессии», «по определенным внутренним качествам» и т. д. Однако ввиду отсутствия соответ-

ствующих общих наименований более удобно говорить в данном случае о тематической группе слов (или, поскольку объединение этих слов сопровождается формальными приметами — о структурно-семантической группе слов), отдельные члены которой являются в то же время членами различных лексико-семантических парадигм.

Точно так же не образуют единого парадигматического ряда слова *береза* и *дерево*, *береза* и *куст*, отношение между которыми определяется как отношение между членами парадигм разных ступеней: *береза — ель — сосна* и т. д. («дерево»); *дерево — куст — цветок* и т. д. («растение»).

Совершенно очевидно, что парадигматические отношения между словами, подобные вышеприведенным, зависят от отношений, существующих между самими предметами действительности. Такого же рода парадигмы представляют собой объединения слов, являющихся названиями «частей тела», «времени суток», «мебели», «ландшафта», «средств передвижения» и мн. др. Будучи отражением группировки самих предметов действительности, подобные объединения слов обнаруживают, однако, целый ряд таких особенностей, которые определяются свойствами конкретного языка. Уже характер вычленения тех или иных звеньев реальной действительности, способы их группировки в какой-то мере зависят от наличия в языке соответствующих наименований. Например, в русском языке нет отдельного слова для обозначения хвойного дерева, но есть такое общее обозначение для хвойного леса — *бор* (с дополнительным семантическим признаком — «величины»; ср. определение слова в «Словаре...» под редакцией Д. Н. Ушакова: «большой, густой хвойный лес»). Хорошо известно, что в разных языках не совпадает выделение времени суток, частей тела и т. д. В шведском языке для обозначения «водоемов с проточной водой» существует 5 слов: *flod, älv, ström, å* и *bäck*, различающих размеры водоема, в то время как немецкий отражает это различие с помощью 3 слов — *Strom, Fluß, Bach* (ср. во французском *fleuve, rivière, ruisseau* [1], а русский ограничивается двумя словами (*река, ручей*), к которым, однако, добавляются

[1] См. S. Öhmann, Wortinhalt und Weltbild, стр. 128 и сл.

суффиксальные образования (*речка, речушка, ручеек*), причем *река* и *речка* довольно устойчиво противопоставлены именно по признаку «размера». Например:

«Крестьяне, вышед из терпенья
От разоренья,
Что *речки* им и *ручейки*
При водополье причиняли,
Пошли просить себе управы у *Реки*,
В которую *ручьи* и *речки* те впадали».

(Крылов, Крестьяне и Река)

Ср., однако, «нейтрализацию» уже в приведенных строчках обозначений *ручейки* и *ручьи*. Ср. в другой басне Крылова («Ручей»):

«Пастух у *ручейка* пел жалобно, в тоске,
Свою беду и свой урон невозвратимый:
Ягненок у него любимый
Недавно утонул в реке.
Услыша пастуха, *Ручей* журчит сердито...»

Еще более заметна роль собственно языковых факторов в выделении и группировке явлений действительности, обозначаемых глаголами и прилагательными. Ср. распределение значений между «глаголами движения», «глаголами звучания», прилагательными, обозначающими цвет, размеры и т. д. То же самое относится к существительным с отвлеченными и оценочными значениями.

Необходимо подчеркнуть, кто парадигматические отношения в лексике не только, так сказать, многоступенчаты, но и неоднолинейны. Многие слова (взятые в одних и тех же значениях) являются одновременно членами не одной, а нескольких лексико-семантических парадигм, то есть входят в различные ряды, в которых слова противопоставлены друг другу по какому-то определенному семантическому признаку. Собственно, каждый существенный элемент лексического значения («дифференциальный семантический признак») потому и выделяется как существенный для данного значения, что обусловлен определенным парадигматическим противопоставлением слову какого-то другого слова или нескольких слов.

Например, в определение лексического значения слова *река* должно войти указание на то, что это «во-

доем», — во-первых, определенных размеров, во-вторых, определенной формы, обусловленной характером течения воды, наконец, в-третьих, естественного происхождения. Все эти элементы значения являются существенными для семантики слова, потому что каждый из них выступает как дифференциальный семантический признак слова, отграничивающий данное слово от других обозначений и указывающий на соответствующие ряды парадигматических противопоставлений. Так, по первому признаку слову *река* противостоят такие слова, как *речка, ручей*; по второму — такие, как *пролив, озеро, море, океан*; по третьему — такие, как *канал, пруд, водохранилище*. Таким образом, одно и то же слово входит в разные парадигмы, в соответствии с чем и могут быть выделены его семантические признаки [1].

Парадигматические противопоставления могут быть обусловлены не только распределением каких-то определенных признаков (в том числе и относительных, например типа «больше — меньше», ср. *горячий — теплый* и т. п.), но и соотношением «наличие — отсутствие» какого-то признака.

В тех случаях, когда соотношение «наличие — отсутствие» признака основывается на последовательном расчленении «беспризнакового» значения (*дерево = береза + ель + сосна + пальма* и т. д. или в древнерусском: *рука = десница + шуица*), соответствующие обозначения, как говорилось выше, образуют ряд «последовательных» парадигм, или парадигм разных ступеней (*береза + ель + сосна* и т. д. = «дерево»; *дерево +*

[1] Именно эти признаки и кладутся обычно в основу словарных определений, помещаемых в одноязычных толковых словарях, так как составителями осознается необходимость более или менее последовательного отграничения значений слов, относящихся к однородным группам предметов (и река, и пруд, и водохранилище — это «водоемы», отличающиеся тем-то и тем-то). Правда, отсутствие разработанной теории элементного анализа значений и удовлетворительных опытов ее лексикографического применения отрицательно сказывается на ряде толкований. Сопоставим хотя бы определения слов *пруд* и *бассейн*, находящиеся в «Словаре...» под редакцией Д. Н. Ушакова. Первое определяется как «искусственный водоем в широком выкопанном углублении с напущенной или накопившейся почвенной водой, а также запруженное место в реке», второе — как «большой искусственный водоем с открытой водной поверхностью». Ясно, что из приведенных определений трудно выявить различие между значениями данных слов.

+ *куст* + *цветок* и т. д. = «растение»). В тех же случаях, когда соотношение «наличие — отсутствие» признака связано не с «расчленением» значения, а только с его специализацией в каком-то одном направлении или когда это соотношение проявляется при несовпадении других семантических признаков слов, возникает иной тип лексико-семантических противопоставлений. Слова образуют особый парадигматический ряд, основанный на — вообще характерном для семантики — неравномерном распределении дифференциальных признаков. Например, слово *лес* является более общим обозначением, чем *роща* и *бор*. Однако последние не покрывают всей сферы значения первого; они противопоставлены ему (и друг другу) одновременно по двум признакам: *бор* — это, согласно «Словарю...» под редакцией Д. Н. Ушакова, «большой, густой хвойный лес», а *роща* — «небольшой, обычно лиственный лес». *Лес* выступает как «беспризнаковый» член парадигматического ряда.

Для значений слов *река, речка, ручей* не существен признак «быстроты течения». Горная река со стремительным течением и равнинная река с медленным течением, ручей в горах Кавказа и ручей в Подмосковье и т. п. обозначаются одинаково как *реки* или *ручьи*. Слово же *поток* отграничивается от этих обозначений именно по признаку «быстроты течения», в то время как признак «размеров» не существен для его значения (ср. определение в «Словаре...» под редакцией Д. Н. Ушакова: «стремительно текущая водная масса — река, ручей с сильным течением»). Таким образом, слова *река, речка, ручей* вместе противопоставлены слову *поток*, будучи «беспризнаковыми» членами данной парадигмы.

Возьмем другой пример. Слово *арык* определяется как «оросительный канал (канава) в Средней Азии» (см. «Словарь современного русского литературного языка»). Соотношение *канал — арык* строится, следовательно, на выделении дополнительных признаков во втором слове («специальное назначение» + «географическая прикрепленность» обозначаемого предмета), не существенных для первого. Кроме того, со словом *арык* связано и иное представление о «размерах», обусловливающее нейтрализацию тех различий, которые определяют выбор наименований *канал* или *канава* (вообще

противопоставленных не только по признаку «размера»). Таким образом, слова *канал* и *канава* вместе противопоставлены слову *арык* по двум признакам, выступая как «беспризнаковые» члены данной парадигмы.

В результате объединения и противопоставления слов по различным семантическим признакам образуются ряды соподчиненных или перекрещивающихся лексико-семантических парадигм. Одно и то же слово (в одном и том же значении) входит одновременно в разные парадигмы, причем между отдельными словами, принадлежащими к той же тематической группе слов, могут возникать сложные многоступенчатые связи.

Отбор и сочетание слов, естественно, производится в зависимости от того, что хочет сообщить говорящий, а следовательно, в зависимости от способности слов и их сочетаний передать нужную информацию. Однако значимым в слове, как мы знаем, является не только его «предметное» значение (понятийное содержание), но и его экспрессивно-стилистическая окраска в широком смысле. Поэтому отбор, как и сочетание слов всегда определяются не только задачами непосредственной передачи информации, но и в какой-то мере теми условиями, той ситуацией, в которых делается сообщение, так же как и назначением данного сообщения. Наряду с парадигмами, в которых слова противопоставлены по каким-то предметно-смысловым признакам, выделяются, таким образом, стилистические парадигмы.

Слова, образующие стилистические парадигмы, обозначают одни и те же «отрезки действительности» и, следовательно, взаимозаменимы с точки зрения их способности указывать на те же предметы и явления действительности. Но они противопоставлены на другом — на стилистическом — уровне и, следовательно, не являются взаимозаменимыми с точки зрения их экспрессивно-стилистической значимости. Например, слова *лентяй* и *ленивец* имеют, конечно, то же «предметное» значение, но одно из них характеризуется как разговорное, другое как книжное. Стилистически нейтрального соответствия этим словам нет[1]. Нейтральному *умереть*

[1] Правильным представляется следующее замечание М. В. Панова: «Слова резко контрастные с нейтральным стилем, всегда имеют синоним в нейтральном. Но те лексические единицы, которые лишь слегка окрашены стилистически, у которых чуть брезжит

противостоят разговорное *помереть* (вульгарное *загнуться* и т. п.) и книжное *скончаться*; нейтральному *теперь* — разговорное *нынче* и книжное *ныне*; нейтральному *помогать* — разговорно-просторечное *пособлять* и книжное *содействовать* и т. п. Ясно ощутима стилистическая значимость таких противопоставлений, как *глаза — очи, лоб — чело, будущий — грядущий, ребенок — дитя* и т. д.

В ряде случаев экспрессивно-стилистическая дифференциация слов связана с их функциональной дифференциацией. В рассказе И. Горбунова «Общее собрание общества прикосновения к чужой собственности» находим такой диалог: «— Ну, *стащил*, это верно! — В терминологии нашей юстиции нет слова *стащил*. — Ну, можно нежнее сказать: *украл*». Ср. нейтральное *жена* и книжное (и в то же время официальное) *супруга* и т. п.

В фельетоне В. Карбовской («Крокодил», 1962 г., № 20) приводится следующий разговор «руководящего работника» с женой:

«— Вот тоже насчет «кушать» полемика разыгралась.

— Ххосподи! То насчет «выпить», теперь насчет «кушать» — прямо ни охнуть, ни вздохнуть! А в каком смысле?

— В том смысле, что лично про себя нужно употреблять слова «я *ем*», а не «я *кушаю*», чтоб не было к самому себе слишком слащаво и уважительно. А еще «я *пришел*», а не «я *прибыл*».

— Новое дело! Конечно, какой-нибудь подсобник или даже слесарь может про себя выражаться «я ел», «я пришел», а начальник? Нет уж, это прямо даже странно. И кто же поставил такой вопрос, сам лектор?

— Нет, не лектор. Наша новая редакторша многотиражки. Ты ее, кажется, знаешь».

Ср. в повести Рекемчука «Молодо-зелено»: «Нахмурясь озабоченно, он потащил из кармана цепочку часов.

стилистический отсвет, могут и не иметь такого двойника».— М. В. Панов, О стилях произношения (в связи с общими проблемами стилистики), сб. «Развитие современного русского языка», изд. АН СССР, М., 1963, стр. 13. Следует добавить, что отсутствие нейтральных «двойников» может быть связано с эмоционально-оценочным содержанием слова, придающим слову и определенную стилистическую окраску.

— *Опаздывает* начальство.
— Начальство *задерживается*...
— Вот именно».

Поскольку многие слова отличаются от каких-то других слов только отдельными элементами значения (при общности других элементов), можно предположить, что существуют такие ситуации, в которых эти несовпадающие элементы значения становятся несущественными, а следовательно, данные слова оказываются взаимозаменимыми. И наоборот — взаимозаменимые в каких-то ситуациях слова в других случаях выступают как противопоставленные друг другу. Например, слова *актер* и *артист* в определенных контекстах могут употребляться недифференцированно (*актер Малого театра — артист Малого театра* и т. п.), то есть дифференциальные семантические признаки, отличающие эти слова, нейтрализуются. Однако эта позиционно обусловленная нейтрализация не разрушает противопоставления слов в пределах образуемой ими более «частной» парадигмы. Ср. возможность индивидуально-контекстного подчеркивания подобного противопоставления: «— Нет, *я — артист, а не актер*. Прошу различать. Актеру — венки и пошлые рукоплескания, а мне — лишь потрясение души» (А. Толстой, Трагик). Ср. такого рода противопоставление также взаимозаменимых в некоторых иных ситуациях слов: «Письма не было и не было, он теперь не *жил*, а только изо дня на день *существовал* в непрестанном ожидании, все более томясь этим ожиданием и невозможностью ни с кем поделиться тайной своей любви и муки, поговорить о Кате, о своих надеждах на Крым...» (Бунин, Митина любовь); «Будущее — это воздух жизни, движение жизни, это сама жизнь. В старости его еще можно заменить прошлым и покорно *существовать*. Но *существование — не жизнь*. Существование только тогда становится жизнью, когда есть мечты и твердые расчеты, как дальше жить, что дальше делать» (Тендряков, За бегущим днем) и т. п.

Взаимозаменимость слов в одних речевых условиях и их противопоставленность в других условиях свидетельствует об их принадлежности к лексико-семантическим парадигмам разных уровней — более общим и более

частным, — то есть к группе слов, объединяемых на основе меньшего или большего числа дифференциальных признаков. Например, оценочные прилагательные *сильный, мощный, крепкий* противопоставлены друг другу по ряду признаков, которые существенны в пределах образуемой этими прилагательными парадигмы. Но в то же время они входят и в более общую парадигму, в которой все вместе оказываются противопоставленными таким словам, как *слабый, немощный, бессильный, слабосильный,* образующим, в свою очередь, отдельную более частную парадигму. Взаимозаменимые на одном семантическом уровне, слова становятся противопоставленными на другом семантическом уровне. Крайние, предельные случаи подобной взаимозаменимости и противопоставленности можно рассматривать как синонимию и антонимию.

Имеющее длительную традицию учение о синонимах и антонимах, по существу, является следствием (часто не проведенных последовательно) наблюдений над семантическими связями слов, над тем, что «собственное» значение слова как-то обусловлено его соотношением с другими словами. Правда, в трактовке синонимов и антонимов как раз сказывается в большой мере сила, так сказать, терминологической инерции, какая-то подсознательная уверенность в том, что синонимы и антонимы — это уже данные исследователю «реалии» языка, которые подлежат только адекватному описанию. Между тем, например, самое положение о том, что в языке не существует абсолютных синонимов, — положение, повторяемое различными авторами, — заставляет воспринимать данную категорию как до некоторой степени условное обозначение таких языковых явлений, которые могут быть истолкованы и названы неодинаково, в зависимости от принятых критериев. Если в языке, как правило, нет абсолютных синонимов, то самая синонимичность может, следовательно, иметь то более, то менее выраженный характер, или слова могут быть то более, то менее синонимичными. Значит, нет и абсолютной границы между синонимами, и трудность ее определения зависит прежде всего от самой природы устанавливаемой категории. Поэтому был бы, собственно, беспредметным спор о том, какая степень семантической близости свидетельствует о некоей подлинной синони-

мичности слов. Однако в то же время следует со всей решительностью возразить против смешения двух совершенно различных по характеру явлений: близости значений разных слов и способности разных слов обозначать одни и те же предметы. Поскольку синонимы рассматриваются обычно как семантическая категория, только первый критерий можно считать существенным для определения синонимов [1].

Синонимами считаются слова, имеющие «общее ядро значения», но различающиеся «оттенками значения». Исходя из парадигматических связей слов, можно сказать, что синонимы — это слова, несовпадающими семантическими признаками которых являются только такие признаки, которые могут устойчиво нейтрализоваться в определенных позициях. Чем больше таких позиций, тем выше степень синонимичности соответствующих слов, тем чаще осуществима их взаимозаменимость.

Возможность выбора между различными словами, способными назвать тот же предмет, сама по себе вообще часто не зависит от какого-либо семантического сходства или даже тематической однородности данных слов.

Выше уже говорилось о том, что разные слова нередко служат обозначениями тех же явлений. В первую очередь это обусловлено тем, что сами явления действительности обычно могут быть охарактеризованы с разных сторон. Например, об одном и том же человеке можно сказать, назвав его по имени или же обозначив по должности, по профессии, по каким-то внешним признакам или внутренним качествам, по его взаимоотношению с кем-то или чем-то и т. д. Понятно, что в ряде случаев выбор признака, по которому обозначается данное лицо, отражает уже сам по себе отношение к нему говорящего. Не приходится подробно останавливаться на том, что самый способ называния по имени, или по имени и отчеству, или по фамилии и т. д. определенным образом отражает и взаимоотношение лиц, и общественное положение называемого; например, герой одной из пьес Островского так говорит о себе: «Петрович: ...Человек я тогда был состоятельный, дела вел большие, конкурсами занимался. Не *Петровичем* меня звали-то, а

[1] Ср. А. И. Уемов, Проблема синонимов и современная логика, сб. «Логико-грамматические очерки», М., 1961, стр. 28—48.

Иваном Петровичем Самохваловым» (Островский, Не было ни гроша...); карьера ловкого поверенного из крепостных в романе Квитки-Основьяненко «Пан Халявский» показана через эволюцию его имени — сначала он *Иванько Маяченко*, потом *Иван Маявецкий* и наконец — *Иван Афанасьевич Горб-Маявецкий*. В рассказе Куприна «На разъезде» чиновник господин Яворский требует от своей жены, в частности, следующее: «— ... Во-первых, Люба, я просил тебя не называть меня никогда *Александром Андреевичем*. Это — вульгарно. Так зовут только купчихи своих мужей. Я думаю, тебе не трудно называть меня *Сашей* или просто *Александром*».

Различие в наименовании того же предмета или явления бывает вызвано и различным его истолкованием. Это особенно наглядно, когда речь идет об отвлеченных понятиях. Например: «Вступало в привычные права то, что показалось бы противоестественным для многих, но было характерной особенностью Бахирева, то, что одни называли *одержимостью*, а другие *творческим горением*, то, о чем Тина говорила «талант» (Николаева, Битва в пути).

Другой, более сложный пример того, как специальные факторы влияют на выбор слов, можно привести из записок летчика-испытателя М. Галлая, раскрывающего, так сказать, профессиональное осмысление ряда оценочных слов (получающих вследствие этого и соответствующее стилистическое звучание в данных речевых ситуациях): «В ранней молодости, когда я восторженным оком взирал на настоящую авиацию из ее авиамодельного преддверия, смысл выражения *«хороший летчик»* не вызывал у меня ни малейших сомнений. Послушно следуя за журналистами и писателями, я мысленно наделял хороших летчиков прежде всего такими эпитетами, как «храбрый», «отважный», «бесстрашный».

И только оказавшись в Отделе летных испытаний ЦАГИ, я не без удивления обнаружил, что среди самих летчиков-испытателей в ходу совсем другие оценки: *«грамотный»*, *«дотошный»*, иногда неожиданное — *«хитрый»*, и как высший комплимент — *«надежный»*.

Никто не говорил здесь: «он летает *изумительно»*, или *«поразительно»*, или *«блестяще»*. Вершиной поло-

жительной оценки было замечание: «он летает *грамотно*», или «*профессионально*».

И, конечно, не в одной терминологии тут было дело. И в первой книге этих записок я уже говорил о том, как под влиянием старших товарищей — коллектива летчиков-испытателей ЦАГИ — постепенно во мне формировался новый, строго деловой взгляд на такие категории, как риск, смелость, отвага. «Обыкновенное» и «исключительное» в облике летной профессии незаметно (хотя, говоря откровенно, не без некоторого внутреннего сопротивления) менялись в моем сознании местами» .

Нетрудно заметить, что во всех подобных случаях возможность отнесения разных слов к одному явлению определяется не их собственной равнозначностью или смысловой близостью, а различным отношением или оценкой данного явления. Поэтому нельзя признать обоснованным отнесение к синонимам слов, которые прилагаются к тому же предмету, характеризуя его с разных сторон или вообще по-разному. Между тем такое понимание синонимии находим в ряде лингвистических работ, особенно часто — в исследованиях, посвященных языку художественной литературы. Например, Г. Я. Симина, следуя, по ее словам, «несколько расширенному» толкованию «понятия синоним», принятому А. Н. Гвоздевым в его «Очерках по стилистике русского языка» (Учпедгиз, М., 1955, стр. 343—344), в предложении «Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил, дареную, прежнюю, ее собственную, не мою...» — видит «четыре синонима» (*дареная, прежняя, ее собственная, не моя*) [1].

Непонятно, какую цель может преследовать такое «расширенное» толкование синонимии. И в художественных текстах, и в других видах речи мы нередко встречаем несколько определений при одном определяемом. Назвав их синонимами, мы, по-видимому, только лишим этот термин какого бы то ни было значения. Ведь при одном определяемом могут быть самые различные определения, в том числе антонимические; ср.: «И во всем... была какая-то *сладкая* и *горькая* грусть» (Бунин, Лика) и мн. под.

---

[1] Г. Я. Симина, Из наблюдений над языком и стилем романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», сб. «Изучение языка писателя», Учпедгиз, Л., 1957, стр. 137.

Другие примеры. П. К. Боголепов пишет: «Можно привести многочисленные образцы синонимики Гоголя ...Одежда Чичикова на одной и той же странице (когда он попадает к Коробочке) называется по-разному: *кафтан, сбруя, мокрые доспехи*. Эпизод с блондинкой определяется такими синонимическими выражениями: *кутерьма, сумятица, проделка, хлопотня около экипажей*»[1] и т. д.

Е. М. Галкина-Федорук считает синонимами и такие слова и словосочетания, как *раба — прислуга — домашняя работница*, и такие, как *свободы тайный страж — карающий кинжал*[2].

Р. А. Будагов особо выделяет «стилистические синонимы». Заметив, что они выполняют «несколько иную функцию в языке» (именно в языке. — *Д. Ш.*) и что их «не следует смешивать ни с синонимами понятийными, ни с синонимами стилевыми», Р. А. Будагов указывает, что они «чаще всего возникают в языке художественной литературы». Далее следуют примеры «стилистических синонимов», которые «создал» Жуковский в переводе шиллеровской баллады «Кубок»: «*бездна, пучина, мгла, глубина, чрево, жерло, глубь, неприступное дно, темный гроб, влажная пропасть, бездонное, то, что внизу подо мной, пурпуровый сумрак, то, что под звуком живым человечьего слова, подземелье немое* — пятнадцать стилистических синонимов для понятия *бездна* в одной балладе... Захватывающее повествование раскрывает и перед читателем разные стороны морской бездны. Всю эту гамму оттенков поэт передает тонким подбором разнообразнейших стилистических синонимов»[3].

Подобная трактовка синонимов делает их определение крайне расплывчатым. Если *бездна, мгла, чрево, жерло* и т. п. — синонимы только потому, что они выражают в данном тексте одно понятие, то мы легко придем к заключению, что все без исключения слова языка могут быть «стилистическими синонимами», даже те, которые очень далеки по значению, так как в опре-

---

[1] П. К. Боголепов, Язык поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», Учпедгиз, М., 1952, стр. 36 и сл.

[2] Е. М. Галкина-Федорук, Синонимы в русском языке, «Русский язык в школе», 1959, № 3, стр. 11—12.

[3] Р. А. Будагов, Введение в науку о языке, Учпедгиз, М., 1958, стр. 54—55.

деленных случаях они могут с разных сторон характеризовать то же самое «понятие», как, например, в известном стихе Державина — *«Я царь — я раб; я червь — я бог!»*.

Если исходить из приведенного выше определения синонимов, то нельзя расценивать с точки зрения синонимии и так называемые эвфемизмы, которые «представляют собой замену почему-либо нежелательных, неприятных, а также слишком грубых, резких выражений, — более приемлемыми словами и выражениями»[1]. Чаще всего эвфемистические замены вызываются как раз стремлением переистолковать какое-то явление, дав ему иное, более благовидное название. Ср. в фельетоне Л. Ленча «Фуфаев»: «— Я не *соврал*. Я... ну... *сманеврировал*, что ли! Надо было кое с кем *согласовать* этот вопрос. — *Перестраховаться?* — Экий вы, Павел Николаевич, так и норовите... под ребро. Не *перестраховаться*, а *посоветоваться* с вышестоящими товарищами». Ср. также обратное «переименование», так сказать, разоблачение эвфемизма: «— ...Видишь ли, товарищ Глотов, твое *спокойствие* — это просто *политическая пассивность*. Давай уж найдем этому точное название» (Овечкин, На переднем крае).

Понятно, что не близостью значений слов, а именно существенными различиями в их семантическом содержании и обусловлены эвфемистические замены.

Наиболее полное противопоставление слов расценивается как антонимия. Антонимичными могут быть признаны слова, которые противопоставлены по самому общему и существенному для их значения семантическому признаку, причем находятся на крайних точках соответствующей лексико-семантической парадигмы.

В качестве критериев выделения антонимов были выдвинуты также следующие: возможность употребления слов в одном высказывании при противопоставлении, одинаковая сфера лексической сочетаемости[2].

---

[1] В. К. Фаворин, Синонимы в русском языке, Свердловск, 1953, стр. 61.

[2] В. Н. Комиссаров, Проблема определения антонима, «Вопросы языкознания», 1957, № 2.

Правильным, несомненно, представляется замечание Л. А. Булаховского о том, что «антонимы в основном относятся к выражению качеств, но возможны также, например, при назывании действий и состояний отрицательного или отменяющего характера»[1]. Однако менее убедительным кажется такое утверждение того же исследователя: «Под антонимией понимают не простое противоположение, которое может быть выражено прибавлением отрицания (*белый: небелый; говорить: не говорить; спокойный : беспокойный* и т. п.), а противопоставление допускающих это значений, выраженных различными корнями (*бедный, нищий : богатый; сухой : мокрый; черствый : свежий; трудолюбивый, прилежный : ленивый; говорить : молчать; зажечь : погасить, потушить; правда : ложь; проза : стихи; день : ночь; жизнь : смерть*)»[2]. Признание антонимами только разнокоренных слов, по существу, не отражает действительного положения вещей, так как выражение антонимических отношений при помощи префикса *не-* занимает ведущее место в современном русском языке в области, для которой наиболее характерна антонимия, — в области качественных прилагательных; *ср.: терпеливый — нетерпеливый, удачный — неудачный, решительный — нерешительный, культурный—некультурный, знакомый — незнакомый* и т. п.[3]. Совершенно ясно, что здесь не такое же «простое противоположение», как в случаях *белый — не белый, говорить — не говорить,* или таких, как «С *женою* забота, с *не-женою* еще хуже», подумал Яшвин, выходя из гостиницы» (Л. Толстой, Анна Каренина), «Это касается *крестьян и не крестьян*» (Лесков, Загон) и т. п.

Следует заметить также, что, по существу, различны по характеру противопоставления слов, основанные на той или иной противопоставленности самих обозначенных словами явлений действительности, и противопоставления слов, называющих определенные качества этих явлений (находящиеся на более высокой ступени абстрак-

---

[1] Л. А. Булаховский, Введение в языкознание, ч. II, Учпедгиз, М., 1953, стр. 45.

[2] Там же, стр. 44—45.

[3] См. Л. Ю. Максимов, Антонимия как один из показателей качественности прилагательных, «Ученые записки МГПИ имени В. И. Ленина», т. CXXIII, 1958, стр. 217 и сл.

ции). Противопоставления первого типа демонстрируются такими из приведенных Л. А. Булаховским антонимическими парами, как *говорить — молчать, день — ночь, жизнь — смерть* и т. п. (ср. также антонимические ряды, выделенные Е. М. Галкиной-Федорук; например: *труд — безделье, лень; мороз — оттепель; свет — темнота; сладкий — горький* и т. п.[1]). Противопоставления второго типа охватывают качественные (в широком смысле) слова: *бедный — богатый, правда — ложь, сильный — слабый, большой — маленький, хороший — плохой* и т. п.

Отличительной чертой первой группы антонимов является возможность образования как бы перекрещивающихся антонимических рядов (при сопоставлении слов в тех же значениях и на основе тех же семантических признаков). Действительно, почему антонимом к глаголу *молчать* является только глагол *говорить*, а, например, не *кричать*, почему антонимом к *смерть* является *жизнь*, а не *рождение*? Нет никаких оснований считать, что в антонимические отношения вступают слова *труд* и *безделье, сладкий* и *горький, мороз* и *оттепель* и т. п., а не *труд* и *отдых, сладкий* и *кислый, мороз* и *жара, оттепель* и *заморозки* и т. д. Сложностью отношений между явлениями самой действительности определяется и сложность антонимических противопоставлений соответствующих лексических обозначений. Отношения между явлениями действительности часто оказываются сложнее, чем отношения, построенные по принципу абсолютного — однолинейного противопоставления. Антонимичность слов, обозначающих данные явления, не является собственно семантической антонимичностью в полном смысле слова.

Другое дело, когда слова выступают как обозначения определенных качеств, самое выделение которых возможно только как расчленение данных качеств при помощи противопоставленных друг другу «значений»[2]. Антонимическая сопоставленность слов является

---

[1] Е. М. Галкина-Федорук, Современный русский язык. Лексика, изд. МГУ, 1954, стр. 71 и сл.

[2] «Только качественные признаки, — отметил Л. Ю. Максимов,— могут противопоставляться как противоположные, потому что только качественные признаки могут быть мыслимы как переменные в количественном отношении, в отношении интенсивности. Таким образом, только между словами, обозначающими качественные

в таком случае конструктивно необходимой вообще для их существования как семантических единиц. Значения слов *большой, хороший* и т. д. существуют в языке лишь постольку, поскольку им противостоят значения *маленький, плохой* и т. д. То же самое относится и к экспрессивно-синонимическим словам, вроде *отменный, отличный, великолепный, замечательный, отвратительный, дрянной; огромный, громадный, крохотный, микроскопический* и т. п., с той разницей, что, не вступая в непосредственные антонимические отношения с какими-то другими словами, они как бы наслаиваются на антонимические ряды [1]. Ср. (*огромный, громадный*), *большой — маленький* (*крохотный, микроскопический*) и т. п. Непосредственными членами антонимического противопоставления являются здесь *большой* и *маленький*; слова же, заключенные в скобки, выступают как экспрессивные синонимы, примыкающие к последним; собственное их значение обусловлено их соотношением с указанными нейтральными словами.

Любые значения не существуют в языке «сами по себе», вне связей с другими значениями. Однако характер этих связей, зависимость собственного значения слова от сопоставленности со значениями каких-то других слов в разных случаях неодинаковы.

На важность разграничения разных типов лексических значений слова указывал, в частности, В. В. Виноградов. «Одним из путей подхода к решению сложных вопросов, связанных с изучением слова и его значения, с исследованием законов изменений значений слов, — писал он, — является выяснение разных типов или ви-

---

признаки, противопоставляемые друг другу, возможен средний член, что соответствует логическим отношениям противоположности». (Л. Ю. Максимов, Антонимия как один из показателей качественности прилагательных, Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук, М., 1958, стр. 4.)

[1] «Очевидно, для того чтобы вступить в антонимические отношения, противопоставляемые слова должны обозначать качественные признаки без указания на степень качества и не осложненные ясно выраженной эмоциональной окраской, так как и то и другое предполагает элемент сопоставления с чем-то нейтральным, что и снимает возможность антонимического противопоставления». (Л. Ю. Максимов, Антонимия как один из показателей качественности прилагательных, Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук, М., 1958, стр. 5.)

дов лексических значений слова и способов или форм их связи в смысловой структуре слова»[1]. В. В. Виноградов подошел к характеристике лексического значения слова с разных сторон. Во-первых, он определяет значение слова с точки зрения его «непосредственной направленности» на предметы и явления действительности. В соответствии с этой точкой зрения выделяются «прямые, номинативные», «переносные» и «производно-номинативные» значения слов. От них отграничиваются, хотя и не вполне соотносительны с ними, «экспрессивно-синонимические значения». Во-вторых, им выделяются типы значений с точки зрения сочетаемости слов, выступающих в данных значениях. В этом плане разграничение различных видов лексических значений слов проведено наиболее детально и последовательно (об этом см. дальше). Что касается выделения разных типов лексических значений с точки зрения их «непосредственной направленности» на предметы и явления действительности, — а следовательно, в зависимости от их парадигматической обусловленности другими значениями, — то здесь еще предстоит решить целый ряд вопросов.

В частности, должны быть, по-видимому, приняты во внимание следующие различия.

В основе лексического значения ряда слов лежит выражение о т н о ш е н и я, то есть называемые этими словами предметы и явления действительности обозначаются по их отношению к каким-то другим предметам и явлениям. Это ярко проявляется у местоимений. Однако аналогичный в этом плане характер имеют лексические значения и некоторых, например, имен существительных. Возьмем слова: *отец, сын, брат* и т. д., *сосед, приятель, оппонент, сослуживец, тезка, предшественник, начальник* и т. п., — легко заметить, что подобные наименования основаны на отношении обозначаемых «предметов» к другим «предметам», причем их относительный характер проявляется в том, что при изменении «точки отсчета» изменяется и характер отношения, а соответственно и наименование. Ясно, что *отцом, другом, соседом* и т. п. какое-то лицо является только по отношению к кому-то другому, причем одно и то же лицо,

[1] В. В. В и н о г р а д о в, Основные типы лексических значений слова, «Вопросы языкознания», 1953, № 5, стр. 4.

естественно, может быть одновременно в разных отношениях с разными лицами — быть и *отцом* и *сыном* и *другом* и *врагом* и т. п., то есть и самое парадигматическое противопоставление определяется здесь «точкой отсчета». Ср.: «— Где это ты, *дед*? — удивился Саша (он *отца*, с тех пор как появились свои детишки, стал звать дедом)» (Солоухин, Владимирские проселки). Или в загадке, помещенной в сборнике М. А. Рыбниковой: «Мать с дочерью, да мать с дочерью, да бабушка со внучкой, а всех трое. (*Мать, дочь, внучка.*)»

Другой тип лексических отношений представлен словами, вроде *много — мало, далекий — близкий, быстрый — медленный* и т. п. Эти значения также относительны в том смысле, что они требуют какой-то «точки отсчета», которая меняется в зависимости от определяемых соответствующими словами явлений, а также в связи с субъективной точкой зрения говорящего. Понятно, что, скажем, в словосочетаниях *высокий человек, высокая сосна, высокий дом, высокая гора* и т. п. определение *высокий* имеет неодинаковое «предметное значение», — ни у кого не возникает, однако, мысли, что в этих различных словосочетаниях оно выступает в разных лексических значениях. Ср. замечание физика Б. М. Понтекорво о «медленных процессах» в области элементарных частиц: «Процессы, вызванные слабыми взаимодействиями, часто называют «медленными», так как это время относительно велико. Читатель, правда, может удивиться тому, что явление, происходящее, скажем, за одну миллионную долю секунды, классифицируется как медленное. Такое время жизни характерно, например, для распада мю-мезона, вызванного слабыми взаимодействиями. Но все познается в сравнении. В мире элементарных частиц такой промежуток времени действительно весьма продолжителен, поскольку он сравнивается с «нормальным» масштабом времени, характерным для сильных взаимодействий (10^{-23} секунды)». На сравнении в широком смысле и основаны подобные значения, существующие как члены определенных антонимических противопоставлений, то есть как соотносительные значения слов-антонимов.

К антонимическим рядам, как мы видели, часто примыкают слова с «экспрессивно-синонимическими значениями». Эта группа слов была отчасти очерчена

В. В. Виноградовым, который исходил, впрочем, из стилистических критериев. «У многих слов, — писал он, — принадлежащих как к основному словарному фонду, так и к прочей части словарного состава языка, есть стилистические синонимы в разных пластах, или слоях лексики. Значительная часть этих синонимов лишена прямого, свободного номинативного значения. Подобные синонимы выражают свое основное значение не непосредственно, а через то семантически-основное, или опорное слово, которое является базой соответствующего синонимического ряда и номинативное значение которого непосредственно направлено на действительность»[1]. Представляется возможным расширить границы данной группы, включая в нее не только стилистические синонимы, но шире — вообще слова, являющиеся экспрессивными (экспрессивно-стилистическими, экспрессивно-оценочными и т. д.) синонимами слов с непосредственно номинативными значениями, через которые и определяются (что наглядно, например, в определениях толковых словарей) соответствующие экспрессивно-синонимические слова, или точнее — слова с экспрессивно-синонимическим значением. Например: *лошадь — кляча, одер, конь; гордость — гордыня* («непомерная гордость») и т. п. Ср. антонимическое противопоставление *хороший — плохой* и примыкающие к обоим членам противопоставления такие экспрессивные синонимы, как *замечательный, прекрасный, чудесный, великолепный* и т. д., с одной стороны, и *отвратительный, безобразный, мерзкий* и т. п., с другой.

Характер словарных толкований во многом зависит именно от характера лексического значения толкуемого слова; различия в построении этих толкований фактически отражают (иногда даже вопреки лексикографическим установкам составителей) объективное существование в языке разных типов лексических значений слов, разных видов их парадигматической зависимости от других значений. Например, можно разграничить, по-видимому, слова, лексические значения которых имеют более

---

[1] В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, «Вопросы языкознания», 1953, № 5, стр. 13—14. Решительно возражает против этой точки зрения В. А. Звегинцев (см. Семасиология, изд. МГУ, 1957, стр. 173 и сл.).

определенную «предметную» направленность, и слова, лексические значения которых имеют менее определенную «предметную» направленность. Последние представляют результат большей абстракции и обобщения, хотя нужно заметить, что данное разграничение не совпадает с распространенным делением лексики на конкретную и абстрактную. Так, например, и конкретные существительные, вроде *ведро, дерево, река* и т. п., и абстрактные, вроде *радость, рассуждение, анархия* и т. п., характеризуются «конкретной», определенной предметной направленностью, их собственная семантика может быть раскрыта при помощи более общих (родовых) обозначений, с указанием на соответствующие дифференциальные семантические признаки. Что касается ряда других значений, например, присущих таким словам, как *растение, вместилище, точка, линия, действие, чувство, отношение* и т. п., — то их определение невозможно в терминах «дифференциальных признаков», поскольку на них как бы обрываются собственно парадигматические лексические связи в том смысле, в каком они были очерчены выше. Ср. *идти, бежать, течь, лететь, плыть* и т. д. и *двигаться, перемещаться* и т. п.

Разумеется, сказанное о типах лексических значений слов не только не освещает всей сложности проблемы, но и не претендует на сколько-нибудь полный перечень возможных путей их выделения. Вопрос этот требует специального исследования, здесь же были фрагментарно намечены лишь некоторые аспекты его рассмотрения.

Поскольку значения слов претерпевают изменения, меняются, конечно, и парадигматические отношения между словами. Однако нужно заметить, что от характера этих отношений во многом зависят и те изменения, которым подвергаются лексико-семантические единицы. Иначе говоря, благодаря сдвигам в семантике отдельных слов, возникновению новых слов и т. д. происходят изменения в соответствующих парадигмах, но в то же время структурные особенности парадигм до известной степени определяют возможности семантических изменений входящих в них слов.

Так, например, названия определенных времен года (*зима, весна, лето, осень*) образуют замкнутую лексико-

семантическую парадигму с четко очерченным распределением семантических функций между ее членами (это, разумеется, не то же самое, что четкие календарные границы между соответствующими сезонами или однозначные «погодные» признаки каждого из них). Указанное соотношние слов обусловило «кристаллизацию» их значений.

Слово *лето* в единственном числе перестало употребляться в значении «год», что было характерно для древнерусского периода; ср. обычное начало летописных записей «В *лѣто* (такое-то)...». Непосредственная сопоставленность этих двух значений («год» и «одно из времен года») имела, кроме того, характер терминологической сопоставленности («одно из четырех времен года»), что делало неудобным их объединение в семантической структуре одного и того же слова, — и оно было разрушено; во множестве же других случаев метонимическое обозначение целого по его части, и наоборот, является, как известно, источником устойчивой многозначности слов.

Еще более показательна судьба слова *зима*. В древнерусском языке оно выступало в двух значениях: 1. «зима, зимнее время»; 2. «холод». Примеры на первое значение: «В то ж лѣто на *зиму* бысть *зима* тепла, не бысть снѣга чересъ всю зиму» (I Новгородская летопись XIII—XIV вв., под 1303 г.); «ту *зиму* перестряпъ на лѣто всѣде на конь» (Лаврентьевская летопись 1377 г., под 1197 г.); «творя от нощи день, а от *зимы* весну, а от буря тишину» (Ипатьевская летопись около 1425 г., под 1172 г.); «уностьная крѣпость подобна есть веснѣ, а средовѣчьство осени, старость же *зимѣ*» (Пчела, XII—XIII вв.) и т. п. Примеры на второе значение: «на воинѣ и на ловѣхъ, ночь и день, на зною и на *зимѣ*, не дая *собѣ* упокоя» (Лаврентьевская летопись 1377 г., под 1096 г., Поучение Мономаха); «и на ту осень бысть *зима* зла велми» «Ипатьевская летопись около 1425 г., под 1187 г.); «Се въпросимъ бывъ, како съ правдою жити, и отвѣща, якоже и при огнѣ, ни велми ся приближити, да ся не ожьжеть, ни далече отступити, да *зима* не постигнеть» (Пчела, XII—XIII вв.); «аще ти спящю, *зима* будеть, потърпи мало, глаголя, яко инии отинудь не спять» (Лобковский пролог, XIII в.) и т. п. Ср. столкновение

обоих значений слова в такого рода контекстах: «ни в *зиму* боимся *зимы*, ни в лѣтѣ зноя» (Пролог из Юрьевского Новгородского монастыря, XIV в.).

Можно ли утверждать со всей определенностью, что оба эти значения, выделяемые нами в соответствии с их самостоятельным лексическим выражением в современном языке, были столь же отчетливо отграничены друг от друга для носителей древнерусского языка? Ответ на этот вопрос не столь уж бесспорен. Во всяком случае целый ряд примеров из древних памятников дает слово в таких контекстах, которые не позволяют решить, в каком из значений употреблено слово. Только там, где оно выступает в каком-то сопоставлении с другими обозначениями времен года (или в сопоставлении с синонимами и антонимами к значению «холод», то есть словами *мороз*, *зной* и др.), оно более или менее отчетливо соответствует значению «зима» или же «холод». Несомненно, что это сопоставление (отражающее парадигматическое соотношение слова) — благодаря терминологической замкнутости названий времен года — и определило дифференциацию значений, а также последующее вытеснение одного из них.

Примерно то же самое произошло со словом *недѣля*, которое обозначало в древнерусском и неделю, и один из дней недели[1]. Объединение в слове двух значений оказалось и в данном случае противоречащим их терминологической сопоставленности, и одно из них перешло к другому слову (*воскресенье*), которое успешно выдержало груз многозначности, поскольку его разные значения не находились в близких парадигматических отношениях друг с другом. Для сравнения можно вспомнить, что слово *месяц* также наделено двумя значениями, совмещение которых не приводит ни к какой двусмысленности.

Необходимость более точного смыслового разграничения тематически объединенных слов, а следовательно,

---

[1] «Второе значение, несомненно, позднее, образовавшееся вместе с распространением христианства. Семантический дуализм слова был устранен образованием у русских нового термина *воскресенье* и еще ранее в древнецерковнославянском языке *седьмица*» (Ф. П. Филин, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи, Л., 1949, стр. 116).

установления более четких парадигматических отношений между их значениями в ряде случаев связана с известной «терминологизацией» соответствующих обозначений в каких-то определенных функциональных стилях речи (например, в деловой или научной письменности). Сказанное может быть проиллюстрировано историей слов, обозначающих различного рода постройки (жилые, хозяйственные и т. д.).

На протяжении первых веков существования древнерусской письменности слова *дворъ, домъ, храмъ, хоромъ, храмина, хлѣвина, клѣть* и др. не обнаруживают достаточно отчетливой смысловой разграниченности. Так, для слова *дворъ* в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского отмечены значения «жилище, дом, усадьба», «двор вне дома», «дворня». Как указывает Ф. П. Филин, «основное значение *двор* — «жилое помещение (или несколько помещений) вместе со всеми хозяйственными пристройками и местом, занимаемым строениями», а также «обитатели двора». Такое широкое значение в речи иногда суживалось по принципу называния «части по целому», в связи с чем слово выступало в значениях «ограда, забор», «незастроенное пространство на дворе» и др. [1]. Слова *домъ* и *храмъ, храмина, хлѣвина* и *клѣть* и др. употребляются в памятниках довольно непоследовательно, причем в разных списках того же произведения нередко выступают одно взамен другого. Отсутствие четкого парадигматического соотношения между данными словами, как и во многих других случаях [2], не создавало, по-видимому, затруднений для говорящих. Более точная предметная направленность слова, опять-таки как и в других случаях, определялась контекстом — в той мере, в какой это было необходимо для взаимопонимания; ср.: «и вшедъ в *домъ*, сѣдяше предъ *храмомъ*, в немъ же бѣ пиръ творимъ» (Чтение о Борисе и Глебе, XI в., сп. XIV в.); «нѣкто... живяше въ *храминѣ*... по времени же купи собѣ инъ *домъ* и отиде от *хлѣвины* тоя, вземъ свое...»

---

[1] Ф. П. Филин, Ук. соч., стр. 157.

[2] Ср. хотя бы отсутствие четких границ между возрастными обозначениями, — характерен такой пример (из Пролога, нач. XIV в.); «пришьдши же мати *отрочати* от баня и вьниде к *дѣтищю*, да его надоить, и егда откры лице *младенцю*, нача *дѣтя* по обычаю верещати»,

(Рогожский пролог, XIV в.) и т. п. Однако понятно, что в документации, касающейся имущественных отношений, требовались более дифференцированные обозначения для соответствующих объектов. Поэтому в актах о купле-продаже, наследовании и т. д. устанавливается довольно четкая система названий жилища и его частей, хозяйственных построек, частей усадьбы и т. д. Например, в грамотах XVI века: «... да въ Пушлахте въ губе дворъ, а во дворе *хоромовъ* 2 *горници* съ *комнатами,* 3 *повалуши* на подклетехъ, промежъ *горници* и *повалуши сени* да промежь *повалуши погребъ* осыпной съ полатми и съ присениемъ, да на улице *анбаръ* на подклетехъ четверы двери да *житница хлебная*» (Купчая, 1568 г.); «А продалъ есми язъ, Михайло, ту осмую долю обжы земли и съ *дворомъ*, и со всѣми *хоромы*, а во дворе *хоромъ: изба съ прирубомъ* да противъ *клѣть* на подклѣте, да *сѣнникъ* на *хлѣве*, да *мылна*, да *сарай*, и *тынъ дворовой* и съ вороты, и *овинъ* съ ригачемъ» (Купчая, 1571 г.); «а *хоромъ* на томъ моемъ *дворѣ*: *горница столовая* бѣлая на подклѣте съ *сѣнми* на подсѣньи, да *горница* съ *комлатой* на подклѣти жъ, да сѣни на подсѣньи, да *повалуша* на подклѣте, да передъ *комлатой сени* же да *горенка* на подклѣте съ сѣнми жъ, да *сушило съ перерубомъ*, а у сушила свои двери, а подъ сушиломъ *погребъ* да *ледникъ*, да *мылня* на срубе, а передъ мылней *сѣни*, да двои ворота, ворота большие на Досланю улицу, а другие ворота на Яколю улицу; да *огородъ* з деревцами сь яблоневыми» (Купчая, 1583 г.) и т. п. Можно полагать, что вынужденная семантическая дифференциация подобных слов в деловой письменности отражалась и на их соотношении в других типах речи. Ср. также постепенное устранение многозначности (разными путями) у таких названий, как *волость, село, деревня, посад, слобода* и т. п.

Семантическое (или семантико-стилистическое) размежевание слов, принадлежащих к той же тематической группе, иногда сталкивается с отчасти противоположным процессом семантической аналогии. Этот процесс заключается в определенном взаимовлиянии сопоставленных по каким-либо семантическим признакам слов, в том, что слова, относящиеся к той же предметно-тематической группе, нередко развивают сходные «вторичные» значения или вообще видоизме-

няют свое основное значение в одинаковом направлении. Это было отмечено еще в конце прошлого века [1] и с тех пор неоднократно останавливало на себе внимание исследователей, обозначающих данное явление как «синонимическую деривацию», «синонимическую аналогию» и т. п. Например, во французском арго для обозначения «головы» используются названия ряда плодов (в соответствии со схемой: «голова» = «название какого-либо круглого плода») [2] и т. п. Можно заметить, что термин «синонимический» при наименовании указанного явления не является вполне однозначным, так как семантическая аналогия касается не только синонимов, но вообще тематически сближаемых слов.

Она охватывает, в частности, и антонимы; ср. параллельное развитие ряда переносных оценочных значений у прилагательных *высокий* и *низкий*, *широкий* и *узкий*, *легкий* и *тяжелый*, *светлый* и *темный*, *холодный* и *горячий*, *острый* и *тупой* и т. д. Семантически близкие слова (синонимы) *пропасть*, *бездна*, *прорва* (в словаре В. И. Даля среди других с пометой «вологодское, тамбовское» отмечаются и следующие значения: «пропасть, бездна, провал или бездонная яма») одинаково служат для выражения «большого количества» чего-то; ср.: «Народу сбежалось *бездна*, все кричали» (Л. Толстой, Поликушка); «— И куда она экую *прорву* деньжищ девает! — удивлялся он... — Ишь, *пропасть* какая деньжищ! — восклицал он...» (Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы) [3]. Экспрессивное обозначение «множества» разнообразно в русском языке; в частности, очевидна аналогия *воз — вагон*; ср. «Улик представлен целый *воз*» (Крылов, Щука); «Шаманова: В Москве я бываю редко, а друзей и забот московских у меня *вагон* — надо бежать!» (Арбузов, Таня) и т. п. Тогда как слова *пропасть*, *бездна*, *прорва* образуют действи-

---

[1] M. Schwob, G. Guieysse, Étude sur l'argot français, «Mémoires de la Société linguistique de Paris», VII, P., 1889.

[2] См. B. Migliorini, Calco e irradiazione sinonimica, «Saggi linguistici», Firenze, 1957, стр. 16.

[3] Возможно, на образование экспрессивных обозначений «множества» указанного типа повлияло давнее применение в этом значении слова *тьма*, имевшего в древнерусском также «терминологическое» значение «десять тысяч» (по-видимому, само по себе «вторичное»), что как бы «олитературивало» и закрепляло его употребление и для экспрессивного обозначения «большого количества».

тельно синонимический ряд, *воз* и *вагон*, естественно, не находятся в синонимических отношениях.

Сложные процессы сближения и расхождения значений различных слов, объединенных в одной тематической группе, демонстрируются глаголами движения, история которых в русском языке сравнительно хорошо изучена [1].

Показательна между прочим судьба глагола *брести* (*бродити*). Глагол этот первоначально имел в древнерусском специализированное значение «идти вброд», таким образом не находился в собственно синонимических отношениях ни с одним из других глаголов движения. Однако начиная с XV века он испытывает семантическое воздействие со стороны других глаголов движения. Под влиянием *ити* у него возникает значение «медленно двигаться (пешком по земле)». Под влиянием другого глагола той же группы — *бѣжати* — он приобретает значение «убегать, уходить» (ср. архаическое для современного языка *бежать чего-либо*). Взаимодействие глагола *брести* с другими глаголами движения имело и противоположные результаты. Так, у *лѣзть* отмечается в этот период значение «идти вброд», переданное ему глаголом *брести* [2]. Семантическая однонаправленность глагола была поколеблена, а одно изменение во взаимоотношениях слова с семантически смежными словами обычно влечет за собой и другие. Происходит своеобразная «цепная реакция».

На судьбе слов той же группы, значения которых полностью или частично совпадали, можно видеть и основные пути развития синонимов. Прежде всего обращает на себя внимание тенденция к семантической или стилистической дифференциации синонимических средств.

---

[1] См. Ф. П. Филин, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи, Л., 1949, стр. 187—199; А. И. Кузнецова, О типах смысловых отношений в группе глаголов движения в древнерусском языке, «Вестник МГУ», 1961, № 1; А. И. Кузнецова, Смысловые отношения и их исторические изменения в лексико-семантической группе глаголов движения русского языка, Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук, М., 1963.

[2] См. А. И. Кузнецова, Смысловые отношения и их исторические изменения в лексико-семантической группе глаголов движения русского языка. Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук, М., 1963, стр. 11.

Совпадающее значение закрепляется обычно за каким-то одним словом, в то время как другое в дальнейшем используется для выражения особого, более специального значения или же приобретает характер стилистического синонима. Так, наряду с глаголом *ити* (идти) в значении «двигаться вообще, передвигаться» в древнерусском языке употреблялись *грясти, шествовати, лѣзти, течи.* Глаголы *грясти* и *шествовати* (церковнославянизмы по происхождению) сохранились в языке в числе слов «высокого стиля», вместе с тем получив дополнительные смысловые оттенки. Первый в современном языке значит, собственно, не просто «идти», а «надвигаться», второй — «идти важно, торжественно». Ср.: «В терновом венце революций *грядет* шестнадцатый год» (Маяковский, Облако в штанах); «Даже грубоватый Рославлев, повстречав ее на лестнице, склонился в шутливом поклоне. — Вы не идете, вы *шествуете*! Перед вами расступаются» (Николаева, Битва в пути) и т. п. Глагол *лѣзти* специализировался для выражения значения «лезть», свойственного ему (наряду с более общим значением) уже в древнерусскую эпоху; ср. в «Материалах...» И. И. Срезневского: «лѣзущи чресь стѣну оградную, спадши, раздразися», «лѣсти на дрѣво в высоту». Подобная же семантическая специализация обнаруживается у глагола *течи* (см. об этом глаголе выше).

В других случаях конкуренция между словами-синонимами заканчивается полным вытеснением из языка отдельных слов. Например, для древнейшей эпохи русского языка отмечается синонимичность глаголов *плавати, блудити, бырати* в значении «скитаться» (позднее в результате семантической аналогии это значение распространилось и на глагол *бродити*) [1]. Глагол *плавати* утратил способность выражать данное значение, глагол же *бырати* вообще был вытеснен из всех стилей языка.

Синонимические связи слов находят яркое выражение в способности синонимов образовывать сходные ряды производных; это наглядно в тех случаях, когда семантика производных индивидуальна, находится вне

---

[1] А. И. Кузнецова, Смысловые отношения и их исторические изменения в лексико-семантической группе глаголов движения русского языка. Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук, М., 1963, стр. 11.

основных значений соответствующей словообразовательной модели. Так, синонимичность слов *глаголати* и *говорити* в древнерусском проявляется, кроме всего прочего, в общем значении префиксальных *оглаголати* и *оговорити* («обвинить, оговорить»). Совпадение глаголов *творити, дѣлати, зьдати* в отдельных значениях находит подтверждение в общности семантики таких образований, как *затворити, задѣлати, зазьдати* («затворить», «заключить кого-либо где-либо») [1]. Первое и второе из них сохраняют то же или близкое значение и в современном языке (глагол *заделать* следующим образом определен в «Толковом словаре...» под редакцией Д. Н. Ушакова: «заполнив, закрыв наглухо какое-н. отверстие, сделать его незаметным, заровнять»; «закрыть, закупорить, забить, упаковать» — с пометой «разговорное»); третье не закрепилось в языке, так же как и сам исходный *зьдати*, сохранившийся, однако, в таких образованиях, как *создать, зодчий* и т. п. Ср. в древнерусском: «шедъ же в пещеру, *зазда* о собѣ двери» (Киево-Печерский патерик, 1225—1226 гг., сп. 1406 г.); «входяще в пещеру... и *заздахъ* о немь дверци, и тамо пребываше до суботы лазаревы постяся» (Прилуцкий пролог, XIV—XV вв.) и т. п. Количество подобных примеров можно было бы значительно увеличить.

Перемещения слов внутри определенных групп лексики, изменения их значений ведут, естественно, к изменению семантических отношений, существующих внутри той или иной группы. Вместе с тем следует отметить, что существуют такие семантические отношения, которые достаточно устойчиво сохраняются в языке, как бы независимо от индивидуальной судьбы выражающих их слов.

Так, целый ряд антонимических противопоставлений, отражающих некоторые общие отношения, остается в языке, по существу, неизменным, несмотря на различного рода перемещения, претерпеваемые самими словами-антонимами.

Например, прилагательное *легкий* многозначно в русском языке, и разными значениями оно противостоит разным словам — *тяжелый, трудный, крепкий*. Противопоставление *легкий — тяжкий* возможно в современном

[1] Ср. *зачинити, відчинити* в украинском языке.

русском языке только в определенных словосочетаниях (*тяжкое наказание — легкое наказание* и т. п.). Оно было значительно более полным в предшествующие эпохи развития русского языка (вплоть до XVIII века), когда прилагательное *тяжкий* употреблялось еще в значении «имеющий большой вес»; ср. в памятнике XVII в.: «Нѣкоему коню, впряженну в *тяжкий* возъ, хотя минути блатину, ввалися в ню»[1]. Появление прилагательного *тяжелый*, отмеченного впервые в XIV веке[2], привело к постепенному семантическому и стилистическому ограничению прилагательного *тяжкий*. Однако самый характер противопоставления слов, обозначающих вес, остался прежним, хотя и был заменен один из членов прежней антонимической пары *легкий — тяжкий*.

Антонимическое противопоставление слов *плохой — хороший* выражает в общем то же отношение, что и противопоставление *худой — добрый* в древнерусском языке. Хотя последние резко изменили свои значения и переместились в разные парадигматические (в том числе и антонимические) ряды (своего рода семантическим реликтом является противопоставление этих слов в их прежних значениях в пословице «худой мир лучше доброй ссоры»; ср. также реализацию прежних значений слов в таких образованиях, как *худо, доброкачественный, добротный* и под.), выражение общей качественной оценки (при помощи соотносительных значений «плохой» — «хороший») сохранилось в языке, перейдя к другим лексическим единицам.

Отношения между значениями лексических единиц языка, наблюдаемые в тот или иной период, так же как и изменения этих отношений, определяются не только содержанием этих единиц, характером «распределения смысла» между ними, но иногда и такими особенностями лексических единиц, которые, будучи посторонними для их семантики, в то же время вытекают из самой «субстанции» языка.

Значения существуют для нас лишь постольку, поскольку они закреплены за определенным материальным

---

[1] См. Г. Н. Лукина, Антонимические прилагательные в памятниках древнерусского языка (XI—XVII вв.), сб. «Историческая грамматика и лексикология русского языка. Материалы и исследования», М., 1962, стр. 156.

[2] Там же, стр. 149 и сл.

знаком. Природа этого знака, его, так сказать, внешняя форма не может не обусловливать известных особенностей тех значений, с которыми он связан и для выражения которых он используется. То, что значения слов выражаются через присущие данному языку звуки, не только определяет своеобразие языка как средства общения в целом, но и влияет в некоторых случаях на самые значения тех или иных слов.

Речь идет здесь не о самостоятельной «ценности» или «выразительности» звуков как таковых. Не останавливаясь на этом вопросе, отметим только, что в реальном языке, где звуки не являются носителями собственных значений, а выступают как смыслоразличители в составе морфем и слов, их самостоятельная «выразительность» не может играть сколько-нибудь заметной роли. Это не значит, однако, что продолжавшиеся в течение веков попытки определить собственный «смысл» звуков (например, установить, какие эмоции или представления способен вызвать каждый из гласных и согласных сам по себе) основаны целиком на недоразумении и иллюзиях. Звуки речи, будучи различными по своей материальной природе, несомненно, в какой-то мере различаются и своей, условно говоря, эмоциональной выразительностью. Дело только в том, что в языке они не выступают сами по себе, так чтобы эта выразительность могла проявиться независимо от значений конкретных слов, в оформлении которых они участвуют. А понятно, что эти значения и являются существенными при речевом общении.

Говоря о звучании слов, мы будем в дальнейшем рассматривать звуковую сторону именно с л о в, то есть значимых единиц языка. В этом смысле особенности звучания слова далеко не всегда безразличны и для нашего восприятия его значения, его предметной отнесенности.

Слово, писал Вандриес, «вызывает звуками и значениями сближения, вводящие в заблуждение. Здравый смысл их осуждает; наивный ум эти заблуждения принимает за действительность. Была высказана мысль и частично доказана, что мифология есть не что иное, как болезнь языка. То же можно сказать и об агиографии (жития святых). Большинство святых целителей обязаны своей предполагаемой целебной силой игре слов на их именах. В так называемой «народной медицине»

мы найдем немало рецептов, основанных на игре слов...»[1]

Легенды, связанные с попыткой истолковать те или иные названия, чрезвычайно разнообразны и многочисленны у всех народов. Можно вспомнить об одной из них, приведенной в древнейшей русской летописи (в «Повести временных лет»): «И быша 3 братья, единому имя Кий, а другому Щекъ, а третьему Хоривъ, и сестра их Лыбедь. Сѣдяше Кий на горѣ, идѣже нынѣ увозъ Боричевъ, а Щекъ сѣдяше на горѣ, идѣже нынѣ зовется Щековица, а Хоривъ на третьей горѣ, от негоже прозвася Хоривица; и створиша градъ во имя брата своего старѣйшаго, и нарекоша имя ему Киевъ».

Легенды, вызванные к жизни звуковыми сближениями, не только достояние глубокой древности. Они возникают и в наш век. Ср.: «— Это опасное место, тут *малярная лихорадка* живет, — *маляр* один костромской наслал самую злую сестру — лихорадку сюда... Денег ему недодали, что ли, не помню причины случая...» (Горький, Калинин); «Искали хохлы переселенцы деревню,— слышу я голос Зырянова. — Нашли. Стали гадать: *«Чи та? Чи не та?»* Оказалась та. Отсюда и пошло название *Чита»* (С. Воронин, Две жизни) и мн. под.

В рассказе Куприна «Лесная глушь» приводится легенда о канюке, наказанной за нежелание рыть с другими птицами колодец: «Вот с тех пор летает эта самая птица и кричит, а наибольше летом... Хочется ей пить, а напиться нельзя. Подлетит к речке — речка ей воды не дает, подлетит к лужице — и та перед ней расступается. Так она от воды до воды летает, и все *канючит*... жалостливо так, вот как сейчас, паныч, слышали... За это самое, что она *канючит*, ее и называют *канюкой».* В этой передаче легенды любопытно то, что происхождение имени объясняется через глагол, который в действительности сам происходит от этого имени (*каня, канюк*). Это любопытно как одно из проявлений общей закономерности: стремление говорящих в первую очередь найти «смысл», то есть мотивировку, имени-названия.

Звуковая форма слов не воспринимается говорящими как что-то условное, внешнее по отношению к содержанию слова. Характерно такое признание героя романа

[1] Ж. Вандриес, Язык, М., 1937, стр. 173.

В. Каверина «Два капитана»: «Я был очень огорчен, прочтя через много лет в новом переводе «Тысячи и одной ночи», что нужно читать не Сезам, а Сим-Сим, и что это какое-то растение, кажется, конопля. Сезам — это было чудо, заколдованное слово. Как я был разочарован, узнав, что это — просто конопля».

В звуковой близости слов (как основанной на их этимологическом родстве, так и случайной) нередко таится возможность той или иной оценки или же какого-то переосмысления одного из них. Ср.:

«— Что значит варяги? — настойчиво повторил Курганов.

Анна молчала, а старик объяснил с прежней покорностью:

— Варяг — значит и не ворог, да хуже ворога. Сторонний, временный человек» (Николаева, Битва в пути).

В толкованиях снов (воспроизводимых, в частности, в произведениях А. Н. Островского, Чехова и др.) многие «приметы» основаны на звуковой близости самих слов: «печь — значит печаль», «речка — речи», «лошадь — ложь» и т. п.

В то же время в нашей обиходной практической речи звучание слов, если оно не становится по тем или иным причинам специально предметом нашего внимания, часто попросту не «замечается» нами. Существенно при этом, что, чем привычнее для нас слово, тем меньше мы обращаем внимание на его звуковую сторону — на звуки как таковые и на их сочетания в составе слов.

Слыша, например, слово *вода*, мы, конечно, прежде всего думаем о «воде», так же как в разных ситуациях — о разных ее свойствах и о связи с ней разных других предметов, явлений, свойств, но не о том, что это звуковой комплекс, состоящий из четырех звуков [вада], и не о словах, только по своему звуковому составу в чем-то сходных со словом *вода* или же отличающихся от него. Точно так же, когда, например, говорящий просит дать ему пить, выбор слова *вода* может зависеть только от предметной значимости слова в ряду других предметно соотнесенных в данной ситуации с ним слов (например, *чай, квас, молоко* и т. д.), но не от его собственно звуковой характеристики и чисто звуковой близости к каким-то другим словам.

И наоборот. Чем непривычнее для нас слово, тем заметнее становится его звуковой состав, тем чаще мы соотносим его с другими словами именно по звуковому сходству, разлагаем слово на звуковые «отрезки», каклибо ассоциирующиеся со знакомыми нам единицами языка. Конечно, подобные ассоциации часто бывают совершенно случайными. Например, в трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» рассказывается о том, как восприняла Катя революцию, и в частности — некоторые появившиеся слова: «Она ничего не понимала в происходящем! Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов: например, совдеп казался ей свирепым словом, ревком — страшным, как рев быка...»

Поскольку новое познается через известное, естественно, что и новые слова, которые возникают перед нами, мы стараемся как-то соотнести с уже знакомыми нам единицами языка. Чаще всего единственным путем к этому бывает выяснение внутренней мотивированности слова, то есть или разложение слова на составляющие его элементы, которыми определяется его значение, или обнаружение тех дифференциальных признаков известного нам значения этого слова, которые легли в основу его нового (для нас) смыслового применения. Стремление к «мотивировке» лексического знака обычно проявляется именно при узнавании новых слов. Характерно в этом отношении «языковое поведение» детей, для которых многие слова являются как раз новыми. Вот один из многих возможных примеров. В повести В. Тендрякова «За бегущим днем» герой приводит разговор с дочкой, «состоящий из тысячи «почему». Среди вопросов, задаваемых дочкой: «— А почему *чайка* называется *чайкой*? Она же не пьет *чай*. — А почему «*свинец*» такое нехорошее слово?.. Ну, какое же оно хорошее? Мама говорит: «*свинья*» — нехорошее слово. А *свинец* от *свиньи* получился, правда?» Здесь налицо попытка одновременного осмысления и семантической и словообразовательной мотивированности слова (*чай-ка* сопоставляется с *чай*, для обоснования же такого сопоставления нужно, чтобы *чайка* «пила *чай*»). Нередко говорящие ограничиваются возможностью лишь одной из этих мотивировок.

Рассмотрим некоторые характерные случаи вторжения «звуковой формы» слова в его содержание.

1. Осмысление значения слов происходит в соответствии с приписываемой слову «внутренней (или этимологической) формой». Это может быть совершенно субъективное, индивидуальное переистолкование слова: «Директор базы Потейчук, к примеру, назвал Щепетинщикова *«утопистом»*. Тэк-с. Что он имел в виду? Ага: *топит*, мол, Щепетинщиков людей, доводит своими приказами до увольнения. Ну что ж, придется вызвать Потейчука, устроить ему небольшую головомойку...» (В. Аграновский, Щепетинщиков в опале, «Литературная газета», 2 апреля 1963 г.).

В других случаях на основе такого рода сближений возникает более или менее устойчивое в определенной социальной среде употребление слова со специфическим смыслом. Примером может служить слово *мораль*, которое персонажами А. Н. Островского употребляется в таких контекстах: «Татьяна Никоновна: Да послушайте, Пульхерия Андреевна, неужели ж вы что серьезное про Оленьку знаете? Пульхерия Андреевна: Серьезное не серьезное, там как рассудите. Конечно, для девушки *мораль*» («Старый друг лучше новых двух»).

Другой пример — искажение французского *négligé* (от глагола *négligér* «относиться небрежно») в провинциально-салонном жаргоне прошлого: «Только и занималась этими молодыми людьми, а с прочими вела себя *негляже* ни на кого» (Квитка-Основьяненко, Пан Халявский); «Это, — говорит поп, — мне все равно, я к этому отношусь *неглижа*» (А. Толстой, Чудаки).

2. Осмысление значения слова иногда сопровождается каким-то изменением (искажением) его внешнего облика. Этим изменением как бы проясняется внутренняя форма слова, а через нее и самое значение.

Сюда относятся, в частности, случаи, известные как «народная этимология». Нужно заметить, что под этим наименованием многими исследователями объединяются почти все случаи звуковых взаимодействий слов. Есть, однако, среди них очень характерный случай такого переиначивания звуковой формы, при котором «мотивируется» только какая-то часть слова (обычно заимствованного), причем «остаток» так и остается не мотивированным с точки зрения словообразовательных моделей заимствующего языка. Ср. *спинжак* (*спин-* объяснено

через *спина, -жак* не мотивировано), *гульвар* (*гуль-* объяснено через *гулять, -вар* не мотивировано) и т. п.

В древнерусских текстах мы встречаем аналогичные образования; например, вместо *клиросъ* (из греческого κλῆρος) — *крилос* (ср. *крило—крыло*): «Наутрия посла къ патреарху, глаголя сице: «придоша Русь, пытающе вѣры нашея, да пристрой церковь и *крилосъ*, и самъ причинися въ святительския ризы, да видять славу бога нашего». Си слышавъ патреархъ, повелѣ созвати *крилосъ*, по обычаю створиша праздникъ» (Лаврентьевская летопись, под 987 г.); вместо *астрономия* — *остроумия* и т. п.

Хорошо известны индивидуальные образования по типу народной этимологии некоторых русских писателей, в первую очередь Лескова, служащие экспрессивным и характерологическим целям в конкретных контекстах художественных произведений.

3. Звуковой близостью двух слов может быть вызвано появление третьего, совмещающего их звуковые и смысловые черты. Фонетико-семантическая контаминация, в результате которой появляются своеобразные слова-«гибриды», обычно возможна в тех случаях, когда звуковое сходство слов поддержано для говорящего и их смысловым сходством. Примеры таких индивидуальных, не закрепленных развитием языка контаминаций довольно многочисленны. Это факты такого рода: «Ершаков смешивал слова «гений» и «Гейне», и они сливались у него в одно — «Гейним», как он и называл всегда старика» (Чехов, Писатель); «— ...Не-ет, не убажают нонче человеков на земле, — заключила она, имея в виду что-то среднее между уважением и обожанием» (Л. Леонов, Вор) и под.

4. Говорящий раскрывает внутреннюю форму слова не для того, чтобы понять его значение, а для того, чтобы как-то по-новому осмыслить его.

«Сидя у окна в сад или в саду с шитьем в руках, она слышит отрывки беседы Тихона с Никитой, они возятся за ягодником у бани и, сквозь мягкий шум фабрики, просачиваются спокойные слова дворника: — *Скука* — от людей; *скучатся* они в кучу и начинается *скука*» (Горький, Дело Артамоновых); «— Вслушайтесь: *клад-би-ще!* А? Он толкнул меня плечом и объяснил,

понизив голос: — *Клады* бы искать надо здесь! *Клады* разума, сокровища поучений» (Горький, Кладбище).

Намеренный характер переосмысления внутренней формы слова иногда вполне очевиден; ср., например, нередкие в разговорной речи оценочные «этимологизации» в отношении слова *художник* — «художник от слова худо».

Понятно, что устанавливаемые таким образом «этимологии» слов далеко не всегда соответствуют их действительной этимологии. Часто вопрос о подлинности и не интересует говорящего.

Так, Н. Н. Асеев в книге «Зачем и кому нужна поэзия», отметив, что в «ходовом применении» ряда самых простых слов «перестало слышаться первоначальное корневое значение», пишет:

«В самом деле — разве в слове «вода» мы ощущаем то, что она «ведет» куда-то, то есть служит путем, дорогой, какой она была для наших предков, передвижение которых совершалось главным образом по рекам? Моя бабка, помнившая еще крепостное право, всегда поправляла говорившего, что нужно пойти за водой: «За водой пойдешь — не вернешься! По воду пойти—вот как надо сказать!» Для нее слово «вода» было еще полно живого значения пути, уводящего куда-то вдаль». И дальше: «Быть может, наше истолкование значений слов найдут ненаучным, неправильным, но мне кажется, что «день» гораздо правильнее производить от глагола «деять», чем от проязыковых (так. — *Д. Ш.*) корней, ничего не говорящих воображению. Это справедливо по крайней мере для людей, следующих примеру народной этимологии, которая учит нас освоению смысла даже в словах, взятых с чужого языка, прочно вошедших в наш словарный состав».

Приведенные примеры, свидетельствующие о сложных, перекрещивающихся ассоциациях, которые в отдельных случаях обволакивают значения слов, показывают также и то, что внешняя форма не всегда остается чем-то совершенно не существенным для восприятия смысла слова. При соответствующих обстоятельствах случайные звуковые сближения слов могли бы, по-видимому, из фактов индивидуальной речи превратиться

в устойчивые факторы, влияющие на судьбу отдельных слов.

И это действительно так.

Сдвиги в значении слова, так же как и изменения его внешнего облика, иногда бывают вызваны его сближением с другими сходными по звучанию словами.

Выше говорилось о тех контекстных, ситуационно обусловленных заменах и сопоставлениях, основанных на звуковой близости слов, которые стихийно возникают в обыденной речи, а в литературно-художественных текстах могут быть использованы и как одно из средств организации языковой формы произведения. Эти случайные по отношению к семантической структуре языка сближения обычно не затрагивают самой структуры.

Однако в отдельных случаях именно внешнее, звуковое сходство слова с какими-то другими словами начинает устойчиво влиять на его употребление и, в конечном счете, предопределяет его семантическое (а иногда также и фонетическое) преобразование. Поскольку речь идет о случайных совпадениях в звуковой форме слов, естественно, подобные изменения не подчинены каким-либо семантическим закономерностям. Однако они наблюдаются в самых разнообразных языках, и их роль в развитии значений слов не может игнорироваться.

Степень воздействия внешних звуковых сближений на семантику слова в различных случаях оказывается неодинаковой. В одних случаях эти сближения изменяют «этимологическую форму» слова, не влияя существенно на его номинативную функцию, в других — изменение «этимологической формы» слова влечет за собой заметные сдвиги и в его значении.

Например, глагол *жмурить* восходит к тому же корню, что и слова *миг*, *мигать*, *мгновение* с чередованием *г — ж* (то есть он должен быть восстановлен в таком первоначальном виде **mьžuriti*; ср. чешск. *mžourati*, польск. *mrużyć*). Перестановка согласных в корне произошла под влиянием *жму* (*жать*) [1].

Древнерусское существительное *съвѣдѣтель*, производное от глагола *вѣдѣти* «знать» (ср. современные

[1] А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, М., 1907, стр. 145.

ведать, сведующий и др.), уже в древнерусских текстах появляется также и в форме *съвидѣтель*, связываясь с другим глаголом — *видѣти* (ср. *самовидець* в тех же контекстах). Эта форма и закрепляется в дальнейшем в русском языке (современное *свидетель*). Однако, несмотря на то что слово уже связывается с другим «корнем», его общая номинативная функция в целом остается прежней.

Слово *смиренный* и производные от него связываются в современном русском языке с *мир* (ср. также *смирный*). Однако это не подлинная этимологическая форма слова, а результат его позднейшего переосмысления, отраженного в древнерусских памятниках письменности. В древнейших из этих памятников слово выступает в форме *съмѣренъ*. В «Сказании о Борисе и Глебе», дошедшем до нас в составе «Успенского сборника», относящегося к XII веку, находим: *съмѣренъ, съмѣрение* и т. п., например: «къто не почюдиться великууму съмерению, къто ли не *съмѣриться*, оного *съмѣрение* видя и слыша». В тексте того же «Сказания...», включенного в «Сильвестровский сборник» XIV века, на месте этих форм уже формы с корневым *и*: «кто бо не почюдится великому его смирению, кто ли не смирится, оного смирение видя и слыша». Замена первоначальных форм с *ѣ*, указывающих на происхождение слов *съмѣритися, съмѣренъ, смѣрение* от слова *мѣра* (ср. такие производные от того же корня в современном яызке, как *умерить* и др.), формами с *и* наблюдается и в других текстах XIII—XIV веков; например, у Серапиона Владимирского, проповедника XIII века: «села наша лядиною поростоша, и величьство наше смѣрися; красота наша погыбе»; в проповеди Кирилла Туровского, дошедшей в списке XIV века: «от праведникъ смиреномудрие, от грѣшникъ истиньное покаяние» и т. п. Таким образом, перед нами один из бесспорных примеров переосмысления внутренней (этимологической) формы слова.

Аналогичный, но более сложный случай изменения этимологической формы представлен словом *ночлег*. Этимологическая форма этого слова с первого взгляда выглядит вполне ясной. М. Фасмер в своем этимологическом словаре русского языка ограничивается ссылкой

на слова *ночь* и *лежать*[1]. Закономерность и исконность этого образования в русском языке, помимо свидетельств древних памятников письменности, подтверждается, казалось бы, также наличием таких же образований в западнославянских языках (польск. *nocleg*, чешск. *nocleh*). Однако все-таки кажется несколько необычным самый способ сложения основ (без соединительного гласного). Видимо, это заставляет исследователей сопоставлять это образование в западнославянских языках с немецким *Nachtlager*. Для русского языка словообразовательное калькирование по ряду соображений не представляется вероятным. Между тем строение слова требует объяснения. Оно заключается, по-видимому, в следующем.

В древнерусских памятниках это слово представлено многими примерами. Следует отметить, что слово встречается также в форме *начлѣгъ*; например, в «Сказании об Афонской горе Исаии» XVI века: «старци, кои ѣздять во святую гору, или из святои горы, то им тут *начлѣгъ*». Одновременно в сходных текстах употребляется слово *наслѣгъ*; например, в Новгородской II летописи (сп. конца XVI — начала XVII в.): «на царском на *наслѣги*, кудѣ царь и государь начюетъ, коли с Москвы поѣдеть...»

Указанное слово встречается и в произведениях XVIII века, ср.: «Всякий раз приежжали мы на *наслег* обремененными обоими сими натуральными продуктами...» (Записки А. Т. Болотова, т. I); «Два египетские шляхтича... вояжируя по белу свету, зашли и в Русь; остановясь *наслегом* в одной деревне, пришли и на двор, который показался им протчих полутче» (Похождения Ивана Гостин. сына, ч. I);

«Старухе в голову вложил сам сатана
Завидовать боярской неге,
И говорит: Мы спим в худом *наслеге*...»

(В. Майков, О хулителе чужих дел)

В русских народных говорах слово продолжает существовать и позднее. В записях вятских сказок, изданных Зелениным, находим: «Утром приходит хозяин. — Ну што, служивой? каково ночевал? — Да, хорош твой

[1] M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, II, 1958, стр. 229.

наслег!..»; «— Пусти, бабушка, начевать! — Милосьти просим! Ты не перъву ночь, дак чево и просиччя — шол бы прямо в ызбу! *Наслек* не с собой нести!..»[1]

Легко объяснимо то, что слово с менее ясными этимологическими связями было вытеснено, в конце концов, своим семантическим дублетом. Ставшее «изолированным» *наслѣгъ* не могло противостоять синониму с очень яркими «этимологическими» связями (*ночлег — ночевать — ночь*).

Труднее дать бесспорное истолкование «доистории» этих слов, приведшей к их длительному сосуществованию. Слово *наслѣгъ* представляет собой закономерное образование от глагола **сълѣгати* (ср. *сълѣгатися, сълежати* — С р е з н., III, 743, 731). Архаичность и «специализация» значения соответствующих глагольных образований (см. *сълѣгатися*) делали затемненной этимологическую форму этого образования. Поэтому при постоянном контакте с семантически близким словом *ночевать* его «внутренняя форма» легко могла быть переосмыслена. Слово *ночьлегъ*, как можно предположить, и является результатом такого переосмысления. В пользу высказанного предположения говорит словообразовательная нерегулярность самого этого слова. Во всяком случае, слово *ночлег* продолжает историю д в у х синонимических, но этимологически различных образований. Написание *начлегъ* в древнерусских памятниках скорее всего отражает именно данную контаминацию.

Близость по звучанию слов, происшедших от разных корней, создает предпосылки не только изменения этимологической формы отдельных слов, но может явиться причиной и их взаимного смыслового притяжения или своеобразной семантической ассимиляции одного из них другому.

Наглядным примером может служить употребление наречий *вперемежку* и *вперемешку*, различаемых на письме. Понятно, что различение этих слов возможно только при фиксировании внимания на различии их

---

[1] В говорах отмечены и производные. Так, в «Опыте областного великорусского словаря» (Спб., 1852) указаны: *наслéжник, наслéжница,* «ночлежник, ночлежница» с пометой Арханг. Шенк(урское)» (стр. 124).

«этимологической формы» — первое из них связано с глаголом *перемвжать(ся)*, второе с *перемешивать(ся)*. Именно этими связями определяется (в достаточной мере — только теоретическое) разграничение их значения: «перемежаясь, попеременно» и «смешанно, в беспорядке». Ср.: «— У нас, бабушка, *вперемежку*: день блины, да день оладьи...» (И. Горбунов, С широкой масленицей); «Долго перетасовывали места, чтобы дамы сидели непременно *вперемежку* с кавалерами» (Куприн, Поединок) и «Но зато топилась печка, весело шипели и потрескивали дрова, а по стенам трепетно бегали, путаясь *вперемешку*, красные пятна от огня и длинные быстрые тени» (Куприн, Царский писарь); «На полу, *вперемешку* с пакстами чаю и табаку, валялись кожаные перчатки и странные красивые меховые сапоги» (Каверин, Два капитана); «Очень хорошие консервы. Там *вперемешку* макароны и мясо» (Рекемчук, Молодо-зелено) и т. п. Совпадая в произношении, оба эти наречия практически объединяются в одну лексему. В «Толковом словаре...» под редакцией Д. Н. Ушакова под словом *вперемежку* указано: «Обычно смешивается с нареч. вперемешку», а для *вперемешку* выделено второе значение — «То же, что *вперемежку*». Легко заметить, что в ряде контекстов различие между, так сказать, «этимологическими» (связанными с отнесением к тому или иному корню) значениями этих слов вообще стирается. Например: «Возле пушки на толстом слое рыжей старой хвои сидели *вперемешку* бойцы Хорышева и те пятеро артиллеристов, о которых он доложил Серпилину» (Симонов, Живые и мертвые) и т. п. Собственно, и самая фраза, иллюстрирующая в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова «второе значение» наречия *вперемешку* («Васильки росли *вперемешку* с клевером»), может быть, по-видимому, осмыслена также и в соответствии с его «первым значением».

Таким образом, совпадение в звучании слов (при заметной близости к тому же самих исходных значений) предопределило их смысловое взаимодействие.

Слово *куща*, обозначавшее в старославянском и древнерусском «шатер, палатка» (ср. в современном болгарском: *къща* — «дом, жилище», в сербском: *кућа* — «дом», *кућани* — «домашние, домочадцы» и т. д.),

встречается как архаизм у поэтов XIX века; ср. в поэме Пушкина «Цыганы»:

«Певец любви, певец богов,
Скажи мне, что такое слава?
Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий
Или под сенью дымной *кущи*
Цыгана дикого рассказ?»

Исчезая из языка в своем первоначальном значении, слово продолжает, однако, применяться в поэтическом языке как метафора, в сочетании со словами *ветви*, *листья* и т. п.; например у Блока:

«В том раю тишина бездыханна,
Только в *куще* сплетенных *ветвей*
Дивный голос твой, низкий и странный,
Славит бурю цыганских страстей».

(Из цикла «Кармен».)

Очевидно, внешняя аналогия со словами *кусты* (ср. *куститься — кущение*), *густой — гуща*, *чаща*, *пуща* «густой лес» поддержала это метафорическое употребление слова и способствовала его переосмыслению в современном языке как «поэтического» обозначения «густой зелени листвы, чащи», «крон деревьев» при явном забвении первоначального «неметафорического» значения. Ср.:

«Старый дом, глядя на дымные луга багровыми окнами, словно поднялся по пояс из темных *кущ*, оживший, угрюмо нарядный...» (А. Толстой, Петушок); «Он улыбнулся, сорвал метелку конопли, растер в ладонях зерна, понюхал и поглядел налево, где за колокольней начиналась *куща* барского сада» (А. Толстой, Приключения Растегина); «День был теплый, парной, в легкой нежно-голубой мгле вырисовывались... полукруглые крыши высоких домов, маркизы над окнами, пышные *кущи* каштанов» (А. Толстой, Гиперболоид инженера Гарина); «В речах старика «вселенная» и «вечность» приобретали весомость. Галактика становилась такой же реальной и близкой, как *кущи* тихих деревьев у балкона» (Николаева, Битва в пути) и т. п.

В «Словаре современного русского литературного языка» (изд. АН СССР, т. 5, 1956, стр. 1915) подобное употребление слова расценивается как его особое (второе) значение: «зелень, заросли, чаща».

Семантическим взаимодействием близких по звучанию слов обусловлена, по-видимому, история возникновения прилагательного *распутный* (и производных от него) в русском языке. Его этимология представляется как будто бы вполне прозрачной (связь со словами *распута*, *распутица*, с которыми в «Толковом словаре...» В. И. Даля оно и приведено в одном гнезде). Данное слово не отмечается ни А. Г. Преображенским, ни М. Фасмером. Между тем семантическое движение к современному значению не является, по-видимому, непосредственным развитием его метафорических возможностей. Можно думать, что решающая роль в формировании этого значения принадлежала словам группы *роспустъ — роспускъ*, обозначавшим в древнерусском языке «развод, расторжение брака» (Срезн., III, 170). Сюда относятся глаголы *роспуститися*, *роспускатися*, *роспущатися* и прилагательное *роспустьный*; вот несколько примеров: «Аже мужь оженится иною женою, съ старою не *роспустився*, муже тъ епископу въ винѣ, а молодую въ домъ церковныи а с старою жити» (Софийская первая летопись, сп. XV—XVI вв.); «А иже — то *распустилася* малжена, и передъ тобою, владыко, тягавшася, что тѣмъ опитемья? — Не дай, рече, причащения тому, которыи ею *роспускаеться*, а со инѣмъ совъкупляеться...» (Вопросы Кирика, 1130—1156 гг.); «и судить мужей з женами и *роспущаетъ* ихъ, и грамоты *роспустные* даетъ» (Хожд. на Восток Котова, сп. XVII в.) и т. п.

Прилагательное же *распутный* (*роспутный*) в памятниках до XVIII века встречается исключительно в «погодном» значении: «и того кирпича не привезли за осеннимъ *роспутнымъ* временем» (Книги приходо-расходные Холмогорского архиерейского дома, 1686 г.).

Параллельно употребляются *беспута*, *беспутица*, *беспутие*. Они, как показывают «Материалы...» И. И. Срезневского и картотека древнерусского словаря, обозначают «бездорожие», но в группе этих слов, по-видимому, уже относительно рано намечаются значения морально-оценочного характера. Так, у Срезневского отмечено *беспутьно* в значении «беззаконно»: «Кто паки *безпутно* силу учинить какову...» (1351 г., см. I, 76). Ср.: «...за ево *беспутную* дерзость...» (1635 г. — Собр. писем царя

Алекс. Михайловича, М., 1856, стр. 65); «...есть нѣкоторые непотребные люди, которые своимъ деревнямъ сами *безпутные* разорители суть...» (1719 г. — Памятники ист. крестьян XIV—XIX вв., М., 1910, стр. 95); «...весьма от ревности и *безпутной* жестокости охраняйся...» (1734 г. — Духовная Татищева).

В соответствии с указанным значением к XVIII веку появляются существительные *беспутство, беспутствие.* К этому же времени отмечается формирование оценочного значения у слова *путный*, приведшее к дифференциации *путный — путевой.* Самое это значение возникает, по-видимому, на базе такого же значения у его отрицательного соответствия (*беспутный — путный*), отмеченного значительно раньше (ср. современные *непутевый*, но *путевой*).

Таким образом, все группы слов, связанные со словом *путь*, претерпевают на протяжении XVII—XVIII веков окончательное преобразование в направлении оценочных значений, утрачивая постепенно свою прямую соотнесенность с исходным словом. В то же время происходит определенное семантическое «переразложение» между параллельными при своем прежнем, «прямом» употреблении словами *беспутный*, с одной стороны, и *распутный* — с другой, морально-оценочное значение которого закрепляется в существительных *распутство, распутствие.* Вряд ли особая направленность оценки, заложенной в этом значении, не была обусловлена главным образом той ассоциацией, которая связала рассматриваемое слово с группой слов *роспустъ, роспустьный, роспустити* и т. д. (ср. определенное «притяжение» слов *распутный — распущенный* в современном языке).

В памятниках XVIII века *распустный* выходит за пределы своего «номинативного» («относящийся к разводу») употребления. Его оценочное применение наглядно в таких, например, случаях: «...клирики и монахи во всякую свободу и беззакония *распустно* начали вдаватися...» (Введение в гисторию европейскую... На россиский с латинского переведенное. Спб., 1718); «Есть бо нечестивейший волхвования род, и *роспутнеишихъ* человеков злодейство, аки бы рещи Некромантия...» (Книга Систима или состояние мухаммеданския религия, Спб., 1722) и под. Характерно параллельное употребление *распустный — распутный* в

аналогичных контекстах одного и того же памятника, ср.: «...многие, а особливо молодые и своевольные люди... часто впадаютъ от невоздержности в непристойное и *распустное* житие» (1767 г. — Историч. сведения о Екат. комис. для соч. проекта Нов. Улож.); «...а своевольные и *распутного* жития люди от непорядочных и непристойных поступков воздерживаться... будут...» (Там же).

Таким образом, слово *распустьный* примкнуло к ряду *путный*, *беспутный*, *распутный* и, ассоциировавшись с последним словом этого ряда, обусловило в то же время специфичность его морально-оценочного значения.

Другой своеобразный случай лексико-семантической контаминации представляет история слова *наущать*, являющегося образованием несовершенного вида к *наустить*.

Этимология глагола *наустить* — *наущать* не вызывает затруднений. Он возводится к *на* + *уста* (ср. *внушить* из *вън* + *уши*, см. Vasmer, II, 202). Однако история этого слова является довольно любопытной.

В «Толковом словаре...» под ред. Д. Н. Ушакова значение глагола определяется следующим образом: «Подговаривать, подстрекать на дурной поступок». Обе видовые формы квалифицируются как «устаревшие» в современном языке. Однако следует обратить внимание на то, что форма несовершенного вида и отыменное существительное (*наущение*, ср. *действовать по наущению* кого-л.) сохраняют бóльшую «жизненность» в современном языке. Нетрудно обнаружить причину этого. Она заключается, очевидно, в том, что эти образования определенным образом поддерживаются звуковой близостью с глаголом *научать*. Эта близость с давних пор способствовала семантической контаминации двух глаголов. Характерно, что в словаре В. И. Даля *наущать* помещается в статье под словом *наука*, а иллюстрируется примерами с *научали*. И наоборот, под словом *научаться* находим пример с формой *наущается* (II, 488). В «Материалах...» И. И. Срезневского вторым значением глагола *научати* устанавливается «наущать, подстрекать» с примерами, иллюстрирующими характерное управление («научати *на*»). Аналогичные значения (1) «научать», 2) «подучать, подстрекать» отмечаются для глагола *наущати* (II, 345—347). Действительно, в древне-

русских текстах *наустить* и *научить* употребляются недифференцированно, лишены оценочной направленности. Ср., например, употребление глагола *наустить*, с одной стороны, в похвальном Слове Феодосию, включенном в Киево-Печерский патерик (сп. 1406 г.): «*наустилъ* еси человеки преобидѣти сладкыхъ» и, с другой — в Прологе из Юрьевского Новгородского монастыря (XIV века): «тогда злу ради человеци... *наустиша* Вячеслава да отженеть матерь свою». Характерно также употребление обоих глаголов в одинаковых контекстах. Например, в списке Пролога из Прилуцкого монастыря (рукопись XIV—XV вв.) встречаем *научи* в таком предложении: «...Замбрия еретика... иже *научи* бити святого...» В списке Пролога из Погодинского собрания (рукопись XIV—XV вв.) в том же тексте вместо *научи* выступает форма глагола *наусти*.

В дальнейшем слова *наустить*, *наущать*, *наущение*, приобретая специфическое значение, воспринимаются тем не менее также как бы на фоне глагола *учить* (и других производных от него слов). Показательны такие примеры: «— ...А парень все ревет, как баба: «Это не я, говорит, это он меня *наустил*», — да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не *учил*, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте» (Достоевский, Братья Карамазовы); «—...Да видите ли... тут есть одна закорючка... не своей волей я действовал... а по *наущению*... После понял, как было бы лучше-то, ну, — уж поздно. — Так. Вас, полагаю, адвокат какой-нибудь *научил*?» (Горький, Бывшие люди); «Расположенский: Какое же может произойти, Самсон Силыч, от меня *наущение*? Да и что я за *учитель* такой, когда вы сами, может быть, в десять раз меня умнее?» (Островский, Свои люди — сочтемся!).

Существенным оказался самый характер того звукового соотношения, которое установилось между глаголами *научать — наущать*. Варьирование *ч — щ* стало, как известно, в определенных группах слов стилистическим, а затем и семантическим «различителем» (ср. *ночь — нощь*, *мочь — мощь* и т. п.; *горячий — горящий* и т. д.). Благодаря частичному совпадению в значении неродственных *научать — наущать*, они сталкиваются в плане этого же соотношения. Они оказываются семанти-

чески «взаимопроницаемыми». *Наущать* становится чем-то вроде семантико-стилистического «варианта» глагола *научать*. В соотношении с последним воспринимается и отглагольное существительное *наущение*. Любопытно употребление последнего в таких контекстах, где стирается его отрицательно-оценочный смысл и оно выступает только как своего рода славянизированное «производное» от глагола *учить*, как, например, в следующем рассказе монаха Никиты Артамонова брату, посетившему его в монастыре: «— Недавно жил у нас, недели две, ученый, молодой еще, но, как будто, не в себе, испуганный человек. Настоятель внушает мне: ты, говорит, укрепи его простотой своей, ты, говорит, скажи ему вот что и вот как. А я на чужие мысли не памятлив. Он, ученый-то, часами из меня жилы тянул, говорит и говорит, а я даже слов его не понимаю, не то что мысли. ...Замучил он меня, забыл я все *наущения* отца Феодора, кричу: «Плоть твоя — видоизменение, а дух — уничтожение». Настоятель после ругал меня...» (Горький, Дело Артамоновых).

Изменение этимологической формы слова, смысловое взаимодействие с другими близкими по звучанию словами может вызвать, таким образом, более или менее заметные сдвиги в его семантике. Иногда в результате лексико-семантической контаминации происходит полное разрушение прежнего значения слова и вытеснение этого значения другими.

Яркий пример решительного переосмысления первоначального значения — судьба глагола *довлеть* в русском языке.

В современном употреблении этот глагол существует в значении «давить, тяготеть, господствовать». Его первоначальное значение «быть достаточным» (ср. однокоренное слово *довольно*, а также *довольствоваться*, *самодовлеющий* «достаточный сам по себе» и др.) полностью утрачено современным русским языком. Употребление слова в новом значении устойчиво закрепилось в языке. Вот несколько примеров из газет: «Пережитки прошлого — страшная сила, которая, как кошмар, *довлеет* над умами живущих»; «Над многими должностными лицами (не только судебными, конечно) *довлеет* авторитет «установки», кем-то когда-то высказанного указания»; «Атмосфера тревожного ожидания, *довлевшая* над городом,

еще более сгустилась с наступлением сегодняшнего дня, когда двое молодых негров должны были вступить на территорию университета...»

Между тем стилистическая оценка подобного словоупотребления у различных носителей литературного языка не совпадает.

В письме писателя Ф. В. Гладкова «О неправильном словоупотреблении», опубликованном в свое время в «Литературной газете» (11 октября 1951 г.), употребление слова *довлеть* в значении «давить, тяготеть, господствовать» приводится как пример языковой неправильности, вызванной небрежным отношением к родному языку.

Выступление в печати Ф. В. Гладкова вызвало многочисленные отклики читателей, причем их мнения разделились. Одни из них выражали свое согласие с мнением писателя, другие указывали на то, что раз слово в новом значении получило широкое распространение в языке, его употребление вполне оправданно.

В напечатанной в «Литературной газете» (11 декабря 1951 г.) статье акад. В. В. Виноградова «О культуре речи и неправильном словоупотреблении» значительное место уделено истории именно этого слова. Акад. В. В. Виноградов подчеркивает, что «известны многочисленные случаи, когда отдельные общественные деятели, писатели резко восстали против литературных словарных новообразований, считая их «неправильными», «варварскими», но затем народное употребление оправдывало, узаконяло эти «неправильности».

Как указывается в этой статье, глагол *довлеть* употреблялся особенно часто в безличной форме (*довлеет*). С конца XVII века эта глагольная форма приобретает новое значение «надлежит, следует, подобает». В этом значении слово *довлеет* употребляет, в частности, Н. С. Лесков в «Соборянах»[1]. Отметив, что «в последней четверти XIX в. *довлеть* по созвучию вступает в контаминацию, в смысловое взаимодействие со словом *давление*», акад. В. В. Виноградов пишет: «Так постепенно,

---

[1] Ср. также: «Вещайте вы, что мне творить бы с ним *довлело*?» (В. Майков, Елисей); «—Что ты? что ты? — говорю, подымая его, — учителю благий, тебе это не *довлеет* ученику в ноги кланяться» (Лесков, На краю света).

исторически подготавливается образование нового глагола *довлеть над кем — чем-нибудь* в значении — тоже новом: тяготеть, господствовать над кем — чем-нибудь, оказывать решающее влияние, воздействие. Следовательно, нельзя признать отражающим исторический ход изменений слова *довлеть* заявление Ф. В. Гладкова о том, что у современных писателей это «безграмотно выхваченное слово из мертвого языка и по отдаленному созвучию безответственно пущенное в обиход». Не следует отожествлять или смешивать историческое движение слова с субъективным, личным, вкусовым восприятием изменений в его судьбе. Для меня лично (так же, как и для Ф. В. Гладкова) употребление *довлеть над кем — чем* неприемлемо, т. е. моему стилю оно чуждо. Но нельзя закрывать глаза на то, что такое словоупотребление в языке современной советской литературы распространяется все шире и большие знатоки современного русского языка не брезгуют им».

Изменение «этимологической формы» заимствованных слов, не относящееся к случаям окказиональных искажений и преобразований в духе народной этимологии (в узком смысле; см. выше), идет в общем по тем же путям. Случайное, основанное на внешней звуковой близости, «этимологическое переразложение» слова иногда не приводит к каким-либо существенным сдвигам в его значении. Происходит только как бы образное «озвучивание» слова, не влияющее на его семантику. Примером может служить судьба слова *сальный* в значении «грязный, непристойный», являющегося заимствованием из французского (*sale* — «грязный, непристойный»), но не только фонетически совпавшего с русским прилагательным (*сальный* — производное от *сало*), но и как бы включившегося в него в качестве метафорической надстройки. Другой пример — возникновение разговорного глагола *скапуститься* вместо *скапутиться* в результате уже совершенно семантически не мотивированной ассоциации со словом *капуста*. Ср.: «— Михей-то Зотыч того, разнемогся, в лежку лежит. Того гляди, *скапутится*» (Мамин-Сибиряк, Хлеб) и «— Чуть не *скапустился* из-за этой чертовой погодки» (Л. Леонов, Вор) и т. п.

В отдельных случаях, однако, внешние ассоциации не только, так сказать, этимологически (и словообразо-

вательно) мотивируют заимствованное слово в заимствующем языке, но и вторгаются в его смысловую структуру. Две следующие иллюстрации показывают разную степень таких семантических сдвигов.

Появившееся в русском языке с XVIII века слово *роздых* не несет на себе каких-либо следов «иноязычности», ассоциируясь (хотя и не совсем ясно в словообразовательном отношении) с *отдых*, *отдыхать* и т. п. Однако уже в XVIII веке отмечалось, что данное слово представляет собой переделку немецкого *Rasttag* «день отдыха»: «...солдатство наше из Раст-Таг немецкого слова, значащего отдохновения день, сделало по нашему *роздых*, неупотребительное прежде слово, соглашающееся токмо звоном с Раст-Таг...» (Тредиаковский, Три рассуждения, Спб., 1773).

В значении «привал, отдых в походе» слово продолжает употребляться в произведениях XIX—XX веков. Например: «Михельсон на Саткинском заводе, спасенном его быстротою, сделал первый свой *роздых* по выступлению из-под Уфы» (Пушкин, История Пугачева); «Ахилла все не останавливаясь шел, и когда засерел осенний рассвет, он был уже на половине дороги и смело мог дать себе *роздых*» (Лесков, Соборяне) и т. п.

Вместе с тем у слова появляется более широкое значение «передышка, перерыв в работе, отдых»: «Подколесин. Ну, я и теперь не прочь от слова. Только не сейчас же; месяц по крайней мере нужно дать *роздыху*» (Гоголь, Женитьба); «Ну и зарядили дожди — без *роздыха*» (Панова, Времена года); «Кажется, легкая и чаще всего скорая работа у обоих писателей была *роздыхом* между периодами труда захватывающего, исполненного страстного подъема» (Федин, О Николае Погодине) и т. п. Ср. в применении к «солдатской» жизни: «Надо сказать, что Берди-паша, вероятно, один из самых совершеннейших и тончайших мастеров и знатоков батальонного учения во всем корпусе русских офицеров. Он не давал батальону *роздыха* (это оттого, что сам он сидит на Кабардиновке, — сердито думали юнкера) и только изредка, сделав десять, пятнадцать построений, командовал: — Вольно. Оправиться...» (Куприн, Юнкера); «Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному

роздыху в надоевшем ученье» (К у п р и н, Поединок); «Каждый считал за правило подражать балтийцам, их самозабвенной ярости в бою, их прибауткам на *роздыхе*...» (Ф е д и н, Необыкновенное лето).

Полное разрушение первоначальной семантики заимствованного слова можно видеть в употреблении глагола *будировать*. Слово это в русском языке является заимствованием из французского (французский глагол *bouder* значит «дуться»). Сближение с русскими глаголами *будить*, *возбуждать*, *будоражить* явилось причиной употребления и этого глагола в близком к ним значении; ср. в статье современного писателя К. Федина, опубликованной в «Литературной газете» 5 мая 1962 г.: «Отношение Горького к газете было «оперативным». Он вмешивался в текущую борьбу своим разящим, умным словом, какой-то сверхпублицистикой. Как великий художник, он *будировал* все время мысль, толкал к росту чувств, к совершенствованию нравственного мира человека».

Как хорошо известно, против такого словоупотребления выступал В. И. Ленин в своей заметке «Об очистке русского языка», где он, в частности, писал: «Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя. Например, употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово «bouder» (будэ) значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле «сердиться», «дуться». Перенимать французски-нижегородское словоупотребление — значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по французски учился, но, во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык» [1].

Приведенные примеры лексико-семантической контаминации, основанной на случайном звуковом сходстве слов, показывают, что воздействие на слово близких ему по звучанию слов может в разной степени отражаться как на его собственном звуковом облике, так и на направлении его семантического развития. Иногда это

[1] В. И. Л е н и н, Сочинения, изд. 4, т. 30, стр. 274.

воздействие ограничивается изменением этимологической (или внутренней) формы слова, то есть как бы установлением новых словообразовательных связей у слова, не влияющих существенно на его первоначальное значение. Такова, например, судьба слова *свѣдѣтель — свидетель* в русском языке. Конечно, о словообразовательных связях здесь можно говорить только условно. Слово *свидетель* в действительности никогда не было образовано от глагола *видеть*, и, уже существуя в языке, оно не стало как-то заново образовываться от этого глагола. Но в сознании говорящих оно примкнуло к гнезду слов *вид — видеть*, став производным «приемышем» в ряду слов, произошедших от того же корня. Воздействие близких по звучанию слов на какое-то слово может привести (в некоторых случаях и без изменения его фонетического облика) к более или менее заметному переосмыслению его первоначального значения. Примером тому служат слова *довлеть*, *роздых* и другие.

СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМАНТИКЕ

Правила отбора и сочетания языковых единиц в одинаковой мере определяются системными отношениями, существующими в языке. Но самая сущность отбора и сочетания элементов в речи такова, что характер реализации указанных отношений оказывается различным.

Каждое речевое сообщение представляет собой результат отбора, предопределенного парадигматическими связями, то есть связями, существующими в языке как системе и остающимися, естественно, за пределами конкретного сообщения. Сочетание же отобранных единиц осуществляется именно в сообщении, а следовательно, может быть рассмотрено как непосредственный факт текста. Это не должно скрыть от нас того существенного обстоятельства, что сочетание единиц языка также обусловлено системными отношениями, которые сами по себе остаются за пределами конкретного сообщения. Синтагматические связи слова, так же как и парадигматические, определяют его собственную семантическую характеристику, и только на фоне всей их совокупности и возможно «контекстное значение», которое приобретает слово в том или ином словосочетании.

Исходя из сказанного, мы должны подойти и к решению вопроса о том, насколько контекст предопределяет собственное значение слова, — вопроса, который в более решительной форме может быть поставлен так: обладает ли слово вообще самостоятельным значением или же его значение не только проявляется в контексте, как об этом говорилось выше, но и целиком определяется им. На этот вопрос давались различные, в том числе и противоположные ответы. По мнению ряда исследователей, «собственное значение» слова — это искусственная абстракция или даже фикция, так как значение всегда

обусловлено контекстом. «Так называемые лексические значения в некоторых знаках, — писал Л. Ельмслев, — есть не что иное, как искусственно изолированные контекстуальные значения или их искусственный пересказ. В абсолютной изоляции ни один знак не имеет какого-либо значения; любое знаковое значение возникает в контексте, под которым мы понимаем ситуационный или эксплицитный контекст, неважно какой, поскольку в неограниченном или продуктивном тексте (живом языке) мы всегда можем превратить ситуационный контекст в эксплицитный контекст» [1].

В самой теории Л. Ельмслева понятие «неограниченного текста» имеет особый смысл, но «контекстуальная» точка зрения на лексическое значение слова высказывалась и с других позиций [2]. Однако, утверждая, что у слова нет какого бы то ни было лексического значения, мы неизбежно встаем перед вопросом: чем же в таком случае порождаются сцепления слов в речи, образующие контекст? Если слова не имеют собственного лексического значения, их объединение в тексте может быть только случайным с точки зрения того, что они обозначают, а следовательно, не способно и выявить в них вообще какое-то лексическое содержание.

Большинство исследователей допускают существование независимых от контекста лексических значений, но самому контексту отводится при этом различная роль [3]. Некоторые при этом считают, что слово как таковое, то есть в н е контекста, обладает только «каркасом» значения (или «ядром» значения и т. п.), который ограничивает применение слова, контекст же придает слову его реальные лексические значения. Иногда подобная концепция кладется в основу утверждений о самостоятельном существовании у слова только «общего» лексического значения (или же «главного» значения), представляющего факт языка, в то время как употребление слова в других значениях рассматривается как модификация этого «общего» значения в условиях речи. К та-

---

[1] Л. Ельмслев, Пролегомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», выпуск 1, М., 1960, стр. 303—304.

[2] См., например, H. Walpole, Semantics, The Nature of Words and Their Meaning, New York, 1941, стр. 105 и сл.

[3] См. L. Antal, Questions of Meaning, The Hague, 1963, стр. 48 и сл.

кому взгляду близок, в частности, К. Бальдингер, считающий, что одни значения слов существуют «на уровне языка», другие же проявляются лишь «на уровне речи». Так, например, слово *зеленый* как обозначение цвета признано им «существующим на уровне языка», однако значения «незрелый» (*зеленое яблоко*) и «неопытный» (ср. *зеленая молодежь*) оно приобретает лишь «на уровне речи» [1].

Подобные концепции неприемлемы потому, что они не учитывают различия между контекстом, представляющим реализацию тех или иных синтагматических связей слов, диктуемых самой системой, и контекстом как таким объединением слов, которое индивидуально развивает заложенные в значениях возможности. Если слово *зеленый* может в русском языке (как и в немецком) в сочетании с обозначениями плодов иметь значение «незрелый» — это обусловлено синтагматическими возможностями самого слова как единицы языка. Значение слова реализуется в таком случае в определенных синтагмах, которые закреплены как таковые в самом языке; оно точно так же обнаруживается «в контексте», как и цветовое значение слова, — разница только в том, что первое в меньшей степени, чем второе, обусловлено парадигматически и в большей — синтагматически, в связи с чем именно второе (цветовое) значение возможно в большем числе сочетаний, а поэтому и воспринимается как центральное.

Контекст, в той степени, в какой он отражает синтагматические зависимости, характеризующие слова как единицы языка, не создает «контекстных значений», противоречащих «собственным» лексическим значениям слов. Значения, которые можно было бы назвать «контекстными», противопоставляя их «собственным» значениям слов, возникают тогда, когда о них нельзя говорить как о результате какого-либо регулярного, хотя бы и изолированного в языке, или специфичного, сочетания слов. Если слово *зеленый* в сочетании с названиями плодов имеет значение «незрелый» — это факт языка, регулярно определяющий семантическое содержание соответствующих словосочетаний. Другое дело, что парадигматические связи слова в этом значении оказываются

[1] K. Baldinger, Die Semasiologie, Berlin, 1957, стр. 22.

опосредствованными (через слова *незрелый, неспелый*, к семантической парадигме которых оно и примыкает), а самое значение фразеологически связанным.

Бесчисленные факты каламбурного сталкивания различных значений одного и того же слова в намеренно двусмысленных контекстах достаточно красноречиво говорят как раз о наличии у слов собственных, самостоятельных значений, не зависящих от конкретного контекста, поскольку в ином случае было бы немыслимо создание самой каламбурной ситуации, чаще всего основанной на противоречии между синтагматическими зависимостями слова и более широким контекстом.

Синтагматические связи, присущие слову, входят в характеристику его семантики. Вместе с тем, говоря, что семантика слова обусловливает его сочетаемость, мы не только констатируем, что сочетания слов в тексте подчинены общим синтагматическим отношениям, но и указываем на зависимость сочетания слов от парадигматических связей, разнообразно объединяющих лексико-семантические единицы языка.

Установление конкретной взаимозависимости этих факторов предстает как одна из главных задач семантического анализа. В настоящем очерке мы попытаемся только наметить некоторые возможные подходы к такому анализу.

Объединение слов в тексте подчинено существующим в языке синтаксическим правилам. В то же время сочетаемость каждого отдельного слова в пределах допускаемых последними моделей обусловлена его собственной индивидуальной семантикой. В связи с этим различается синтаксическая и лексическая сочетаемость слов. Синтаксическая сочетаемость слова определяется его лексико-грамматической характеристикой, лексическая сочетаемость — его индивидуальным значением. Будучи различными по природе, эти два вида сочетаемости вместе с тем представляют собой как бы две ступени проявления единой и целостной семантики каждого конкретного слова. Но в первом случае слово выступает как представитель определенного грамматического класса или подкласса, объединяющего лексические единицы на основании самых общих особенностей их семантики. Во втором случае способность слов сочетаться друг с другом зависит от их

индивидуальных значений, более или менее непосредственно отражающих явления действительности. Следовательно, самые отношения и связи внеязыковой действительности определяют в данном случае связи, возникающие между словами. Разумеется, и здесь сохраняют свое действие собственно языковые моменты. Поскольку речь идет о сочетаниях слов, а не понятий, постольку то с большей, то с меньшей очевидностью дают о себе знать те свойства слов, которые наряду с заключенным в них понятийным содержанием также входят в их лексическую характеристику. Можно вспомнить об экспрессивно-стилистических элементах, предопределяющих употребление ряда слов, о присутствии в языке слов с фразеологически ограниченной сочетаемостью и т. д.

Нет нужды подробно останавливаться на том, что группировка слов на те или иные лексико-грамматические классы и подклассы, а следовательно, и возможности их синтаксического функционирования — в гораздо большей степени регулируются собственно языковыми факторами, чем их лексическая сочетаемость. Но и синтаксические особенности употребления слов не проявляются, конечно, совершенно независимо от их индивидуальных значений. В этих особенностях, хотя и в преломленном виде, отражается семантика сочетаемых в речи лексических единиц. Например, в случаях глагольного и иного управления грамматическая форма зависимого (управляемого) слова не определяется принадлежностью главного члена словосочетания к какому-то грамматическому классу слов.

Мы говорим: *интересоваться* кем-либо, чем-либо; *удивляться* кому-либо, чему-либо, *надеяться* на кого-либо, что-либо и т. д., при этом падежная форма имени существительного (или местоимения), выступающего в функции дополнения, не обусловлена собственно грамматической характеристикой глагола. Вместе с тем особенности управления объединяют отдельные глаголы, в семантике которых могут быть обнаружены некоторые общие черты. Ср. *интересоваться* кем-либо, чем-либо и *восторгаться* кем-либо, чем-либо, *заниматься* чем-либо, *любоваться* кем-либо, чем-либо, *увлекаться* кем-либо, чем-либо, *восхищаться* кем-либо, чем-либо, *гордить-*

ся кем-либо, чем-либо и т. п. Ср. также: *владеть, обладать, распоряжаться, управлять, править, командовать, ведать, заведовать, руководить* кем-либо, чем-либо; или: *надеяться* на кого-либо, что-либо и с теми же формами зависимых имен — *уповать, полагаться, рассчитывать; согласиться* на что-либо и *пойти* на что-либо, *решиться* на что-либо и т. п.

Разумеется, нельзя игнорировать тот факт, что грамматическая форма словосочетания, в том числе и с управляемым словом, не находится в прямой зависимости от конкретных значений входящих в данное словосочетание слов. Ср. расхождение в формах управления при семантической близости главных членов таких словосочетаний, как *рад* кому-либо, чему-либо и *доволен* кем-либо, чем-либо; *возмущаться* кем-либо, чем-либо и *негодовать* на кого-либо, на что-либо; *слышать* и *слушать* кого-либо, что-либо, но *видеть* кого-либо, что-либо и *смотреть* на кого-либо, на что-либо и мн. др. Однако нет смысла не считаться и с теми показателями семантической близости слов, которые обнаруживаются в особенностях их синтаксического употребления. Влияние же конкретной семантики управляющего слова на возможность применения зависимого слова в той или иной форме вполне очевидно в случаях так называемой семантической аналогии. Так, например, отметив, что в периодической печати появляются «формы предложно-именных сочетаний, заново возникающих при отглагольных именах существительных, идущие вразрез с теми формами управления, какими обладают соответствующие глаголы», вроде *развитие к социализму, непримиримость к фактам бюрократических извращений* и т. д., Г. И. Рихтер следующим образом объясняет появление этих форм: «Форма управления *развитие к чему-либо* могла появиться как результат ассоциации *развитие — движение* и построения конструкции по аналогии с *движение к чему-либо*; форма *непримиримость к чему-либо* — как результат сближения существительного *непримиримость* с оборотами *непримиримо относиться, непримиримое отношение* и выравнивания конструкции по аналогии с *относиться, отношение к чему-либо*; форма *восстание за что-либо* — как результат ассоциации *восстание — борьба* и выравнивание конструкции по форме *борьба за что-*

либо; форма связи *обусловленность от чего-либо* — как результат ассоциации *обусловленность — зависимость* и построения конструкции по аналогии с *зависимость от чего-либо*; форма *соответствие с чем-либо* — как результат ассоциации *соответствие — сходство* и выравнивания конструкции по аналогии с *сходство с чем-либо*» [1].

Семантические ассоциации, вызывающие изменение форм управления у отдельных слов, характерны не только для современной «деловой письменной речи», о которой упоминает в данной связи автор цитированной работы. Они характерны и не только для отглагольных существительных. Процессы формального сближения слов, выражающегося в появлении у них одинаковых форм сочетаемости и основанного на их смысловом сближении, наблюдаются в языке постоянно, причем едва ли не в большей степени в разговорной речи и отражающих ее жанрах литературы, чем в деловой письменности. Вот несколько примеров из художественных произведений писателей XIX века.

«Я был так *рад успехом*, что, поблагодаря наскоро главнокомандующего, побежал в палатку, в которой содержался Аммалат-бек» (Марлинский, Аммалат-бек); ср. *рад* чему-либо и *обрадован*, *доволен* чем-либо.

«Хозяйка *на нее* немножко недовольна...» (Лесков, Зимний день); ср.: *недовольна* кем-либо и *сердита* на кого-либо: «...но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: *их* он всегда *покровительствовал*, читал им наставления и помогал часто» (Л. Толстой, Рубка леса); ср. *покровительствовать* кому-либо и *покрывать*, *защищать*, *оберегать* и т. п. кого-либо; «Переговоры, однако, начались; пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность *увлечения* Настасьи Филипповны *к* Гане, начал мало-помалу выясняться и оправдываться...» (Достоевский, Идиот); ср.: *увлечение* кем-либо и *чувство*, *любовь*, *страсть* и т. п. к кому-либо.

Любопытны случаи контекстного совмещения слов с разным управлением и синтаксической «ассимиляции»

---

[1] Г. И. Рихтер, Наблюдения над первообразными предлогами и предложными конструкциями в современном русском литературном языке, «Русский язык в школе», 1955, № 6, стр. 15.

одного из них другому: «И мы, вероятно, по своему малодушию, бесконечно *рады и довольны этому обстоятельству*» (Зощенко, Голубая книга. Предисловие); «Крымов сел и *ужаснулся* своему *счастью*. Он и не предполагал, что может так *радоваться* этому утру, и этой реке, и тому, что он один» (Ю. Казаков, Вон бежит собака!) и т. п.

Ассоциации, влияющие на синтаксическое употребление слов, естественно, не остаются неизменными. Иногда их изменение отражает непосредственные сдвиги в значениях тех или иных слов, иногда оно бывает вызвано изменением функций определенных типов словосочетаний, намечающимися тенденциями их дифференциации и т. д.

В русском языке с течением времени произошли значительные изменения в формах сочетаемости слов, в том числе в формах управления. Для древнерусского языка характерна, в частности, значительно более широкая по сравнению с современным вариантность последних.

Например, глагол *печися* в значении «заботиться» допускает в древнерусском дополнение как в форме творительного падежа, так и в форме местного с предлогом *о*; ср.: «Пекыися *о нихъ*, акы братьи своеи» (Чтение о житии Бориса и Глеба) и «Присно печеться *нами*» (Там же).

Лѣнитися сочетается с формами о чем и на что; ср.: «Не мозите ся лѣнити ни *на что доброе*» (Поучение Владимира Мономаха); «Не мозимъ убо лѣнитися *о своемь спасении*» (Лобковский пролог, XIII в).

Каятися — чего и о чем; ср.: «И нача Володарь молвити: почто зло створивъ и не *каешися его*?» (Лаврентьевская летопись, под 1097 г.); «*кающеся о первомъ согрѣшении* своемъ» (Чтение о житии Бориса и Глеба).

Ср. также: *глаголати* — кому и к кому; *вѣровати* — в кого, кому, к кому (без отчетливо выраженных семантических различий); *радити* «заботиться» — чего и о чем; *радоватися* — чему и о чем; *сподобитися* «удостоиться» — чего, чему и чем; *гнушатися* — чего, чему и что и мн. др.

И гораздо позднее, в текстах XVIII—XIX веков, мы можем обнаружить целый ряд расхождений с современными нормами глагольного управления. Приведу несколько иллюстраций.

«О истина, ты всех доброт прямая мать. Не должно никогда *тебя пренебрегать*» (В. Майков, Игрок ломбера); «Юленька: ... Я теперь *все пренебрегаю*, кроме туалета» (Островский, Доходное место); «Флор Федулыч: ...*Пренебречь его* следует, *пренебречь*!» (Островский, Последняя жертва). Ср. *пренебречь*, *пренебрегать* кем-либо, чем-либо. В «Толковом словаре...» В. И. Даля при данных глаголах указано: «что, или лучше чем».

«Княгиня: ...Братец мой родной, даром что он мне большой, что я у него живу и что *много им обязана*, братец мой — мужик бешеный» (Фонвизин, Добрый наставник). Ср. *обязан* кому-либо, чему-либо. «...А ты стерпел, и я *гнушаюсь тобой*: ты — тряпка!» (Достоевский, Подросток). Ср. *гнушаться* кого-либо, чего-либо.

«Во время ротного учения он, не *стесняясь солдатами*, кричит на младшего офицера...» (Куприн, Прапорщик армейский). Ср. *стесняться* кого-либо, чего-либо и т. п.

Если пытаться дать объяснение этим расхождениям, то придется, по-видимому, искать их причины опять-таки в тех семантических группах слов, с которыми данные глаголы попеременно сближаются. Так, *пренебрегать* может ассоциироваться, с одной стороны, с такими словами, как *презирать* (кого-либо, что-либо), *не уважать* (кого-либо), с другой — с такими, как *не интересоваться* (кем-либо, чем-либо). *Гнушаться* ассоциируется по контрасту с *гордиться* и т. п. (кем-либо, чем-либо), а также со *стыдиться* и т. п. (кого-либо, чего-либо). Формы словосочетаний *обязан* кем-либо, *стесняться* кем-либо объясняются их возникновением как страдательных оборотов, изменение же управления — влиянием семантически близких конструкций, вроде *должен* кому-либо, *стыдиться* кого-либо.

Таким образом, семантические связи, существующие между отдельными словами как членами некоторой семантической парадигмы, отражаются и на формах этих

слов как членов определенной синтагмы. Вместе с тем особенности управления, характеризующие ряд глаголов в современном языке, свидетельствуют об известном «расщеплении», или развитии их первоначально недифференцированного, или более узкого значения; ср. *смеяться* над чем-либо и *смеяться* о чем-либо («И бабы пошли дальше, *смеясь о чем-то*» — А. Толстой, Необыкновенное приключение Никиты Рощина); *верить* кому-либо, чему-либо и *верить* в кого-либо, во что-либо; *наблюдать* кого-либо, что-либо и *наблюдать* за кем-либо, за чем-либо и т. п. Ср. также: *заинтересован* кем-либо, чем-либо и *заинтересован* в ком-либо, в чем-либо; *способен* к чему-либо и *способен* на что-либо и т. п.

«Лексический» подход к трактовке значений некоторых грамматических форм слов (например, падежных форм имени существительного), выражающийся в приписывании грамматической форме слова как таковой «значений», обусловленных семантикой компонентов тех словосочетаний, в которые входит данная форма, справедливо подвергается осуждению со стороны ряда исследователей. Конечно, неоправданно, устанавливая, например, значения родительного падежа, выделять «родительный материала», «родительный владения», «родительный целого» и т. д. в качестве самостоятельных значений этого падежа, поскольку эти значения обусловлены лексически[1]. Но это никак не значит, что подобные различия, часто действительно посторонние для грамматики, вообще не представляют интереса для лингвистического исследования. Легко заметить, что эти различия являются объективно данными в языке показателями определенной лексико-семантической группировки слов.

Если, например, в словосочетаниях, вроде *жена инженера, портфель инженера, речь инженера, доброта инженера* и т. п. или *верхушка дерева, возраст дерева, тень дерева* и т. п., отношения между сочетающимися существительными различны, то в этом исследователи

[1] См. об этом, например, A. W. de Groot, Classification of the Uses of a Case Illustrated on the Genitive in Latin, „Lingua", 1956, v. 6, № 1; Т. В. Булыгина, Некоторые вопросы классификации частных падежных значений, сб. «Вопросы составления описательных грамматик», М., 1961.

справедливо видят отражение именно лексических различий данных существительных. В академической «Грамматике русского языка» в разделе о словосочетаниях с существительными в роли главного члена и с зависимым существительным в форме родительного падежа говорится: «В тех случаях, когда главным словом является имя существительное, по своему составу и значению не соотносительное с глаголом или с именем прилагательным, характер отношений между членами словосочетания большей частью определяется лексическим значением образующих словосочетание существительных» [1]. Однако важно подчеркнуть, что выделяемые там же вслед за этим «в зависимости от лексических значений входящих в словосочетание слов» типы словосочетаний с приименным родительным свидетельствуют об известной обобщенности принимаемых во внимание «лексических значений». Кроме того, при рассмотрении словосочетаний не как изолированных единиц, а в связи с другими соотносительными с ними единицами выделение некоторых из отмечаемых типов получает и грамматическое обоснование. Применение трансформационного анализа к данным словосочетаниям показывает возможность их собственно синтаксической классификации.

Например, словосочетания *жена инженера* и *портфель инженера* могут быть развернуты в предикативные фразы *у инженера есть жена* и *у инженера есть портфель,* в то время как *у инженера есть речь* и *у инженера есть доброта,* если не вообще невозможны, то во всяком случае несоотносительны со словосочетаниями *доброта инженера* и *речь инженера.* Таким образом, выделяются словосочетания с родительным приименным со значением принадлежности (в самом широком смысле слова). Поскольку в форме родительного приименного во всех этих случаях выступает одно и тоже слово, а «грамматическая» форма словосочетаний также везде одинакова, то естественно искать причину возникающих различий общего значения словосочетаний в лексических значениях главных слов. Можно предположить, что значение принадлежности обусловлено семантикой слов *жена* и *портфель*, тогда как семантика слов *доброта* и *речь* про-

[1] Грамматика русского языка, т. II, часть I, изд. АН СССР, М., 1954, стр. 234.

тиворечит этому значению. Это, как легко видеть, вполне согласуется с оценкой первых существительных как конкретно-пространственных. Грамматическое выражение категории одушевленности — неодушевленности хорошо известно, поэтому можно только заметить, что оно может быть выявлено и из анализа тех же словосочетаний с родительным приименным (*портфель жены* аналогично *портфель инженера*, но сочетание «существительное + *портфеля*» не может выражать отношение принадлежности). Можно проследить, однако, за тем, как относительное по своему значению существительное *жена* отграничивается от других одушевленных существительных.

Прежде всего оно выделяется среди одушевленных существительных как принадлежащее к группе имен со значением лица. Синтаксическое обоснование выделения последних заключается, помимо прочего, в следующем.

В современном русском языке существует фразеологическая конструкция, в которой одушевленные существительные выступают в винительном падеже множественного числа, совпадающем с именительным, завися от глаголов, круг которых лексически ограничен. Обычно это такие глаголы, как *идти, пойти, записаться, норовить, метить, рваться, наняться, навязываться, попасть, податься, приглашать, произвести, перевести, избрать, выбрать, взять, направить*. Эта конструкция имеет значение присоединения или причисления кого-то к определенной категории лиц, причем главным образом выделенных по положению, должности, профессии, званию, но также и по внутренним и внешним качествам и по отношению к другим лицам; например: «— Записался, брат, из попов *в купцы*» (Чехов, Степь); «— Как жить будем, сударик? *В солдаты* пойдешь али *в чиновники*?» (Горький, Детство); «— Я и не лезу *в чемпионы*» (Антонов, Разговор); «Но эти парни наотрез отказались идти *в главные архитекторы*» (Рекемчук, Молодо-зелено); «И еще не знаю, как это получилось, но ее направили ко мне *в ученицы*» (С. Воронин, Рассказ о любви); «Мы из мальчишек вышли *в ветераны* И сами не заметили, когда» (Дудин, По горизонту черные туманы) и т. п.; ср.: «... выбор князя Мышкина *в мужья* для одной из Епанчиных» (Достоевский, Идиот); «Вот теперь и приходится расхлебывать: на-

чальник участка берет *в жены* подсобницу» (А. Кузнецов, Маша) и т. п. В этой конструкции возможны и другие относительные существительные со значением лица: *годится в отцы, в братья* (когда речь идет о возрасте) и т. п.[1]

Далее, относительные существительные выделяются среди других, принадлежащих к группе существительных, имеющих значение лица, которые уже выделены, возможностью замены приименного родительного падежа существительного или чаще местоимения дательным с возникновением отношения предикации в соответствующей фразе: «А все-таки она *ему не сестра*» (Тургенев, Ася) — ср. *его сестра*; *она ему не жена — его жена*; *гусь свинье не товарищ*; «Молчи! Все знаю я сама; Да эта крыса *мне кума*» (Крылов, Совет мышей) и т. п.

Понятно, что сказанное выше не может расцениваться как сколько-нибудь исчерпывающий семантический анализ данной группы словосочетаний. Цель приведенных примеров только в том, чтобы показать возможность такого анализа, основанного на учете синтаксических связей, свойственных тем или иным словам. Можно заметить, что оставленные без рассмотрения словосочетания *доброта инженера* и *речь инженера*, так же как некоторые другие словосочетания с приименным родительным в русском языке, могли бы явиться основой дальнейшей семантической классификации имен существительных. Именно эти словосочетания удобны для подобной классификации тем, что генетив при существительных в русском языке (как и в ряде других индоевропейских языков) является, как отмечалось рядом исследователей, такой всеобъемлющей категорией, которая способна выражать самые разнообразные отношения между существительными, причем конкретный характер выражаемого отношения в значительной степени зависит от лексических значений сочетающихся слов.

При семантической классификации слов, при выделении лексико-семантических групп должно быть при-

[1] Существительные со значением одушевленности, не обозначающие лиц, выступают в данной конструкции только в тех случаях, когда они употребляются метафорически, вроде «... — Суется *в волки*, а хвост собачий» (Тургенев, Поездка в Полесье). «Исключение» очень показательное и наглядно подтверждающее «правило».

нято во внимание также следующее обстоятельство. В языке существуют такие синтаксические конструкции, в которых выступают только какие-то определенные разряды слов, в то время как другие в данных конструкциях не употребляются. Естественно предположить, что подобные ограничения связаны с семантическим содержанием соответствующих слов и, таким образом, возможность употребления последних в специфической конструкции свидетельствует о наличии в их значении какого-то общего семантического признака.

Например, в современном русском языке наряду с регулярными сравнительными оборотами типа *быстрее тебя; быстрее, чем ты* существует фразеологическая конструкция *быстрее твоего*. Круг слов, употребляемых в этой конструкции, ограничен. Во-первых, это личные (притяжательные) местоимения:

«— ...Авось хозяйка моя удовлетворит вас *более мовго*» (Тургенев, Отцы и дети); «Петр: ...Самойто, чай, тоже *не веселей моего*» (Островский, Лес).

«— ...Я сама тебя люблю; может, еще *больше твоего*» (Лесков, Житие одной бабы); «— Что ты, бабка! Он еще *дольше твоего* проживет» (Николаева, Битва в пути).

«В один миг припомнилась мне его догадка о том, что Липутин знает в нашем деле не только *больше нашего*, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем» (Достоевский, Бесы).

«Отрадина: Откуда ты такие сведения получаешь? Аннушка: Мы *скорее вашего* все узнаем» (А. Островский, Без вины виноватые); «Ехали мы все-таки несколько *быстрее вашего...*» (Короленко, Мороз) и т. п.

Во-вторых, в данной конструкции возможен ряд прилагательных, или произведенных от местоименных наречий, или с местоименно-относительным (в широком смысле) значением; ср. *больше, чем здесь — больше здешнего; больше, чем вчера — больше вчерашнего* и т. п. Например:

«— ...а завтра, князь, милости просим, угощу тебя *лучше теперешнего...*» (А. К. Толстой, Князь Серебряный); «—...В огне адовом не будет *хуже здешнего*! (Там же); «Вид у нее очень утомленный: глаза очер-

чены легкой тенью и щеки *бледнее обыкновенного*» (К у п р и н, Прапорщик армейский); «Однажды он задержался у нее *позже обычного*» (С. А н т о н о в, Беккеровский рояль); «Даша засмеялась и неожиданно, так что у Ивана Ильича снова на весь день, *сильнее вчерашнего*, пошла кружиться голова...» (А. Т о л с т о й, Хождение по мукам); «Ей бы следовало, наконец, опомниться и смягчиться, но она скрыла свой ужас и уперлась еще *упорнее прежнего*» (Д о с т о е в с к и й, Бесы) и т. п. Ср. приобретшее черты фразеологической устойчивости сочетание *пуще прежнего*: «Лаврецкий ничего не отвечал, а Лиза вдруг покраснела еще *пуще прежнего*» (Т у р г е н е в, Дворянское гнездо); «Забрало *пуще прежнего* задорных мужиков...» (Н е к р а с о в, Кому на Руси...) и т. п.

Таким образом, группа слов, в значениях которых интуитивно ощущается нечто о б щ е е, может получить и некоторые объективные основания для выделения.

Следует заметить, что такого же типа сравнительные обороты возможны и с некоторыми другими разрядами слов, например, с именами собственными, с «терминами родства» [1]. Здесь нет необходимости рассматривать эти случаи, так как более подробный анализ лексической «наполняемости» указанной конструкции только уточнил бы ее характеристику, не противореча основному положению о свойственных ей лексико-семантических ограничениях. В то же время было бы очень интересно проследить, какие слова, кроме указанных выше, которые обычны в данной конструкции, способны также выступать в ней и с какими особенностями их семантики это связано. Ср. у Л. Толстого в рассказе «Отец Сергий»: «— Что же ты *раньше* пришла *обещанного*? — сказал Сергий».

Опираясь на синтаксические критерии группировки слов, исследователь получает некоторые объективные данные и для их семантической группировки. Ведь возможность употребления слова в тех или иных синтаксических конструкциях, в тех или иных словосочетаниях,

[1] Ср. такие случаи: «Старик начал своих детей посылать в лес за ягодками... Иванушка был *меньшее детище*, нарвал *больше Аннушкиного...*» («Народные русские сказки» А. Н. А ф а н а с ь е в а); «— ...И жили они *хуже папенькиного*, и удовольствий никаких себе не производили» (Т у р г е н е в, Дворянское гнездо) и т. п.

имеющих такое-то значение, всегда в известной мере обусловлена лексическим содержанием самого этого слова. В лингвистических исследованиях последнего времени явно ощущается стремление устанавливать структурно-семантические типы внутри определенных грамматических классов именно на основании структурных особенностей тех словосочетаний, в которых выступают данные группы слов и в которых и реализуются их семантические особенности. Такой путь исследования следует признать продуктивным как для синтаксиса, так, в не меньшей степени, и для семасиологии.

Столь же важно для семасиологии, разумеется, изучение собственно лексической сочетаемости слов. Если исследование синтаксической сочетаемости способно дать определенные критерии для отнесения слов к тем или иным лексико-семантическим группам, изучение собственно лексической сочетаемости раскрывает индивидуальные семантические особенности каждого отдельного слова [1]. Понятно, что лексическая сочетаемость практически не может быть подвергнута исчерпывающему обследованию. Не говоря уже о возможности образного контекстно-метафорического применения слов, которая в конечном счете безгранична (например, у Маяковского: *зашпопайте мне душу, губы спокойно перелистывает* и мн. др.), самое многообразие явлений окружающего мира, всего того, что может произойти в реальной действительности и быть отражено в речи, делает любой перечень лексических сочетаний того или иного отдельного слова, по существу, всегда неполным. Самые необычные (по смыслу) или даже, казалось бы, противоестественные с точки зрения реальных предметных соотношений словосочетания постоянно возникают в речи, оказываясь вполне закономерными в определенных ситуациях [2].

---

[1] Такое изучение пока что затруднено тем, что не существует словарей сочетаемости слов в русском языке, таких, какие существуют, например, для английского языка.

[2] Говоря о лексической вероятности словосочетаний и определяя ее как «сочетаемость слов, зависящую от их смысловых значений», Л. Р. Зиндер отмечает: «Зависимость эта, строго говоря, не лингвистическая; она определяется объективной действительностью, условиями жизни общества и является поэтому очень изменчивой как территориально, так и во времени. Например, словосочетание *сидеть на крыше* в условиях жизни в Европейской части СССР неизмеримо

Таким образом, изучение лексической сочетаемости тех или иных слов не может, конечно, заключаться в создании исчерпывающего списка всех возможных словосочетаний, в которых они способны участвовать. Однако чрезвычайно существенным как для лексикологии вообще, так и для семасиологии в частности является исследование частотности различных сочетаний слова в разных текстах, принадлежащих к разным видам речевого общения. Помимо практических соображений (интересы методики обучения языку, стилистики, прикладной лингвистики, теории и практики реконструкции текста и т. д.), познание тех закономерностей, которые, будучи недейственными в каждом единичном случае, оправдываются на достаточно большом (статистически достаточном) материале, представляет интерес и для адекватной характеристики онтологической сущности языковых явлений. «То обстоятельство, что некоторое событие A является случайным по отношению к некоторому комплексу условий S, не означает, однако, что между S и A вообще невозможно установить никакой связи. В частности, хотя при однократном осуществлении комплекса условий S событие A может произойти, а может и не произойти, при многократном осуществлении S в осуществлении A прослеживается некоторая закономерность, а именно: событие A происходит с определенной частотой»[1].

То, что, например, со словом *съесть* в качестве объекта чаще всего будут сочетаться названия разных блюд, съедобных растений, животных и т. д., никак не предопределяет (если даже не касаться здесь фразеологических словосочетаний, о которых говорилось выше; ср. *собаку съел* в чем-либо; разговорного *что? съел?* и т. п.) его потенциальной лексической сочетаемости, обусловленной конкретной возникшей ситуацией. Разумеется, *съесть обед* является более «частотным» сло-

---

менее вероятно, чем словосочетание *сидеть в саду*; в Средней же Азии вероятность первого значительно возрастает. Равным образом словосочетание *стеклянная сковородка*, почти невероятное лет 20 назад, стало сейчас широко употребительным» (Л. Р. Зиндер, О лингвистической вероятности, «Вопросы языкознания», 1958, № 2, стр. 123).

[1] Р. М. Фрумкина, Применение статистических методов в изучении языка, в кн. «О точных методах исследования языка», изд. МГУ, 1961, стр. 68.

восочетанием, чем, например, *съесть галоши.* Однако последнее, вполне возможное синтаксически, никак не может быть квалифицировано как невозможное и с чисто семантической точки зрения. В определенных условиях речевого общения его появление вполне вероятно[1]. Но вместе с тем было бы, конечно, странно не замечать того факта, что подобные сочетания глагола *съесть* единичны, в то время как другие его сочетания не только многочисленны, но и в гораздо большей степени способствуют проявлению его, так сказать, «подлинной» семантики.

Нет никаких оснований считать, что словосочетания *съесть галоши* и *съесть обед* грамматически неравноценны; но для семасиологии небезразлично то обстоятельство, что одно из них (второе) может встретиться чаще (при обследовании большого количества текстов), чем другое (первое).

Мы не можем в каждом отдельном случае быть уверены в том, что предсказываем правильное сочетание какого-либо слова. Но мы можем оценить возможность ошибки данного предсказания.

Лексическая сочетаемость слова регулируется только статистическими закономерностями. Они определяют не *возможность*, но *вероятность* появления слова в том или ином сочетании. Установлению этой вероятности должно, естественно, предшествовать исследование частотности слов в разных уже осуществленных в речи сочетаниях. Запечатление в языке того, что было, становится, таким образом, и показателем его потенциальных возможностей в б у д у щ е м.

В заключение требуется еще несколько замечаний.

Частое употребление слова в каких-то словосочетаниях может отразиться и на его собственном значении.

При устойчивом, постоянном употреблении слова в одинаковых речевых ситуациях его значение нередко специализируется в определенном направлении. Контекстно обусловленные оттенки значения данного слова обобщаются в сознании говорящих, становясь как бы элементом значения самого слова.

Такое контекстно обусловленное обобщение контек-

---

[1] Можно заметить, кстати, что в стихотворении К. Ч у к о в с к о г о «Телефон» крокодилы едят именно галоши (калоши).

стно обусловленного значения слова отчасти иллюстрируется уже так называемыми эллипсисами, наблюдаемыми в повседневной обиходной речи. Ср.: «— Да, а Ряховскому что дали? — Какому Ряховскому? — Да что весной за убийство. — А!.. Тому, помнится, двадцать. — Не высшую? — Нет. Нашли смягчающие» (А. Кузнецов, Августовский день). Здесь совершенно ясно, что *дали* значит «приговорили к чему-то» (ср. *дать срок* — отбывания в заключении), *за убийство* — «судился за убийство», *двадцать* — «двадцать лет», *высшую* — «высшую меру наказания», *смягчающие* — «смягчающие обстоятельства».

Эллипсис — это факт речи (в тех случаях, когда он опирается на регулярные закономерности сочетания слов,— факт языка, подлежащий освещению в описательной грамматике), интересный как с точки зрения грамматических возможностей языка, так и с точки зрения семантических особенностей функционирования его отдельных слов. Однако, будучи результатом частого употребления слова, устойчивой речевой ситуации, он может превратиться в фактор, влияющий на собственно лексическое значение данного слова.

Так, в тех случаях, когда определяемое (в широком смысле) в известной речевой ситуации однозначно предполагает какое-то определение, последнее может быть опущено, причем оно как бы включается в семантику самого определяемого, становится элементом его значения. Происходит своеобразное семантическое стяжение.

Случаи семантического стяжения весьма разнообразны и многочисленны в языке. Можно, например, отметить употребление слов *урегулирование, нарушать, осознать* в современной речи, в определенных условиях речевого общения, без дополнений: *урегулирование* (отношений), *нарушать* (порядок), *осознать* (ошибки). Например: «— Вернулся, значит... — полунасмешливо сказал юноша. — Как видишь. — *Осознал?* — в голосе юноши звучала явная ирония. — Ну, и *осознал*. Ты против меня выступал? За увольнение?» (Николаева, Битва в пути). Ср. также: «Мотались в слезах пьяные головы. Генерал Субботин охрип, *воздействуя*, — послал всех к чертям свинячьим, напился сам» (А. Толстой, Гиперболоид инженера Гарина); «— Дмитрий Корнее-

вич! — не отцеплялся парень. — Дмитрий Корнеевич! Проявите чуткость! Дайте возможность *загладить*! Я признаю ошибку!» (Панова, Сережа); «Федор Петрович оправдал доверие. Он быстро навел порядок в районной больнице, амбулаториях и разных детских учреждениях... *Вникал, устранял* и давал ценные указания» (А. Рекемчук, Без боли) и т. п. Понятно, что подобные примеры стяжения неравноценны и с точки зрения их «лексической кристаллизации», и с точки зрения их стилистической значимости. Во многих случаях вполне очевидна закрепленность подобного словоупотребления только за какими-то определенными сферами речевого общения. Ср.: *не нарушайте!*; *отделение* в значении «отделение милиции» («Его взяли под микитки и увели в *отделение*»— Зощенко, Кража в кооперативе); *довести* как технический термин, употребляемый в значении «довести проект до необходимого совершенства»: «Теперь ясно, что лодки этого типа не были доведены, ибо не всякая теоретическая новинка практически себя оправдывает» (Из газет) и т. п.

В древнерусской письменности можно обнаружить также целый ряд примеров стяжения словосочетаний, в частности обычных в условиях средневековья с его церковно-религиозной идеологией. Например, *причаститися, причастие*: «пославше приведоша и рѣша по что не приде прияти *причастия*» (Пролог, нач. XIV в.[1]); *приобьщитися*: «аще подобаеть ему *приобьщитися* или ни» (Ефремовская кормчая, XII в.); *отпущение* в значении «отпущение грехов»: «прѣльщьшемъ же ся и нуждею пострадавъшиимъ *отпущение* дасть» (Там же); *обратити* в значении «обратить в христианство»: «и многи невѣрные обрати» (Пролог из Юрьева Новгородского мон., XIV в.); *служити* в значении «совершать богослужение в церкви»: «и рече ему старецъ: по лютомь томь грѣсѣ дьрзнулъ ли еси *служити*; он же рече: еи, отче, *служихъ*; и рече старечь: вѣдыи буди се чадо, аще впадеть иерѣи въ таково прѣгрѣше-

[1] Наряду со «свободным» употреблением этих слов, соответствующим их этимологическому значению: «И нѣ хотящю *причястися* скверньѣ» (Лобковский пролог, XIII в.), «аще кто и не *причастися* убииству, но всоньми бывъ въ единои мысли, убииця же бысть» (Серапион Владимирский) и т. п.

ние... да не *служить*» (Лобковский пролог, XIII в.); *отдати* из словосочетания «отдати грѣхъ, съгрѣшенья», то есть «простить»: «аще оклеветаеши брата своего... шедъ поклонися ему до землѣ и рци: *отдаи* же ми отче, яко оклеветалъ тя есмь» (Пролог из Юрьева Новгородского мон., XIV в.); *избавити* в значении «избавить от беды, гибели»: «И корабля потапляемыя *избавити*» (Лобковский пролог, XIII в.) и др. под. Ср. также *просити* в значении «просить милостыню»: «и оттолѣ нача *просити*, и тако ся нача кормити» (Там же); *послати* в значении «послать гонца, слуг и т. п.»: «и *пославъ* цесарь разграби домъ мои». (Там же), «и *посла* Тиридатъ къ Иагании, да увѣщаеть Риспимию и пришлеть к нему на бракъ», — «и ему отъ Волги съ тѣмъ къ великому князю *послати*, что на полѣ на сей сторонѣ Волги нѣтъ Нагай никакихъ людей» (Грамота, 1508 г.) и т. п.

В ряде случаев стяжение становится решающим фактором изменения семантики слова. Например, глагол *производить* одним из значений имеет «производить материальные ценности»: «...социалистический лагерь будет *производить* больше, чем все капиталистические страны, вместе взятые» (Из газет). Дополнение (лексически определенное) как бы поглощено самим глаголом; ср. *производство*. Словосочетания *обратиться со словами, с вопросом, просьбой* и т. д. как бы конденсировались в семантике самого глагола. Ср. *обратиться* кому-нибудь, куда-нибудь. Ср. также развитие значений слов *попросить* (откуда-нибудь), *перевод* (читать в подлиннике или в переводе) и т. п. Глагол *претворить* благодаря его фразеологически устойчивому употреблению в словосочетании *претворить в жизнь* и сам по себе приобрел такое же значение: «Мне не приходилось видеть такой школы, десятилетки или семилетки, где бы мои педагогические убеждения были *претворены* и понимались так же глубоко, как они *претворены* в детских колониях» (Макаренко, Некоторые выводы из педагогического опыта); «Актер должен пользоваться своими знаниями и *претворять* их в своей работе над образом» (В. Пашенная, Искусство актрисы) и т. п.

В то же время изменение значения слова в свою очередь отражается на сочетаемости этого слова. Каж-

дому, кому приходилось иметь дело с текстами, написанными на «чужом» языке, хорошо известно, что смысл незнакомого слова нередко угадывается из контекста, то есть благодаря тому что значение незнакомого слова как бы подсказывается другими словами.

По существу, именно так и устанавливается значение ряда слов в исторических словарях.

Мы еще вернемся к тому, что некоторые слова фразеологически ограничены в своих связях. Они проявляют какое-то свое значение (иногда вообще возможны) только в соединении с определенными словами или определенными группами слов. Сейчас важно лишь отметить, что «специализированное» таким образом значение (благодаря, так сказать, принудительному употреблению данного слова в определенных словосочетаниях) может, закрепляясь за словом, расширять возможности своей реализации. Например, фразеологизированное выражение *краеугольный камень* придало прилагательному *краеугольный* то значение, которое свойственно ему в современном русском языке — *краеугольный вопрос*, *краеугольная проблема* (значение слова осталось фразеологически связанным, хотя и приобретшим новые возможности метафорического применения; ср. в «Толковом словаре...» В. И. Даля: «***Краеугольный камень***, который кладется под угол основы здания; основный, существенный, главоначальный»).

Влияние синтагматических связей слова на его семантику проявляется, таким образом, не только в семантическом стяжении. Не менее существенным может оказаться косвенное влияние часто сочетающихся с ним слов. Смещение значения слова обусловлено в таком случае тем, что слово воспринимается в составе определенного словосочетания, значение которого так или иначе окрашивает и его собственное значение. М. Бреаль, обративший внимание на это явление, назвал его «заражением» (contagion) [1]. М. М. Покровский писал по этому поводу в одной из своих ранних работ (1895 г.): «Нам уже неоднократно приходилось говорить о влиянии синтаксических сочетаний на значение тех слов, ко-

[1] M. Bréal, Les lois intellectuelles du langage, fragment de Sémantique, „Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France», 1883, стр. 132 и сл.

торые входят в их состав... Возьмем... русские прилагательные на ***-ючий (-учий), -ячий (-ачий).*** Прилагательные эти в русском языке утратили причастное значение... Дальнейшие их значения зависели как раз от тех имен, с которыми они вступили в сочетание. Во многих случаях сохранилось значение nominis agentis, близкое к первоначальному причастному; ср. *лежачий* в выражении «лежачего не бьют», *стоячая вода, плакучая ива* (ива, которая плачет), *зрячий, вонючий, пахучий* и т. п.; но, напр., выражение *горячая вода* мы уже не можем перевести через «вода, которая горит»; т. е. *горячий* стало обыкновенным прилагательным, равно как и *могучий*, которое утратило свою связь с глаголом *мочь*; наконец, новый оттенок мы находим в сочетаниях *сидячая жизнь, падучая болезнь*» [1].

Примером синтагматически обусловленного смещения значения слова является судьба глагола *витать* в русском языке. В течение длительного времени он употребляется преимущественно в таких словосочетаниях, как *витать в облаках, витать среди фантазий, витать в мире мечтаний* и т. п. Именно такое употребление слова привело к тому, что оно становится обозначением отвлеченных от реальности, бесплодных мечтаний. Характерно такое его употребление: «Пошел один я, тих и незаметен. Я думал о земле — я не *витал*» (Евтушенко, Концерт). В древнерусском языке слово *витати* значило «жить где-нибудь, пребывать»; ср. глагол того же корня *обитать* (само *обитать* — из *об-витати*); например: «И приходящимъ имъ, да *витають* у святаго Мамы...» (Лаврентьевская летопись, под 945 г., Из договора Игоря с греками).

Прилагательное *утлый* имеет в современном языке значение «ненадежный». Например: «А все-таки положение было довольно *утлое*» (Куприн, С улицы). Такое значение слова сформировалось в связи с тем, что оно было воспринято в составе тех выражений, в которых оно наиболее часто встречалось, а именно *утлый челн, утлое судно* и под. Первоначальное его значение было «имеющий щели, дырявый». В Лаврентьевской летописи

---

[1] М. М. Покровский, Семасиологические исследования в области древних языков, см. Избранные работы по языкознанию, изд. АН СССР, М., 1959, стр. 132.

(под 1074 г.): «... яко разгорѣся пещь, бѣ бо *утла*, и нача палати пламень утлизнами». У Даниила Заточника (XIII в.): «Какъ во *утелъ* мѣхъ воду лити, такъ безумнаго учити».

Из словосочетания *сократить штаты* возникло новое значение глагола *сократить* — «уволить с работы»: «А вас не *сократили*, Семен Ульянович? — спрашивает Валерьян» (К. Миньков, Фельетон «Как сократили единицу»). Из словосочетаний вроде *снять копию*, *снять план местности* и под. у глагола *снять* появилось значение «сфотографировать», а затем и «снять на киноленту» (ср. *снимок, съемки*, профессиональное *отснять*). Слово *закрыть* в результате употребления в таких сочетаниях, как *магазин закрыт*, *закрыть границу* и, наконец, с дальнейшей «метафоризацией» — *закрыть собрание* и т. п., приобрело самостоятельное значение, определяемое в словарях, как «прекратить, положить конец ведению, действию, деятельности чего-нибудь». Обобщение этого значения сделало возможным употребление слова в сочетании со словами *дело, жалоба* и т. п.; например: «После этого работники обкома партии решили жалобу директоров коммунистов считать *закрытой*» (Из газет).

Фразеологическое словосочетание *смотать удочки* обусловило возникновение у глагола *смотаться* значения «исчезнуть, уйти», а затем — «сходить, съездить куда-нибудь»: «— Часа за три *смотаемся* туда и обратно» (П. Халов, Пеленг 307).

Приведенные примеры (число которых можно было бы значительно увеличить) представляют собой наиболее очевидные случаи влияния общего значения словосочетаний, в которых достаточно устойчиво употребляется слово, на его собственную семантическую судьбу. Однако, как уже выше говорилось, роль синтагматических связей слова при разнообразных изменениях значений слов вообще очень существенна. Слова с их значениями усваиваются новыми поколениями в основной своей массе не через толкования, в той или иной форме даваемые взрослыми, а из непосредственной речевой практики, из речи, которая состоит именно из тех или иных объединений слов. Для того чтобы у слова *худой* (древнерусск. *худыи*) из значений «плохой», «бедный»,

«ничтожный» и т. д.[1] развилось современное значение «тощий», в значительной мере вытеснившее другие его прежние значения, нужно было, чтобы оно было усвоено новыми поколениями носителей языка в таких словосочетаниях, которые выдвигали бы на первый план именно данное осмысление слова. Сравните, например, значения таких слов, как *целовать* (первоначальное значение: «желать быть здоровым», ср. *цел и невредим*, *целебный, исцелить* и т. д.), *упражняться* (первоначальное значение: «освобождаться от работы», в связи с чем — «иметь досуг для чего-нибудь» и т. д., ср. *праздный*) и ряда других. Можно не повторять здесь той истины, что причины семантических изменений, как правило, сложно переплетаются между собой и самое направление семантических изменений зависит обычно от ряда разнородных факторов. Изменение сочетаемости слов (как лексической, так и нередко синтаксической) является, однако, во всех случаях наиболее объективным показателем происходящих семантических сдвигов.

В предыдущем разделе, посвященном парадигматическим отношениям в семантике, было уделено сравнительно много внимания тем ассоциациям, которые возникают в результате звукового сходства слов и могут влиять на собственно семантическое содержание слова. На синтагматической оси — оси сочетания — внешняя, звуковая форма слов иногда также играет заметную роль.

Будучи выбранным при речевом общении, слово становится элементом текста, причем значимость его звукового облика в тексте бывает различной. В ряде случаев эта значимость вполне очевидна. Можно сослаться на многие пословицы, загадки и т. д., звуковое оформление которых является основой самого их возникновения и существования. Это наглядно, например, в поговорках с личными именами, вроде «Пошла *Настя* по напастям», «Наш *Козьма* все бьет со зла», «Наш *Филат* тому и рад», «У *Тита* было пито, а у *Карпа* нет ни капли», «Добр *Мартын*, коли есть алтын», «Наш *Авдей* никому не зло-

[1] Ср.: «одежа же бѣего худа и сплатана» (Киево-Печерский патерик, XIII в., рукопись 1406 г.); «приимѣте наша худая словеса» (Кирилл Туровский, XII в., рукопись XIV в.) и т. п. Ср. в устойчивых фразах: «не говоря *худого* слова», «*худой* мир лучше доброй ссоры».

дей», «Ехал к *Фоме*, а заехал к куме», «Мели *Емеля*, твоя неделя» и многих других, собранных в «Пословицах русского народа» В. И. Даля. Отбор слов регулируется здесь именно их ролью в тексте, их звуковым сходством друг с другом.

Достаточно лишь упомянуть о значении внешней формы слов для стихотворной речи, организованной ритмически, использующей рифмы, звуковые повторы и т. д. Издавна включаемые в руководства по красноречию (а впоследствии в курсы стилистики) рекомендации избегать скопления согласных или гласных на стыках слов, повторения тех же слов или сочетания слов с однородными звуками и т. д.[1] также свидетельствуют о влиянии звуковых качеств слов, именно как сочетающихся единиц, на направление их отбора для передачи определенного сообщения.

Как известно, все эти рекомендации не имеют абсолютного характера. Например, повторение того же слова в предложении, нежелательное в ряде случаев, иногда становится специальным стилистическим приемом: «Многим Фирсов не *нравился* потому, что ему *нравилось* кое-что из того, что не должно *нравиться* тем, кто сам желает *нравиться*» (Леонов, Вор). Ср. также: «Прекратил же он свои лекции об аравитянах потому, что перехвачено было *как-то* и *кем-то* (очевидно, из ретроградных врагов его) письмо к *кому-то* с изложением *каких-то* «обстоятельств», вследствие чего *кто-то* потребовал от него *каких-то* объяснений» (Достоевский, Бесы) и т. п.

Можно отметить, что устойчивое сочетание слов, поддержанное, например, ритмическими условиями текста или вообще «поэтической традицией», иногда продол-

---

[1] Так, М. В. Ломоносов в своем «Кратком руководстве к красноречию...», следуя правилам античной риторики, требовал избегать «слуху противного» стечения гласных и согласных; например, он указывал, что в предложении: «всех чувств взор есть благороднее» — «шесть согласных, рядом положенные, — *вств*, — *вз*, язык весьма запинают», а в предложении «плакать жалостно о отшествии искреннего своего друга» недостатком являются трижды сряду поставленные *о* и *и*. Неприятное впечатление может производить и частое повторение одного и того же звука, как, например, во фразе «тот путь тогда топтать трудно» многократное повторение звука *т*. Однако звуковой повтор, как отмечал М. В. Ломоносов, может преследовать и изобразительные цели.

жает свое существование, несмотря на разрушение его смысла. Любопытным примером переосмысления традиционного былинного словосочетания и возникновения в связи с этим переосмыслением как бы нового слова (ограниченного в своем употреблении определенными контекстами) является былинное *котыра* или *кутыра*. В «Архангельских былинах», записанных Григорьевым, это «слово» встречается очень часто. Вот несколько иллюстраций.

«Увидала его Домнушка
да Домна Фалилеёвна:
«Да ёво Митрей йидё, кутыра йидё,
Да как кутыра-та боярьская,
Да как сова заозерьская...»,
«Как идё, идё, идё Михайловиць,
Как кутыра боярьская,
да как сова заозерьская...»,
«Да нейду, нейду, маменька,
да за кутыру боерьскою,
да за сову заозерьскою...»;
«Он — кутыра боерьская,
Как сова заозерьская...»,
«Да идёт, идёт Митрей княсь,
Да как кутыра боерьская...» и мн. др.

Как объясняет составитель, «кутыра» вышла из выражения «как у тура», ср. в тех же записях:

Да у Митрея походоцька
да тура-та боярьского...»,
«Как походка у Митрея
Как у тыры боерьское...» и т. п.

Этими краткими замечаниями и следует ограничиться; как видно из приведенных примеров, звуковая форма сочетающихся слов может играть в речи существенную роль, но соответствующие случаи относятся к другим областям науки о языке (главным образом, к специальному разделу стилистики) и мало затрагивают собственно семасиологическую тематику.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ

В предыдущих разделах мы рассматривали отбор и сочетание слов как отдельных лексико-семантических единиц, исходя из того, что говорящий выбирает слово, чтобы обозначить что-то, и сочетает его с другим словом, также обозначающим что-то. В большей части случаев мы игнорировали то обстоятельство, что не только слова, но и сочетания слов могут представлять собой нечленимые по смыслу единицы, которые выступают как таковые уже при самом отборе.

В языке существуют такие группы слов, которые ограничены в своей сочетаемости с другими словами чем-то посторонним для их собственно «предметного» значения. С другой стороны, в языке существуют *как данное* не только отдельные слова, но также и целые словосочетания, которые не создаются, а воспроизводятся в речи, — иначе говоря, сочетания слов, к которым самый термин «сочетание» применим не в его процессуальном, а в результативном значении.

Научное исследование фразеологических, устойчивых словосочетаний и фразеологически «связанных» значений слов началось сравнительно недавно, хотя идиоматические обороты и выражения из разных языков издавна привлекали к себе внимание исследователей, а также собирались и комментировались как лингвистами, так и любителями.

В работах швейцарского лингвиста Ш. Балли была сделана первая попытка определить отличия фразеологических устойчивых словосочетаний от свободных и предложена классификация фразеологического материала. Ш. Балли выделил три основные группы фразеологических словосочетаний: обычные сочетания, фразеоло-

гические группы (серии) и фразеологические единства [1]. На основе наблюдений Ш. Балли и некоторых других исследователей, например С. И. Абакумова [2], стало возможным более глубоко и последовательно осветить характер устойчивых, фразеологических словосочетаний. Новый этап в изучении этих словосочетаний открыли работы В. В. Виноградова [3].

В. В. Виноградов дал подробную характеристику семантической структуры фразеологических словосочетаний и наметил основные принципы их классификации. Им были выделены три основных типа фразеологических единиц в русском языке. Это — фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические сочетания.

В основу классификации было положено наблюдение над тем, какое соотношение наблюдается между значением фразеологического целого и значениями входящих в него слов.

К фразеологическим сращениям В. В. Виноградов относит такие устойчивые словосочетания, значение которых не определяется значениями входящих в них отдельных слов; значение целого предстает не мотивированным с точки зрения современного состояния языка; например, *как пить дать; собаку съел; и был таков; как ни в чем не бывало*; *бить баклуши* и т. п.

Фразеологические единства также неделимы по смыслу и также имеют единое, целостное значение, но это значение не является совершенно немотивированным, как в предыдущем случае; оно вытекает из образного осмысления всего словосочетания; например, *из мухи делать слона*; *из огня да в полымя*; *переливать из пустого в порожнее*; *держать камень за пазухой*; *плыть по течению* и т. п.

---

[1] См. Ш. Балли, Французская стилистика, М., 1961, стр. 87 и сл. Впервые эта классификация была предложена Ш. Балли в работе 1905 г.

[2] С. И. Абакумов, Устойчивые сочетания слов, «Русский язык в школе», 1936, № 1, стр. 58— 64.

[3] В. В. Виноградов, Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины, «Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция филологических наук», Л., 1946, стр. 45—69; Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, сб. «Академик Шахматов». Сб. статей и материалов, изд. АН СССР, 1947, стр. 339—364; Русский язык, Учпедгиз, 1947, стр. 21—28.

Фразеологические сочетания, представляющие в классификации В. В. Виноградова третий тип фразеологических единиц, характеризуются тем, что в них входят слова, связи которых с другими словами ограничены, которые проявляют свое значение только в соединении с определенным, замкнутым кругом слов; например, *потупить* может сочетаться лишь со словами *глаза, взор, взгляд, голову*; *брать* в значении «овладевать, подвергать своему влиянию» в применении к чувствам, настроениям сочетается не со всеми обозначениями эмоций, настроений, а только с некоторыми из них; можно сказать *страх берет, тоска берет, досада берет, смех берет, ужас берет, зависть берет*, но нельзя: *радость берет, удовольствие берет, наслаждение берет* и т. п.

Работы В. В. Виноградова вызвали повышенный интерес к исследованию фразеологических оборотов. Была исследована фразеология отдельных произведений художественной литературы, выяснялась стилистическая роль фразеологизмов, были подвергнуты анализу структурные особенности различных фразеологических единиц, их синтаксические функции и т. д.

Однако, несмотря на значительное количество исследований, появившихся после работ В. В. Виноградова, опирающихся на его концепцию и в той или иной мере развивающих ее на материале различных языков, терминология, относящаяся к фразеологии, остается во многом двусмысленной. «Зыбкость, неопределенность и многообразие в понимании объекта фразеологических исследований, — констатировал С. И. Ожегов в 1957 году, — сопряжены с такой запутанностью терминологии, какой нет, вероятно, ни в одном разделе лингвистики» [1].

С. И. Ожегов сравнивает терминологию в книгах по общему языкознанию Л. А. Булаховского, который «под идиоматикой понимает то, что у В. В. Виноградова называется фразеологическими сращениями, единствами и сочетаниями, а под фразеологией ходовую цитацию, пословицы и т. п.», и А. А. Реформатского, который «в идиоматике объединяет то, что Л. А. Булаховский называет идиоматикой и фразеологией, а в фразеологию

---

[1] С. И. Ожегов, О структуре фразеологии, «Лексикографический сборник», вып. 2, М., 1957, стр. 37.

включает явления профессиональной, жаргонной, художественной речи»[1].

Наиболее странное впечатление производит, однако, даже не разнобой в терминологии, относящейся к фразеологии, а то, что «фразеология» понимается некоторыми исследователями как нечто само по себе данное в языке в своих точных границах. В связи с этим то или иное определение объема фразеологии признается неправильным на основании того, что в нее включаются или, наоборот, исключаются из нее какие-то явления языка, — в то время как очевидно, что можно было бы обсуждать лишь то, соответствует ли отнесение автором этих фактов к фразеологии тому определению, которое критикуемый автор дает «фразеологии», как и ценность самого данного определения. Так, например, А. И. Ефимов, указав, что «под фразеологическим составом языка разумеется запас ходячих, метких, часто повторяемых, устойчивых, в смысле порядка слов, крылатых выражений, которые бытуют в национальном языке и которые находят в художественных произведениях самое различное применение»[2], считает возможным упрекнуть вслед за этим тех лингвистов, которые исходят из другого понимания «фразеологии». Он пишет: «Практика же некоторых лингвистов старой школы, признававших фразеологией языка лишь идиоматические выражения, приводила к тому, что огромный фразеологический материал оставался вне поля зрения»[3]. Непонятно, почему в поле зрения того или иного фразеологического исследования должен был бы оказаться материал, который в данном исследовании «не признается фразеологией языка». Кстати, старые собиратели и исследователи фразеологии как раз очень широко понимали ее состав и границы (так, в известном сборнике М. И. Михельсона «Русская мысль и речь — свое и чужое — опыт русской фразеологии» объединены пословицы, различные изречения, идиомы, образные выражения, отдельные устаревшие, жаргонные или диалектные слова и т. д.).

Сочетания слов, которые различными исследовате-

[1] С. И. Ожегов, О структуре фразеологии, «Лексикографический сборник», вып. 2, М., 1957, стр. 37.

[2] А. И. Ефимов, Стилистика художественной речи, изд. МГУ, 1957, стр. 273.

[3] Там же, стр. 274.

лями рассматриваются как фразеологические единицы, чрезвычайно различны по своему характеру. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они могут объединяться и разграничиваться различными способами, на основании различных принципов. В зависимости от общего определения, которое дается понятию «фразеологической единицы», меняется и объем, а отчасти и состав «фразеологии» языка. Нет сомнения, что для разных целей могут оказаться полезными какие-то различные принципы классификации фразеологического материала.

В различных исследованиях мы находим в качестве основных критериев выделения (а иногда и классификации) фразеологизмов такие качества, как идиоматичность словосочетания, его устойчивость и воспроизводимость, постоянство состава компонентов, невыводимость значения целого из суммы значений составляющих его компонентов, образность и т. д. Совершенно ясно, что, какими бы второстепенными ни казались отдельные из этих признаков с точки зрения иных критериев и принципов выделения фразеологизмов, нет никакого основания (именно с точки зрения этих иных принципов) считать их несостоятельными или даже ошибочными. Между тем подобные разногласия составляют значительную часть исследований по фразеологии.

Несмотря на отмеченные противоречия в трактовке предмета и объема фразеологии, некоторые положения (если отбросить терминологические расхождения) можно считать достаточно определенными. Во-первых, фразеологическими единицами считаются не отдельные слова, а словосочетания. Поэтому «образное» употребление отдельных слов, так же как употребление отдельных слов в каких-то специфических значениях, не рассматривается как «фразеологическое». Во-вторых, фразеологическими единицами считаются устойчивые сочетания слов. Поэтому различного рода образные выражения, постоянно *возникающие* в речи, не рассматриваются как «фразеологические».

Эти ограничения, важные сами по себе, конечно, еще никак не определяют собственного состава фразеологии.

Можно заметить, что синтагматическая нерасчлененность словосочетания, то есть его воспроизводимость в качестве единой и целостной парадигматической еди-

ницы, свойственна далеко не всем словосочетаниям, относимым обычно к фразеологии. Так, В. В. Виноградов отмечал, что те словосочетания, в которые входят слова с фразеологически связанными значениями и которые были названы им фразеологическими сочетаниями, «не являются безусловными семантическими единствами. Они аналитичны»[1]. Действительно, если, например, рассматривать как *фразеологически связанное* значение глагола *впасть* «стать впалым», реализуемое «лишь со словами *щеки, глаза (очи)*, реже *рот, губы, виски, грудь, бока*»[2], то никак нельзя сказать, что соответствующие словосочетания «воспроизводятся» в речи. То же относится и ко всем другим словосочетаниям, причисляемым к «фразеологическим сочетаниям» (ср. *страх берет, щекотливое положение, обдать презрением* и т. п.). В то же время нельзя не согласиться с В. В. Виноградовым, считающим значения слов *берет, щекотливое, обдать* в подобных словосочетаниях фразеологически связанными, несвободными, поскольку они «могут проявляться лишь в связи со строго определенным кругом понятий и их словесных обозначений» и «для такого ограничения как будто нет оснований в логической или вещной природе самих обозначаемых предметов, действий и явлений»[3]. С другой стороны, и те значения слов, которые рассматриваются В. В. Виноградовым как «прямые номинативные», могут сочетаться с очень узким кругом слов. «Например, — пишет В. В. Виноградов, — в прилагательном *безвыходный* основное номинативное значение относительного прилагательного «без выхода, без ухода» в русском литературном языке XIX в. реализуется лишь в словосочетании *безвыходное сидение дома* или *безвыходный домосед*... Круг применения основного номинативного значения слова *безвыходный* ограничен его реальным содержанием. Вот тут-то и обнаруживается глубокое качественное различие между основным номинативным и фразеологически связанным значением слова. Фразеологически связанным является отвлеченно-переносное значение слова *безвыходный*: «такой, из которого невозможно найти выход, исход; безрадостный» (*без-*

[1] В. В. Виноградов, Русский язык, Учпедгиз, 1947, стр. 27.
[2] В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, «Вопросы языкознания», 1953, № 5, стр. 18.
[3] В. В. Виноградов, Русский язык, Учпедгиз, 1947, стр. 26.

выходное положение)»[1]. Таким образом, фразеологически связанными, по В. В. Виноградову, являются главным образом переносные значения слов; если же слово выступает в своем основном номинативном значении, хотя и реализуемом в сочетаннии с одним-двумя словами (ср. *щурить глаза*[2]), оно не рассматривается как несвободное, «фразеологически связанное». При такой точке зрения на типы значений слова учитывается, следовательно, одновременно (и нерасчлененно) и семантическая структура слова и характер его синтагматических связей. Однако, с точки зрения последних, применение «основных номинативных» значений слов типа *безвыходный* не представляется столь отличным от функционирования фразеологических значений. Ведь значение «без выхода, без ухода» само по себе не предполагает только «сидение дома», — то, что реально слово ограничено этим смыслом, и может рассматриваться как признак его фразеологичности.

Если относить к фразеологическим всякие словосочетания, которые в чем-то противостоят общим закономерностям отбора и сочетания слов — отбора и сочетания, основанных на самостоятельной парадигматической противопоставленности соответствующих значений и полной свободе их объединений (в пределах, естественно, существующих в языке синтаксических моделей и в соответствии с их внеязыковым «содержанием»), — в таком случае состав «фразеологии» вырисовывается как очень разнородный, но в то же время достаточно четко очерченный. В задачу фразеологии входит тогда изучение различных по природе единиц. Их общей чертой является то, что в них отсутствуют свободные синтагматические связи, — это или устойчивые словосочетания, которые не создаются, а воспроизводятся в речи, или словосочетания, которые хотя и возникают в речи, но связь компонентов которых в той или иной мере является заранее предопределенной.

Может возникнуть вопрос, не ограничена ли вообще сочетаемость каждого слова. Дело, однако, не только и не столько в количестве словосочетаний, в которые входит слово в том или ином (свободном и фразеологи-

[1] В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, «Вопросы языкознания», 1953, № 5, стр. 16.

[2] Там же, стр. 12.

чески связанном) значении, а в семантической мотивированности его связей. Например, прилагательное *настоящий* (так же: *подлинный, истинный,* разговорное *всамделишный* и т. п.) может сочетаться с любым существительным, которое мы захотим определить как «настоящее». Слово же *сущий* в значении, которое определяется в толковых словарях при помощи приведенных выше прилагательных (например, в «Словаре...» под редакцией Д. Н. Ушакова: «истинный, подлинный, самый настоящий»), ограничено в своей сочетаемости: *сущий вздор, сущее наказание, сущая правда, сущая безделица...,* но мы не могли бы сказать *сущий рассказ, сущее поощрение* и т. п., то есть мы не можем свободно располагать «значением» этого слова. Или, например, одно из значений глагола *брать,* определяемое в «Словаре...» под редакцией Д. Н. Ушакова как «двигаться, направляться в какую-нибудь сторону», фактически реализуется только в сочетании со словами *направо, налево, правее, левее, вправо...* Это опять-таки фразеологические, а не «реальные» ограничения.

При общем обозрении разнородного фразеологического материала выделяются прежде всего три разряда сочетаний. Во-первых, такие сочетания слов, которые в полном смысле слова воспроизводятся в речи как целостные единицы: *свежо предание, а верится с трудом; семь пятниц на неделе; из огня да в полымя; точить лясы; человек долга; железная дорога.* Во-вторых, такие сочетания, один из членов которых имеет фразеологически связанное значение; в то же время каждое из соответствующих сочетаний не является само по себе парадигматической единицей языка, то есть не существует в языке как единое целое: *обложной дождь; жмурить глаза; слезно просить.* В-третьих, сочетания, которые, подобно первым из выделенных выше, представляют собой синтагматически и парадигматически (в семантическом плане) неразложимые единицы, но в то же время образованы так, что синтагматические отношения между составляющими их словами выражают одновременно и их парадигматическое соотношение: *белый хлеб — черный хлеб; шагающий экскаватор — экскаватор; высшая школа — средняя школа — начальная школа; тяжелая промышленность — легкая промышленность* и т. п.

Учет семантических отношений между компонентами внутри самого словосочетания позволяет выделить еще некоторые типы фразеологически связанного употребления слов. В результате, очевидно, могут быть выделены следующие группы фразеологических словосочетаний.

1. Словосочетания, один из членов которых характеризуется синтагматической ограниченностью, не обусловленной его собственным значением в узком смысле: *облечь* (*доверием*, *властью*, *полномочиями*); *кромешный* (*ад*, *тьма*); *гробовое молчание*, *гробовая тишина*; *припеваючи* (*жить*); *слезно* (*просить*, *умолять*); *собачий* в значении «сильный» (*холод*); *пороть* в значении «говорить, болтать» (*чушь*, *вздор*, *глупости*, *ерунду*); *неоплатный* (*долг*, *должник*); *неослабный* (*интерес*, *надзор*, *внимание*); *земно* (*кланяться*); *нанести* в значении «причинить» (*оскорбление*, *обиду*, *поражение*); *битый*, *круглый* в значении «целый» (с некоторыми словами, обозначающими единицы времени); *издать* в значении «произвести», «испустить» (*крик*, *звук*); *отъявленный* (при словах, обозначающих лиц с отрицательными качествами, *отъявленный плут*, *мошенник*, *дурак*, *негодяй* и т. п.). Ср.: «Курослепов: ...Вот что, будь друг, *слезно* я тебя *прошу*, скажи мне по душе: вовсе я рехнувшись или еще во мне какая искра теплится?» (Островский, Горячее сердце); «В ее воображении Питер представляется каким-то *кромешным адом*, где люди чуть не поедают друг друга» (Станюкович, Агафья); «Вокруг обоих царила *гробовая тишина*» (Чехов, Дочь Альбиона); «— *Глупости порешь*, — строжайше оборвал Мешков» (Федин, Первые радости); «Наконец, в-третьих, в комнате этой был *собачий холод* — отопления в ней не было...» (В. Некрасов. В родном городе); «А мой дядя и его знаменитый друг, как я тогда подумал, были, вероятно, *отъявленные мошенники*» (Гайдар. Судьба барабанщика) и т. п. «Вся эта банда бесконечно, день и ночь, *круглое лето*, ела, пила, играла, пела, пускала фейерверки, острила...» (Чехов, Зеленая Коса).

2. Словосочетания, один из компонентов которых как бы полностью включает в себя значение второго; это значение является стержнем

его собственного значения. Таковы, например, словосочетания *щурить глаза*, *разинуть рот* (*пасть*), *угрызения совести*, *обложной дождь*, *закадычный друг*.

Говоря о сочетаниях глаголов типа *щурить*, *жмурить*, *скалить* и подобных, С. И. Ожегов писал: «Одним из признаков фразеологичности сочетания является возможность разрушения словосочетания с сосредоточением в глаголе смысловых оттенков всего словосочетания, иногда с приобретением глаголом возвратной формы: *щуриться*, *жмуриться*, *потупиться*, *скалиться*, *таращиться*, *дрыгаться*, *кивать*, *семенить*»[1]. Действительно, самая принудительность связи делает ее выражение как бы излишним. Например, слово *угрызения* не только предполагает дополнение *совести*, но и само по себе как бы заключает в себе и его смысл, вследствие чего *угрызения* и *угрызения совести* сохраняют полную равнозначность. Ср.: «Лечит он без колебаний и без *угрызений совести*, ставит диагноз мгновенно» (Куприн, Мелюзга); «Он глядел на плывущие берега, втягивал всей грудью медовый влажный воздух и не чувствовал ни *угрызений*, ни раскаяний» (А. Толстой, Хождение по мукам); «Сейчас согласится, но пройдет время — оглянется, вспомнит, что без жалости переехали человека, начнутся *угрызения*...» (Тендряков, За бегущим днем) и под.

3. Словосочетания в известном смысле противоположные предыдущим, таким, как *щурить глаза*, *скалить зубы* и т. д., представляющие собой главным образом сочетание глагола, утрачивающего свою полнозначность, и существительного: *оказать помощь*, *оказать содействие*, *оказать услугу*, *принимать участие*, *одержать победу*, *произвести впечатление*, *строить предположения*, *делать выбор* и мн. под. Здесь в глаголе не только нет какого-то намека на значение сочетающегося с ним существительного, но и собственное его значение сводится к роли грамматического аффикса — показателя глагольности. В то время как *щурить глаза* конденсируется в *щуриться — оказать помощь* представляется (в синхронном плане) некиим расщеплением глагола *помочь*, то есть семантический центр в первом слово-

[1] С. И. Ожегов, О структуре фразеологии, «Лексикографический сборник», вып. 2, М., 1957, стр. 43.

сочетании — в глаголе (*щурить*), во втором — в существительном (*помощь*).

4. Словосочетания, компоненты которых соотносятся друг с другом — в плане синтагматических смысловых отношений — не как слова, а как морфемы, но парадигматически сохраняют полную смысловую значимость слов, так как именно в значениях, реализуемых в данных словосочетаниях, входят в определенную парадигму семантических единиц: *красная смородина — черная смородина — смородина*; *белое вино — красное вино — вино*; *зеленый чай — чай; белый хлеб — черный хлеб — хлеб; шагающий экскаватор — экскаватор* и т. п.

5. Словосочетания, которые характеризуются полной воспроизводимостью, то есть являются парадигматически не расчлененными на слова как таковые и в то же время полностью сохраняют семантическую мотивированность составляющих их членов и отношений между ними. Сюда можно отнести очень различные по своей природе словосочетания, разграничение которых является существенным для стилистики; например крылатые слова, цитации, «обычные словосочетания»[1], штампы и т. д.

Вот несколько примеров:

«Этих господ, для красоты слога, называли также бакенбардистами. (*Дела давно минувших дней*, как изволите видеть)» (Тургенев, Гамлет Щигровского уезда); «У него стояли целые мешки позеленевших денег, и он копался в них, чтобы отыскать по каталогу какой-нибудь семик *времен Очакова и покоренья Крыма*» (Федин, Первые радости); «Но я не Молчалин, чтоб мне *«не сметь свои суждения иметь»* (Овечкин, Районные будни).

«Она видела, что это — *человек фразы*, которого ни любить, ни уважать не стоит» (Писемский, Богатый жених); «— Дайте мне обещание, что больше *не сделаете* такой *выходки*» (Гаршин, Из воспоминаний рядового Иванова); «*Помяни мое слово*, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть» (Куприн, Гранатовый браслет); «Он мне говорит:

[1] Вслед за Ш. Балли этот термин употребляет С. И. Ожегов, очерчивая круг указанных фразеологических единиц. — Ук. соч., стр. 45—46.

Мартынов *рвется к власти*, авторитет в организации завоевывает, хочет выжить меня отсюда» (Овечкин, Районные будни).

Ср. такие словосочетания, как *директор завода*, *ветеринарный врач* и т. п., а также такие, как *поставить вопрос*, *вынести на обсуждение*, *проводить линию*, *на очередь дня*, *бытовые услуги*, *решающий момент*, *выполнение плана*, *производительность труда*, *моральный кодекс*, *сказано — сделано* и мн. под.

К этому же разряду фразеологических словосочетаний следует отнести ряд пословиц и поговорок, лишенных метафорической иносказательности, например, *век живи, век учись*; *труд человека кормит, а лень портит*; *не дав слова — крепись, а дав слово — держись* и под.

6. Словосочетания, которые также характеризуются воспроизводимостью, но значение которых не основано на значениях входящих в них слов, взятых в отдельности. Оно раскрывается при «образном» осмыслении целого, которое представляет собой метафорическое обозначение явления. Явление не называется, а как бы описывается путем разного рода сравнений, уподоблений, по его частному признаку, внешней характерной примете и т. д. Словосочетания данного типа, названные В. В. Виноградовым «фразеологическими единствами», чрезвычайно разнообразны и по своему составу, и по стилистической окраске, и по степени их экспрессивности. Ср.: «Барышни *сходили* по нем *с ума*» (Пушкин, Барышня-крестьянка); «— А ты не все *на свой аршин меряй* — и об старших подумай!» (Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы); «— ...Иной раз он такое выпалит, что просто *уши вянут*! Просто как извозчик!» (Чехов, В номерах); «Физиономия моей жены, казалось мне, приняла торжественное выражение, я же *повесил нос* и впал в меланхолию...» (Чехов, Оба лучше); «Видят хозяева, что за купцом приехали, испугались и *давай бог ноги*...» (Чехов, Степь); «Доктор Топорков был *спицей в глазу* князей Приклонских» (Чехов, Цветы запоздалые); «— Всегда был чудак... А теперь, кажется, *не все дома*» (Короленко, Не страшное); «— Вот что, ты мне *зубы не заговаривай*, а иди!» (Горький, Челкаш); «И тут оказалось, что до города *рукой подать*» (Л. Леонов, Вор); «У меня с красными полное доверие, нас прямо в

вагон и — пожалуйте, фьють! — *ищи ветра в поле*!» (Федин, Братья); «А людей — *кот наплакал*» (В. Некрасов, В окопах Сталинграда); «Пошли дожди не во-время, и мы *садимся в калошу*. А если такая погодка продлится еще недели две?» (Овечкин, Районные будни); «При Борзове у нас все колхозы *под одну гребенку причесывали*, — сказал Ладыгин» (Овечкин, На переднем крае) и т. п.

Некоторые из подобных словосочетаний, по-видимому, в большей мере, чем другие, утрачивают в речи свою «образность», — мы не обращаем внимания на их «внутреннюю форму», как не обращаем внимания на этимологический смысл привычных слов, сколь бы ни была прозрачной их «внутренняя форма». Ср.: *найти общий язык* (с кем-нибудь), *открыть глаза* (кому-нибудь на что-либо или кого-либо), *развязать руки* (кому-либо для чего-либо), *играть с огнем, войти в колею, плести паутину, как гром с ясного неба, как из рога изобилия, по горячим следам* и т. п.

К этому же разряду словосочетаний относятся многие пословицы и поговорки, например: *Это еще вилами на воде писано*; *Волка бояться, так и в лес не ходить*; *Не в свои сани не садися*.

7. Словосочетания, которые отличаются от всех предыдущих полной немотивированностью своего значения, отсутствием у них «внутренней формы», то есть живых семантических связей между составляющими их словами. Словосочетания этого типа были обозначены В. В. Виноградовым как «фразеологические сращения». Состав их не менее разнообразен, чем предыдущей группы. Они лишены образности в прямом смысле этого слова, то есть такой образности, из которой возникало бы их реальное значение; разумеется, это относится лишь к современному восприятию данных словосочетаний.

Вот несколько примеров:

«Чугунов: ...А прогнать жаль, *не ровен час* и понадобится; не себе, так добрым людям услужить» (Островский, Волки и овцы); «— ...Выл бы потом всю жизнь от раскаяния, но только чтобы теперь эту *штучку отмочить*!» (Достоевский, Братья Карамазовы); «Да на что же лучше, помилуйте, ведь он раз такую *штуку* губернатору *отлил*» (Куприн, Картина);

«— В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы *ни в зуб толконуть*!» (Чехов, Репетитор); «— И такую *прописал* мне *ижицу* ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно» (Куприн, Звезда Соломона); «Еще в школьные годы Семенюта всегда *бывал козлищем отпущения* за целый класс» (Куприн, Святая ложь); «Дьяк пошел к вечерне, поклявшись, что если в храм явится попадья или немка — показать им при всем народе *кузькину мать*» (А. Толстой, Родные места); «— Проверяешь? Да? Ну, на этом деле я *собаку съел*» (В. Некрасов, В окопах Сталинграда); «Устал — это еще *не дуба дал*. Устал, отдохнул — и дальше пошел!..» (Овечкин, В том же районе) и т. д.

Немотивированность общего значения словосочетания, отсутствие как в прямых и переносных значениях составляющих его элементов, так и в значении целого какого-либо намека на это значение делают возможным присутствие в нем и таких элементов, которые не только не употребляются вне данного словосочетания и лишены самостоятельного значения, но которые и вообще как бы лишены в живой системе языка какого бы то ни было значения, кроме того, что они являются частью словосочетания с определенным фразеологическим значением. Например: «Глумов... Я только злился и писал эпиграммы на всю Москву, а сам *баклуши бил*» (Островский, На всякого мудреца...); «— ...Я огородами *задал лататы* да сюда...» (Горький, Как поймали Семагу).

Эта немотивированность предельно очевидна в тех случаях, когда прямое (или переносно-образное, но мотивированное все-таки хотя бы этой образностью) значение словосочетания вступает в резкое противоречие с его фразеологическим значением, например: «— ...Ох, и *давали* мы там немцам *жизни*! Всю охрану *уничтожили*» (Нилин, Через кладбище).

8. От рассмотренных словосочетаний отличаются такие, где связь компонентов является также совершенно не мотивированной в современном языке, но общее значение прямо и непосредственно выражено одним из компонентов, назначение же второго (им может быть слово, словосочетание, целая фраза) — в выражении степени проявления того, что обозначено первым;

ср. *реветь — белугой; влюбиться — по уши; орать, кричать — во всю ивановскую, благим матом; наговорить, наобещать, наврать* и т. п.— *с три короба; напиться — до чертиков; пьян — как стелька; ругать, распекать* и т. п.— *на чем свет стоит; бежать — во все лопатки; не видно — ни зги; свой — в доску* и т. п.

Мы видим, что один из членов подобных словосочетаний ограничен связью с определенным словом или кругом слов; в этом отношении они примыкают к словосочетаниям первой и второй групп, выделенных выше, то есть к таким, один из членов которых ограничен обязательной сочетаемостью с определенными словами,— вне таких сочетаний он или невозможен, или не реализует именно данного значения. Правда, приведенные только что фразеологизмы гораздо менее «связаны»; на этом нам придется остановиться ниже. Вообще же следует заметить, что словосочетания этого типа могли бы быть распределены и по разным группам, если бы исходить из критерия синтаксической структуры фразеологизмов или каких-то других критериев. Некоторым основанием для их объединения служит характер семантической связи между составляющими их компонентами, а также семантическая роль фразеологически связанных компонентов в самих словосочетаниях, заключающаяся в обозначении высшей степени того признака (в широком смысле), который обозначен другим членом словосочетания.

Таковы некоторые из основных, как кажется, групп фразеологических словосочетаний в современном русском языке.

Совершенно ясно, что их характеристика является далеко не полной. Не охарактеризована их морфологическая структура, синтаксические особенности, не принималась во внимание и их стилистическая функция. Освещение этих вопросов — задача специальной работы[1]. Следует отметить только, что в индивидуальном употреблении почти все из отмеченных выше фразеологизмов могут претерпевать значительные изменения. Это относится и к их составу, и к их семантической и конструктивной роли в конкретном высказывании. Рассмо-

[1] Эти и другие особенности фразеологизмов обстоятельно рассмотрены в недавно вышедшей книге Н. М. Шанского «Фразеология современного русского языка», изд. «Высшая школа», М., 1963.

трение этих преобразований фразеологизмов относится также или к стилистике, или специально к фразеологии. Оно интересно, однако, для нас в двух отношениях. Во-первых, характер индивидуальных преобразований тех или иных фразеологизмов не может не зависеть от характера фразеологизмов, то есть он должен в какой-то мере соответствовать их собственной природе, отраженной в той или иной классификации. Во-вторых, эти преобразования отражают восприятие носителями языка в известный отрезок времени определенных фактов языка и указывают на возможность, вернее — возможности, их исторического преобразования в самом языке. Поэтому нам придется, задержавшись на время, рассмотреть хотя бы некоторые случаи такого изменения фразеологизмов в индивидуальной речи, которое основано на использовании заложенных в самих данных фразеологизмах возможностей.

Словосочетания первой из рассмотренных выше групп, то есть типа *издать крик*, *слезно просить*, *щекотливый вопрос*, наиболее неопределенные в своем составе, естественно, и меньше всего дают поводов для всякого рода намеренных трансформаций. Дело в том, что входящие в них слова с фразеологически связанными значениями сочетаются, по сути дела, не всегда с вполне определенно очерченным для конкретного носителя языка кругом слов. Иногда этот круг достаточно широк, но тем более зыбкими становятся его границы. Например, слово *сущий* употребляется при ряде слов оценочного характера в роли своеобразного усилителя (в словарях это значение определяется как «истинный, самый настоящий»): «Он был просто пьян в тот вечер, хотя и выпил-то *сущие* пустяки...» (Л. Леонов, Вор); «...требовал, чтобы я у него по праздникам обедал, что мне, впрочем, всегда было *сущим* наказанием» (Лесков, Детские годы) и т. п. Тот или иной говорящий может, положим, не задумываясь, употребить в своей речи выражения *сущий вздор*, *сущая правда*, *сущее безобразие*, но, услышав в речи кого-то другого *сущая ложь* или *сущий плут*, он не будет уверен в том, «можно ли так сказать». Употребляя прилагательное *битый* в сочетаниях *битый час*, *битых два часа* и т. д., некоторые из нас, по-видимому, затруднятся ответить на вопрос, можно ли сказать *битых пятнадцать минут* и сознательно ли в экспрессив-

ных целях расширил сочетаемость этого прилагательного Достоевский, когда написал «Они просмотрели так друг на друга секунд десять *битых*, при глубоком молчании всех окружающих» («Игрок»), или же такое словоупотребление казалось ему обычным.

Даже в тех случаях, когда сочетаемость слова с фразеологически связанным значением предельно ограничена, не всегда можно с полной уверенностью решить, является ли то или иное ее расширение в индивидуальной речи нарушением (намеренным или бессознательным) нормы, или оно должно быть расценено как реализация каких-то ее потенциальных возможностей. Ср., например, в романе Леонова «Вор»: «...отдыхать *в кромешной пустоте* своего женского одиночества».

Гораздо более очевидны случаи нарушений нормы в словосочетаниях следующих трех типов, выделенных выше.

Жизненное пространство фразеологически связанных слов, входящих в словосочетания, вроде *жмурить глаза*, *закадычный друг* и т. п., по существу, ограничено именно этими словосочетаниями. Самое их значение как бы организуется и определяется сочетающимися с ними словами. Поэтому всякое их употребление в других словосочетаниях может быть вызвано только намеренным перенесением вместе с тем значения и всего устойчивого словосочетания. Например: «Ведь даже в ту памятную ночь, за полчаса до нападения, ушел через границу последний эшелон с бензином. «Нашим *заклятым друзьям*!» — говорили об этих грузах железнодорожники» (Косцинский, Если мы живы). Ср. такие примеры: «...Перед мешком его явился глупый, Вертлявый, долгоухий Кролик; он Мешок понюхал, *поморгал ноздрями*, Потом и влез в мешок... (Жуковский, Кот в сапогах); «Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно *пялило* свои *лучи* во все стороны» (Чехов, Степь); «*Окна разинув*, стоят магазины» (Маяковский, Хорошо!) и т. п.

В словосочетаниях типа *оказать доверие, произвести впечатление* замена вспомогательного глагола (например, *оказать впечатление*) может быть воспринята только как ошибка; словосочетания же *белый хлеб, черная смородина* и т. д. противостоят всяким отклонениям в силу своей номинативной функции,

Больше всего возможностей для намеренных смещений, различного рода сдвигов и каламбуров дают, естественно, устойчивые фразеологические словосочетания с мотивированной внутренней формой. Будучи неразложимыми по своей природе, целиком воспроизводимыми в речи, они не допускают тем самым индивидуального варьирования: замены отдельных слов синонимами, расширения своего состава, часто — и изменения порядка слов. В то же время именно благодаря тому, что они существуют в системе языка как устойчивые единицы, их изменение в речи всегда обращает на себя внимание, становится экспрессивно значимым. А их общая «образность» позволяет говорящим находить самые различные формы их обыгрывания. Например, фразеологическое словосочетание может быть понято как бы буквально, что приводит обычно к своеобразной игре слов, а в романе Достоевского «Бесы», как известно, такое «буквальное» понимание выражения *провести за нос* явилось источником конфликта в клубе. Ср. обыгрывание выражения *остаться с носом*, понимаемого одновременно в двух планах — в свободном и в фразеологическом — в другом романе Достоевского—в «Братьях Карамазовых», в разговоре Ивана Карамазова с «Чертом», где на вопрос Ивана: «— Ну и что ж, отходил с носом?» — следует такой ответ: «— Друг мой, — заметил сентенциозно гость, — с носом все ж лучше отойти, чем иногда совсем без носа, как недавно еще изрек один болящий маркиз (должно быть, специалист лечил) на исповеди своему духовному отцу — иезуиту. Я сам присутствовал — просто прелесть». «Возвратите мне, говорит, мой нос!» И бьет себя в грудь. «Сын мой, — виляет патер, — по неисповедимым судьбам провидения все восполняется и видимая беда влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую выгоду. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы *остались с носом*» — «Отец святой, это не утешение! — восклицает отчаянный, — я был бы, напротив, в восторге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем месте!» — «Сын мой, — вздыхает патер, — всех благ нельзя требовать разом, и это уже ропот на провидение, которое даже и тут не забыло вас; ибо если вы вопиете, как возопили сейчас, что с радо-

Больше всего возможностей для намеренных смещений, различного рода сдвигов и каламбуров дают, естественно, устойчивые фразеологические словосочетания с мотивированной внутренней формой. Будучи неразложимыми по своей природе, целиком воспроизводимыми в речи, они не допускают тем самым индивидуального варьирования: замены отдельных слов синонимами, расширения своего состава, часто — и изменения порядка слов. В то же время именно благодаря тому, что они существуют в системе языка как устойчивые единицы, их изменение в речи всегда обращает на себя внимание, становится экспрессивно значимым. А их общая «образность» позволяет говорящим находить самые различные формы их обыгрывания. Например, фразеологическое словосочетание может быть понято как бы буквально, что приводит обычно к своеобразной игре слов, а в романе Достоевского «Бесы», как известно, такое «буквальное» понимание выражения *провести за нос* явилось источником конфликта в клубе. Ср. обыгрывание выражения *остаться с носом*, понимаемого одновременно в двух планах — в свободном и в фразеологическом — в другом романе Достоевского—в «Братьях Карамазовых», в разговоре Ивана Карамазова с «Чертом», где на вопрос Ивана: «— Ну и что ж, отходил с носом?» — следует такой ответ: «— Друг мой, — заметил сентенциозно гость, — с носом все ж лучше отойти, чем иногда совсем без носа, как недавно еще изрек один болящий маркиз (должно быть, специалист лечил) на исповеди своему духовному отцу — иезуиту. Я сам присутствовал — просто прелесть». «Возвратите мне, говорит, мой нос!» И бьет себя в грудь. «Сын мой, — виляет патер, — по неисповедимым судьбам провидения все восполняется и видимая беда влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую выгоду. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы *остались с носом*» — «Отец святой, это не утешение! — восклицает отчаянный, — я был бы, напротив, в восторге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем месте!» — «Сын мой, — вздыхает патер, — всех благ нельзя требовать разом, и это уже ропот на провидение, которое даже и тут не забыло вас; ибо если вы вопиете, как возопили сейчас, что с радо-

стью готовы бы всю жизнь оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание ваше: ибо потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом...»

Ср. разложение выражения *звезд с неба не хватает*, основанное на неправильном его понимании: «Юсов: ...Предрассудкам этим я не верю, будто ученые с неба звезды хватают» (Островский, Доходное место).

Иногда «прямое» значение фразеологического словосочетания (или одного из входящих в него слов) является только как бы поводом для его дальнейшего индивидуального развития, причем присущее ему переносно-образное значение остается семантическим стержнем и нового, индивидуального построения. Например: «Я, может быть, и умен. Но будь я *семи пядей во лбу*, непременно тут же найдется в обществе человек в *восемь пядей во лбу* — и я погиб» (Достоевский, Подросток); «Глядя на него, я вспомнил клопов, Зиночку, свою диагностику, и *не мороз, а целый Ледовитый океан пробежал по моей спине*» (Чехов, Ночь перед судом) и т. п. Ср. случаи, где существующий фразеологизм не воспроизводится в индивидуальном построении, но опять-таки явно ощущается как ключ к пониманию последнего. «Константин Ионыч, принимая пособие Авенира и Платониды, и сам *не сидел сиднем и не ждал воды под лежачий камень*» (Лесков, Котин доилец и Платонида); «— ...*Сто зубов против них имею*, и они это отлично знают! А вот почему они так не делают, чтобы я к ним ни одного зуба? Невыгодно» (Сергеев-Ценский, Пристав Дерябин).

Фразеологические словосочетания, общее значение которых не выводимо ни из значений составляющих их слов, ни из их «образного» осмысления (фразеологические сращения), реже подвергаются индивидуальным преобразованиям. Они лишены того живого, легко расшифровываемого (хотя бы и неправильно с исторической точки зрения) образного содержания, которое восстанавливалось бы и при некоторых изменениях их формы. Неподвижность и немотивированность связей между компонентами фразеологического сращения приводит, однако, к тому, что какие-то из входящих в него слов в определенных ситуациях становятся как бы условными знаками, черпающими свое значение из значения фразеологического целого. Например, в романе Леонова

«Вор» приводится разговор братьев Дмитрия Векшина и Леонтия:

«— Вот и объясни, за что ты так ненавидишь меня, который всегда добра тебе желал?.. в чем тут дело, где тут *собака зарыта*?

Некоторое время Леонтий шел, покусывая сорванную на ходу полынку.

— Можно мне, братец, не объяснять вам, в чем моя *собака* заключается? — тихо спросил он».

И дальше: «— Ну, раскрывайся напоследок, почему давеча про с о б а к у - т о утаил? — с полушутки начал Векшин» (разрядка Леонова).

Ср. у Маяковского в поэме «Владимир Ильич Ленин»:

«Я буду писать
и про то
и про это,
но нынче
не время
любовных *ляс*», —

где не существующее отдельно в современном русском литературном языке слово *лясы* извлечено из фразеологически неразложимого словосочетания *точить лясы* с продиктованной этим словосочетанием семантикой.

Конечно, и слова со свободными значениями могут ситуационно переосмысляться, отягощаться значениями, налагаемыми на них целыми контекстами. Отличие состоит, однако, в том, что в этих случаях (ср., например, такую символизацию слова *стена* в «Записках из подполья» Достоевского) ситуационное значение слова уже совершенно случайно, — в случаях же, когда ситуационное значение извлекается из общего значения фразеологического целого, оно хотя и не закреплено в языке как системе, но опирается именно на общеязыковую основу. В определенных условиях значения подобного происхождения могут войти в язык.

Что касается словосочетаний типа *ни зги не видно*; *кричать, орать во всю ивановскую* и подобных, то их спаянность, по-видимому, вообще не является достаточно прочной. Фразеологически связанные элементы этих словосочетаний легко освобождаются от своих принудительных связей и переносятся в другие словосочетания с общей функцией экспрессивного обозначения высшей степени проявления чего-то.

Вот несколько примеров из очень многих возможных: «От этих дел *не вспомнят ни зги*» (Маяковский, Владикавказ — Тифлис); «— Ах, Аркадий! Сделай одолжение, *поссоримся* раз хорошенько — *до положения риз*, до истребления» (Тургенев, Отцы и дети); «Божатся, клянутся и *желают себе всяких напастей во все лопатки*» (Чехов, Ярмарка); «Играют все больше «Стрелочка», играют машинально, *фальшивя на чем свет стоит*» (Там же).

В ряде случаев выход указанных «усилительных» фразеологизмов из ограничивающих их словосочетаний кажется более решительным; ср., например, сочетаемость выражений *до чертиков, во всю ивановскую*:

«— Вообрази, Родя, на что вчера съехали: есть или нет преступление? Говорил, что *до чертиков доврались*!» (Достоевский, Преступление и наказание); «Я и земский врач народ худенький, остальные же толсты, как стоведерные бочки, а потому, несмотря на то что дедовская коляска была и широка и глубока, нам было *до чертиков тесно*» (Чехов, Двадцать девятое июня); «— Я сам *замучился до чертиков*, — хмуро проговорил Давыдов» (Шолохов, Поднятая целина); «— ...Это с того бока, с суши, подошли наши части и *стали крошить во всю ивановскую*» (С. Антонов, На военных дорогах); «—...Тогда *терны цвели во всю ивановскую*, белой кипенью вся балка взялась!» (Шолохов, Поднятая целина).

Не все, естественно, случаи варьирования фразеологизмов, которые могут быть обнаружены в речи, а особенно в литературе прошлого, свидетельствуют об их намеренном преобразовании. Иногда это отражение существовавшей в прошлом нормы их обычного употребления, претерпевшей изменения в современном русском языке.

Нужно заметить также, что в составе современного русского языка находятся такие ряды близких по строению фразеологизмов, которые являются результатом не преобразований какого-то определенного фразеологического словосочетания, а скорее своеобразной лексикализации отдельных синтаксических конструкций, имеющих (именно как конструкции, а не сочетания каких-то конкретных слов) фразеологический характер. В отличие от фразеологических единиц лексики (или лексических фразеологизмов) во фразеологических конструкциях нет лексической неподвижности. Они не связаны с опре-

деленными словами как таковыми, но они обладают фиксированной и неизменной схемой построения, включая сюда обязательный порядок слов и наличие строго определенных, сильно ограниченных в варьировании грамматических форм, а иногда и определенных служебных слов. В то время как лексические фразеологизмы индивидуальны в лексической сфере, индивидуальность фразеологических конструкций проявляется в сфере синтаксиса, то есть в пределах заданной схемы допускается в той или иной мере свободное лексическое наполнение.

Например, форма 2-го лица единственного числа повелительного наклонения может быть употреблена не только в своем основном, то есть побудительном значении, но и в разного рода условных и уступительных конструкциях, а также в конструкциях, служащих для выражения степени признака или действия: «Зато жареное он по-прежнему засушивает так, что хоть *стучи* им по тарелке — настоящий картон» (Тургенев, Фауст); «Говорить на публике он любил, вдохновлялся, вздымал к потолку руки и любовался собой так, что хоть зеркало перед ним *ставь*» (Антонов, Дело было в Пенькове); «Заговорили все. Полки, дивизии, весь фронт, хоть волосы *рви*. Прорвало» (А. Толстой, Рассказ проезжего человека); «— Всегда у меня нос краснее с холоду, прямо хоть на улицу не *выходи*» (Л. Леонов, Вор); «...А ты около меня походишь, поухаживаешь, и опять я живая, хоть *танцуй*» (Панова, Времена года) и мн. др. Легко заметить, что фразеологический характер приведенных предложений заключается не в каких-то особых лексических значениях входящих в них слов, а в особенностях их строения, обусловливающих фразеологически связанное значение присутствующих в них грамматических форм слов.

Но на основе определенных «фразеосхем» очень часто возникают и лексические фразеологизмы, то есть такие словосочетания, в которых наличие не только опорных слов, но и всех компонентов (всего лексического состава) становится закрепленным. Отражая общее значение данной фразеосхемы, эти устойчивые сочетания в то же время, так сказать, индивидуализируют его. Конкретное значение каждого из таких лексических фразеологизмов не определяется полностью «типовым» значением данной фразеосхемы, а закреплено именно

за ним. В данном случае это такие фразеологические обозначения трудности, безысходности положения, как: *Хоть в петлю лезь! Хоть ложись да помирай! Хоть вон беги! Хоть карауул кричи! Хоть волком вой! Хоть святых вон выноси!* и под., — и в еще большей мере утратившие предикативность и как бы «разобщенные» в своих отклонениях от общего значения всей фразеосхемы фразеологические словосочетания, вроде *Хоть глаз выколи, Хоть шаром покати, Хоть выжми (выжимай), Хоть брось,* а также экспрессивные обозначения большого количества: *Хоть пруд пруди, Хоть отбавляй* и под.

Как и все другие элементы языка, фразеологические словосочетания не остаются неизменными. С течением времени изменяется как общий фразеологический состав языка, так и структура отдельных фразеологизмов. Так, на протяжении XIX века изменилась фразеологическая сочетаемость ряда слов. Например, в ряде словосочетаний произошла смена полузнаменательных глаголов при существительных; ср.:

«Плутовка вздумала на *хитрости подняться.*
Взяв важный и степенный вид,
Идет в пещеру, где сбиралися лисицы»

(И з м а й л о в, Бесхвостая лисица)

и современные выражения *пуститься на хитрость*; *пойти на хитрость*; *принять вид.* Ср. у Погорельского: «Странность профессора, красота Аделины и возрастающая к ней страсть моего друга *делали неприятное на меня впечатление...*» (Двойник, или Мои вечера в Малороссии); «Необыкновенная, можно сказать, чудная сцена сия *сделала глубокое на меня впечатление* (Т а м ж е) — при современных *производить впечатление*, *произвести впечатление.*

Прилагательное *скоропостижный* закрепилось в современном языке в мрачной роли определения при словах *смерть, кончина* (точно так же, как наречие *скоропостижно* при глаголах *умереть, скончаться*). Однако общее значение этого прилагательного, квалифицируемое в «Словаре современного русского литературного языка» как «устаревшее», определяется там следующим образом: «произошедший в короткий срок; внезапный, неожиданный». В «Словаре...» В. И. Даля при прилагательном *скоропостижный* указаны такие существитель-

ные, как *случай, дело, смерть*. Ср. у Лескова: «Рогожин свертел *скоропостижную свадьбу* и справлял необыкновенный медовый месяц» (Захудалый род). Таким образом, в языке XIX века сочетаемость указанного слова не была столь ограниченной, как в современном языке. По существу, слово с ограниченной сочетаемостью (типа *сущий* и т. п.) превратилось в слово с принудительной сочетаемостью (типа *обложной дождь*).

Глагол *утолить* имеет в современном русском литературном языке фразеологически связанное значение. Его сочетаемость фактически ограничена несколькими словами (*утолить — голод, жажду, желание*). В древнерусском языке, выступая со значениями «убедить, уговорить, усмирить; успокоить; облегчить» (см. «Материалы для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, т. III, стр. 1311—1312), он соответственно сочетался с дополнениями, выраженными самыми различными существительными (*Утолити* кого-л., *утолити гнѣвъ* и т. д.). В XIX веке еще были вполне употребительны сочетания, вроде *утолить боль, утолить печаль*. В настоящее время и они воспринимаются как устаревшие (см., например, «Словарь русского языка» С. И. Ожегова).

Усилительный фразеологизм *благим матом*, ограниченный в современном языке сочетанием с глаголом *кричать (орать)*, у писателей XVIII — начала XIX века встречается также и с глаголами движения: «...Спасибо Анютка-то *прибежала благим матом* к нам в спальню, мы с ней подняли мать твою с полу и положили на постель» (Измайлов, Евгений); «...вдруг *бежит* ко мне в кабинет Кирюшка *благим матом* и кричит...» (Там же); «— Вот нашел, о чем заботиться, — промолвил урядник,— показать только линек — и так *благим матом вспрыгнешь*, словно заяц с капусты» (Марлинский, Лейтенант Белозор). Ср.: «Испуганный вор, зная, что оборотни так же боятся пения петуха, как мы стихов Котова, так давнул несчастного вестника зари, что он *закричал кукареку благим матом*» (Там же) и т. п. Сочетаемость фразеологизма, таким образом, сузилась.

Между различными типами фразеологических словосочетаний нет, конечно, не только неподвижных, но и резко очерченных границ. Так называемые обычные словосочетания, расширяя сферу применения или сохраняясь в языке при изменении самих обозначаемых ими

реалий, могут восприниматься уже как образные выражения, как метафорические перифразы или застывшие формулы. Например, словосочетание *бить челом*, возникшее не позже XIII—XIV вв. (*челомь бити*), сначала, по-видимому, являлось просто «натуралистическим» отображением самого действия («класть земные поклоны»). Затем в условиях феодально-средневековых отношений оно стало выражать обращение к власти, а именно с просьбой или с жалобой на кого-либо. Например: «ѣздилъ къ великому князю на Москву о томъ же *челомъ бити своему государю*» (Псковская 1 летопись, 1471 г.). Ср.: *челомь бити на* (кого-либо), *челомь ударити на* (кого-либо) — «жаловаться, пожаловаться на кого-либо» (см. «Материалы для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, т. III, стр. 1488—1489). Приобретя характер устойчивой формулы, словосочетание *бить челом* и внешне лексикализуется — в производных *челобитье, челобитный* (*челобитная грамота*).

Обозначение какого-то явления по его внешнему характерному признаку может сохраняться и при исчезновении самого признака; например:

«Аризона» подняла пиратский флаг. Это совсем не означало, что на ней взвилось черное с черепом и берцовыми костями романтическое знамя морских разбойников. Теперь разве только на бутылках с сулемой изображались подобные ужасы. Флага, собственно, на «Аризоне» не было поднято никакого» (А. Толстой, Гиперболоид инженера Гарина). Характер метафоричности выражения при этом, естественно, меняется.

Многие фразеологические сочетания, как известно, обязаны своим происхождением определенной профессиональной среде. Служа там обозначениями каких-то знакомых процессов и предметов, они, естественно, и при иносказательно-метафорическом применении сохраняют прочный образный стержень. Но, когда они выходят за пределы данной профессиональной среды именно в своем метафорическом применении, они легко утрачивают этот стержень, особенно когда их «техническое» значение неясно для широкого круга говорящих. Например, выражения *бить баклуши*, *точить лясы* с семантически «пустыми» для современного языка элементами *баклуши* и *лясы* лишены в нем «образности» — это немотивированные фразеологические сращения. Происхождение их

объясняется следующим образом. *Баклуша* — это, как указывает В. И. Даль, «чурка, болван, приготовленный для токарной выделки *щепеной* посуды»; «*бить баклуши* — готовить болваны эти, скалывая негодную в деле блонь; скалывать горбыльки, притесывать баклуши вчерне; этим занимаются *лесники*, а выделкой посуды — *токари* и *ложкари*; у первых из *баклуши* ничего не выходит, почему *бить баклуши* — шататься без дела, повесничать, заниматься шалью».

Примерно так же объясняет это выражение С. Максимов в своей книге «Крылатые слова»[1]. Что касается фразеологизма *точить лясы*, ему дается такое объяснение: «В тех же заволжских лесах, о которых было сказано прежде и где бьют настоящие баклуши и вытачивают из них бесконечного разнообразия вещи, также не обманным, а настоящим образом «точат лясы или балясы»... Усердно и очень серьезно из тех же осиновых плах точат там фигурные балясины, налаживая их наподобие графинов и кувшинов, фантастических цветов и звериных голов, в виде коня или птицы: кому как вздумается и взбредет на ум или кто как выучен с малых лет. Работа веселая, позывает на песню и легкая уже потому, что дает простор воображению...»[2]. Ср. в романе Каверина «Два капитана»: «Иногда он шил сапоги, иногда плел сети или вырезывал из осины фигурки птиц и коней на продажу. Это ремесло — оно называлось «точить лясы» — он вывез с Волги, откуда был родом». И дальше: «Потом я вылепил коня с толстой расчесанной гривой. Лясы! Конь старика Сковородникова, вот что это такое! Это были лясы, только не из дерева, а из глины».

Меняющиеся условия и формы жизни, естественно, изменяют и восприятие той «образности», которая заключена в различных фразеологических словосочетаниях. Например, *закусить удила* (ср. в повести Куприна «На переломе»: «И он принимался рассказывать, сперва вяло, как будто бы нехотя, но потом *закусывал удила* и создавал одну вдохновенную импровизацию за другой») для современного горожанина, не знакомого с ездой на

[1] С. Максимов, Крылатые слова, Гослитиздат, М., 1955, стр. 23 и сл. (первое издание книги вышло в 1891 г.).

[2] Там же, стр. 31.

лошади, утрачивает ясность «образа», вступая на путь движения к немотивированным фразеологическим сращениям. Сменившие лошадь средства передвижения также стремительно изменяются в наши дни; на самой железной дороге паровозы вытесняются электровозами, тепловозами; когда этот процесс окончательно завершится, выражения *на всех парах, дать полный пар* (например, у Чехова в «Драме на охоте»: «Я наудачу пошел по одной из боковых аллей и, насвистывая какой-то мотив, дал «полный пар» своим следовательским способностям в роли простой ищейки») будут также нуждаться в историческом комментарии.

Изменение состава и строения фразеологического словосочетания может быть вызвано различными причинами.

Затемнение «образности», заложенной во фразеологическом словосочетании (вследствие изменения исторических условий жизни носителей яызка, расширения сферы применения фразеологизма, сдвигов в значении или употребительности какого-либо из входящих в него слов и т. д.), нередко ведет к его изоляции в языке, к разрушению синонимических и иных соответствий.

Например, фразеологизм *не чаять души* (в ком-либо), лишенный в современном языке отчетливо выраженной мотивированности, в прошлом поддерживался такими выражениями, как *быть без души* (от кого-либо), *не слышать (слыхать) души* (в ком-либо). В «Толковом словаре...» В. И. Даля значение этих оборотов объясняется так: «*Он от нее без души, она в нем души не слышит, не чает*, безумно, безотчетно любит его». Ср.: «Отец и мать *не слыхали в нем души*, избаловали его, и любимый их сынок Иванушка (настоящее имя его я позабыл) вышел в двадцать лет невежда, пьяница и буян...» (Измайлов, Редкая жена); «Отец Савелий главенствовал над всем положением; его маленькая протопопица чтила его и *не слыхала в нем души*» (Лесков, Соборяне); «...она училась, работала и раза два в год набегала домой, чтобы провести праздники с отцом и с братьями... а особенно с младшей сестрой, в которой *не слыхала души*» (Лесков, Захудалый род).

Ср. также: «Медведь мой *лыжи направляет* И от волков живот свой бегом избавляет» (Вас. Майков, Медведь и волки) при современном устойчивом *навострить лыжи*; «*На лаврах отдыхал* Кот сытый и дород-

ный» (Измайлов, Совет мышей) при современном устойчивом *почивать* (*почить*) *на лаврах*; «— ...В армии скорее выучатся службе, чем в гвардии... а особливо как полковник строгой... *Вымоет* раза два-три хорошенько *перед фрунтом голову*, вышлет раза два-три за фрунт, так и будет офицер исправный...» (Измайлов, Евгений) при устойчивом в современном языке *намылить голову* (о существовании варианта *вымыть голову* свидетельствует, в частности, и производное *головомойка*; ср. *задать головомойку*) и т. д.

Застывшие в современном русском языке адвербиализованные словосочетания *скрепя сердце, очертя голову*, естественно, обладали большей мотивированностью, когда параллельно с ними могли употребляться такого рода словосочетания, как «Виктор слушал, *крепя сердце*» (Марлинский, Лейтенант Белозор); «...Христя только бодрится, а в существе очень страдает от невыносимой тяжести положения, которое себе устроила *очертя ум и волю*» (Лесков, Детские годы) и под.

С другой стороны, разрушение образного стержня фразеологизма может привести также к колебаниям в его оформлении, поскольку самое строение его перестает выражать живые семантико-синтаксические связи. Так, «из словосочетания — *валить через пень колоду* — вследствие экспрессивного стирания предметных значений — образуется разговорная идиома — *через пень колоду* — в значении: как попало»[1]. Немотивированность оторванного таким образом словосочетания *через пень колоду* делает возможным различное понимание существующих между его элементами отношений; например: «Хороводились таким манером *через пень в колоду* до самого обеда» (Лесков, Житие одной бабы)[2]; «— Чтоб и в

---

[1] В. В. Виноградов, Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, сб. «Академик Шахматов». Сборник статей и материалов, изд. АН СССР, 1947, стр. 349.

[2] Любопытно, что С. Максимов при объяснении происхождения данного выражения исходит именно из этого варианта. Описав непролазные лесные трущобы, он заключает: «Для заблудившегося охотника, для потерявшегося грибовника один исход: мучительно шагать, следуя примеру умелого и привычного медведя, через дуплистый пень и попадать непременно и обязательно в трухлявую колоду. Захотел отворотить от пня — налез на колоду...» и т. д. (С. Максимов, Крылатые слова, Гослитиздат, М., 1955, стр. 340—341).

тех колхозах, где люди честно трудились, и где *работали через пень-колоду*, на трудодни хлеба осталось поровну!..» (Овечкин, Районные будни).

Не мотивированные с точки зрения современного литературного языка фразеологические словосочетания легко подвергаются в нем и немотивированным изменениям, в том числе и основанным на случайном звуковом сходстве слов. Например, *у черта на куличках* появилось в результате искажения *у черта на кулижках*, *пока суть да дело* — как переосмысление первоначального *пока суд да дело* (например, у Чехова данный фразеологизм встречается в обоих вариантах; в рассказе «Свидание хотя и состоялось, но...»: «*Пока суть да дело*, — подумал он, — а мы выпьем. Время быстрей покажется»; в повести «Дуэль»: « — Их еще нет, — сказал Шешковский, стряхивая с себя грязь. — Что ж? *Пока суд да дело*, пойдем поищем удобного места») и т. п.

Здесь нет возможности и необходимости останавливаться на разнообразных случаях изменений, претерпеваемых фразеологизмами с течением времени. Важно только отметить, что, сколь бы индивидуальна ни была судьба каждого отдельного фразеологизма, сколь бы многими факторами она ни определялась, в развитии фразеологического состава языка ведущую роль, по-видимому, играют те же основные движущие силы, которыми определяется лексико-семантическое развитие языка в целом. Это стремление к мотивированности языкового знака, с одной стороны, и стремление к его автоматической воспроизводимости, с другой, или тенденция к экспрессивности и тенденция к регулярности. Поскольку на разных уровнях языковой структуры, даже в пределах одного слова (слова как фонетического комплекса, как члена грамматической парадигмы, как смысловой единицы языка, как члена семантической парадигмы, как члена определенных словосочетаний и т. д.), эти тенденции проявляются неодинаково, направление внешних и внутренних (смысловых) преобразований фразеологизма нередко зависит от сложного переплетения разнообразных факторов.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Амосова Н. Н., К вопросу о лексическом значении слова, «Вестник Ленинградского государственного университета», Серия истории, языка и литературы, № 2, вып. I, 1957.

Апресян Ю. Д., Проблема синонима, «Вопросы языкознания», 1957, № 6.

Апресян Ю. Д., Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля, «Лексикографический сборник», вып. V, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1962.

Апресян Ю. Д., К вопросу о структурной лексикологии, «Вопросы языкознания», 1962, № 3.

Ахманова О. С., Некоторые вопросы семантики в современном языкознании, см. книгу: О. С. Ахманова, И. А. Мельчук, Е. В. Падучева, Р. М. Фрумкина, О точных методах исследования языка, изд. АН СССР, М., 1961.

Ахманова О. С., Очерки по общей и русской лексикологии, Учпедгиз, 1957.

Будагов Р. А., Слово и его значение, Л., 1947.

Будагов Р. А., Введение в науку о языке, Учпедгиз, М., 1958.

Булаховский Л. А., Введение в языкознание, ч. II, Учпедгиз, М., 1953.

Виноградов В. В., Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, см. сборник «А. А. Шахматов», изд. АН СССР, 1947.

Виноградов В. В., О некоторых вопросах русской исторической лексикологии, «Известия отделения литературы и языка АН СССР», т. XII, вып. 3, 1953.

Виноградов В. В., Основные типы лексических значений слова, «Вопросы языкознания», 1953, № 5.

Виноградов В. В., Об омонимии и смежных явлениях, «Вопросы языкознания», 1960, № 5.

Галкина-Федорук Е. М., Современный русский язык. Лексика, изд. МГУ, 1954.

Звегинцев В. А., Семасиология, изд. МГУ, 1957.

Звегинцев В. А., Очерки по общему языкознанию, изд. «Высшая школа», 1962.

Клюева В. Н., Краткий словарь синонимов русского языка, изд. 2, Учпедгиз, 1961.

Ковтун Е. С., О значении слова, «Вопросы языкознания», 1955, № 5.

Кодухов В. И., Лексико-семантические группы слов, Л., 1955.
Комиссаров В. Н., Проблема определения антонима, «Вопросы языкознания», 1957, № 2.
Котяну И., К вопросу о систематическом характере семасиологии, «Revue de Linguistique», 1960, № 1.
Кузнецова А. И., О типах смысловых отношений в группе глаголов движения в древнерусском языке, «Вестник Московского государственного университета. Серия: филология и журналистика», 1961, № 1.
Курилович Е., Заметки о значении слова, см. сборник статей Куриловича Е. «Очерки по лингвистике», Издательство иностранной литературы, 1962.
Левковская К. А., Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала, изд. «Высшая школа», 1962.
Лукина Г. Н., Антонимические прилагательные в памятниках древнерусского языка (XI—XVII вв.), «Материалы и исследования по исторической грамматике и лексикологии русского языка», изд. АН СССР, 1962.
Максимов Л. Ю., Антонимия как один из показателей качественности прилагательных, «Ученые записки Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина», т. CXXXIII, вып. 8, 1958.
Мельчук И. А., О терминах «устойчивость» и «идиоматичность», «Вопросы языкознания», 1960, № 4.
«Новое в лингвистике», вып. II, Издательство иностранной литературы, 1962 (см. раздел I. Проблемы значения).
Ожегов С. И., О структуре фразеологии, «Лексикографический сборник», вып. II, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1957.
Ожегов С. И., К вопросу об изменении словарного состава русского языка в советскую эпоху, «Вопросы языкознания», 1953, № 2.
Покровский М. М., Избранные работы по языкознанию, изд. АН СССР, 1959.
Панов М. В., О слове как единице языка, «Ученые записки Московского городского педагогического института им. Потемкина», т. 51, Кафедра русского языка, вып. 6, 1956.
Реформатский А. А., Введение в языкознание, изд. 3, Учпедгиз, 1960.
Смирницкий А. И., К вопросу о слове (проблема «тождества слова»), «Труды Института языкознания АН СССР», т. IV, 1954.
Смирницкий А. И., Значение слова, «Вопросы языкознания», 1955, № 2.
Уфимцева А. А., Опыт изучения лексики как системы, М., 1962.
Уфимцева А. А., К вопросу о лексико-семантической системе языка, «Вопросы языкознания», 1962, № 4.
Фельдман Н. И., Об анализе смысловой структуры слова в двуязычных словарях, «Лексикографический сборник», вып. I, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1957.
Филин Ф. П., Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей), Л., 1949.
Филин Ф. П., О лексико-семантических группах слов, «Езиковедски исследования в чест на акад. Стефан Младенов», София, 1957.

Шанский Н. М., Фразеология современного русского языка, изд. «Высшая школа», 1963.

Шапиро А. Б., Некоторые вопросы теории синонимов, «Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР» вып. 8, изд. АН СССР, 1955.

Шаумян С. К., Структурные методы изучения значений. «Лексикографический сборник», вып. V, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1962.

Щерба Л. В., Опыт общей теории лексикографии, «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», 1940, № 3.

Antal L., Questions of Meaning, The Hague, 1963.

Baldinger K., Die Semasiologie, Berlin, 1957.

Benveniste E., Problèmes sémantiques de la reconstruction «Word» v. 10, 1954, № 2—3.

Betz W., Zur Überprüfung des Feldbegriffes, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», Bd. 71, 1954, H. 3—4.

Bréal M., Essai de sémantique, изд. 5, Paris, 1921.

Coseriu E., La creación metafórica en el lenguaje, Montevideo, 1956.

Darmesteter A., La vie des mots étudiée dans leurs significations, изд. 19, Paris, 1937.

Deroy L., L'emprunt lingustique, Paris, 1956.

Erdmann K. O., Die Bedeutung des Wortes, Leipzig, 1925.

Guiraud P., La sémantique, изд. 2, Paris, 1959.

Guiraud P., Problèmes et méthodes de le statistique linguistique, Paris, 1960.

Hallig R., Wartburg W., Begriffssystem als Grundlage der Lexicographie, Berlin, 1952.

Müller G., Wortfeld und Sprachfeld, «Festschrift zum 80 Geburtstag von Ernst Otto», Berlin, 1957.

Öhman S., Wortinhalt und Weltbild, Stockholm, 1951.

Regnéll H., Semantik, «Filosofiska och språkvetenskapliga grundfrågor inom betydelselären», Stockholm, 1958.

Sperber H., Einführung in die Bedeutungslehre, Bonn — Leipzig, 1923.

Spitzer L., Essays in Historical Semantics, New York, 1948.

Stern G., Meaning and Change of Meaning, Göteborg, 1931.

Trier J., Sprachliche Felder, «Zeitschrift für deutsche Bildung», 1932, VIII.

Trier J., Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung, «Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung», 1934, X.

Ullmann S., Words and their Use, New York, 1951.

Ullmann S., The Principles of Semantics, изд. 2, Glasgow, 1957.

Ullmann S., Semantics, An Introduction to the Science of Meaning, Oxford, 1962.

Wartburg W., Problèmes et méthodes de la linguistique, «Zeitschrift für deutsche Philologie», № 57.

Weinreich U., On the Semantic Structure of Language, см. сборник «Universals of Language», Cambridge, Massachusetts, 1963.

Wells S., To what extent can meaning be said to be structured? «Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists, Oslo, 1958.

Ziff P., Semantic Analysis, Ithaca, 1960.

БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
АН СССР

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3
Введение 5
Основные проблемы семасиологии и их разработка . . . 12
Семантическое тождество слова и семантические изменения 38
Семантическая структура слова 69
Парадигматические отношения в семантике 128
Синтагматические отношения в семантике 185
Фразеологизмы и фразеологические значения слов 212
Основная литература 241

Дмитрий Николаевич Шмелев
Очерки по семасиологии русского языка
Редактор *Г. В. Карпюк*
Художник *Н. А. Цыбров*
Художественный редактор *А. В. Сафонов*
Технический редактор *М. С. Драчникова* Корректор *Н. А. Мясникова*

* * *

Сдано в набор 24/I 1964 г. Подписано к печати 8/VII 1964 г. 84×108¹/₃₂
Печ. л. 15,25 (12,81) Уч.-изд. л. 13,05 Тираж 20 тыс. экз. (пл. 64 г. № 113)
Издательство «Просвещение» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41
Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой «Главполиграфпрома» Государственного комитета Совета Министров СССР по печати. Измайловский проспект, 29.
Заказ № 109.
Цена без переплета 35 к., переплет 10 к.

www.ruslang.ru

45 к.